



# ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЖУРНАЛ

## 4 (40)'2021

---

**Главный редактор**  
Станислав АЙДИНЯН

**Выпускающий редактор**  
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

**Отдел поэзии**  
Людмила ШАРГА

**Отдел прозы**  
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

**Отдел литературоведения**  
Евгений ДЕМЕНОК

**Отдел литературной критики**  
Александр КАРПЕНКО

**Общественный совет:**  
Дмитрий Бураго (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),  
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),  
Алёна Жукова (Торонто), Олег Зайцев (Минск),  
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),  
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),  
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

---

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.  
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: [aurora\\_australis@lenta.ru](mailto:aurora_australis@lenta.ru)  
Интернет-версия журнала: [ursp.org](http://ursp.org)

© «Южное Сияние», 2021

## В НОМЕРЕ

### Поздравления друзей с 10-летием журнала:

Поздравление от Союза российских писателей (Москва) .....	4
Поздравление от Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» (Минск) .....	4
Поздравление от Ассоциации русских писателей Республики Молдова (Кишинёв) .....	5
Поздравление от Союза писателей Приднестровья (Тирасполь) .....	6
Поздравление от Объединения Русских Литераторов Америки и журнала «Гостиная» (США) .....	6
Поздравление от журнала «Новый свет» (Канада) .....	7
Поздравление от интернет-альманаха «45-я параллель» (Ставрополь) .....	7
Поздравление от альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» (Одесса) .....	8
Поздравление от литературного альманаха «Соты» (Киев) .....	8
Поздравление от журнала и издательства «Формаслов» (Москва) .....	9

### ПОЭЗИЯ

Одесса: Людмила Шарга. <b>Я возвращаюсь к ямбам.</b> <i>Стихотворения</i> .....	10
Одесса: Юлия Петрусевичноте. <b>Становись на крыло.</b> <i>Стихотворения</i> .....	17
Одесса: Александр Щедринский. <b>Зима всегда объёмней.</b> <i>Стихотворения</i> .....	21

### ПРОЗА

Одесса: Анна Михалевская. <b>Эль-Джазаир должен быть разрушен.</b> <i>Рассказ</i> .....	28
---	----

### ПОЭЗИЯ

Москва: Александр Карпенко. <b>«Бог внутри нас, а сердце – снаружи».</b> <i>Духовные стихи</i> .....	36
Феодосия: Ника Батхен. <b>Стена щитов.</b> <i>Стихотворения</i> .....	43
Монреаль: Лада Миллер. <b>Всё относительно.</b> <i>Стихотворения</i> .....	48
Киев: Елизавета Радванская. <b>Свет Змееносца.</b> <i>Стихотворения</i> .....	54

### ПРОЗА

Одесса: Игорь Потоцкий. <b>Не только о Гарике.</b> <i>Рассказы</i> .....	59
Одесса: Галина Соколова. <b>Dixi!</b> <i>Рассказ</i> .....	75

### ПОЭЗИЯ

Одесса: Владислава Ильинская. <b>Играть озорные роли.</b> <i>Стихотворения</i> .....	81
Одесса: Владислав Китик. <b>...Лучшее сбывается сейчас.</b> <i>Стихотворения</i> .....	86
Одесса: Инна Квасивка. <b>С искусной лёгкостью совы.</b> <i>Стихотворения</i> .....	91

### ПРОЗА

Лод: Борис Берлин. <b>Котёнок под проливным дождём.</b> <i>Рассказы</i> .....	98
Ставрополь: Виктор Кустов. <b>Тонкий мир.</b> <i>Рассказ</i> .....	114

### ДРАМАТУРГИЯ

Майами, Москва: Наталья Гринберг, Роман Михеенков. <b>Пластинка на костях.</b> <i>Пьеса</i> .....	118
---	-----

## ПОЭЗИЯ

Дюссельдорф: Наталья Хмелёва. <b>Герметичный город.</b> <i>Стихотворения</i> .....	134
Черновцы: Светлана Андроник. <b>Виток Земли вокруг своей оси.</b> <i>Стихотворения</i> .....	140
Ростов-на-Дону: Борис Вольфсон. <b>Как жизни вторая попытка.</b> <i>Стихотворения</i> .....	146
Копенгаген: Нина Гейдэ. <b>На полотне судьбы.</b> <i>Стихотворения</i> .....	151

## ПРОЗА

Одесса: Евгений Деменок. <b>Хорошо.</b> <i>Путевая проза. Продолжение</i> .....	156
---	-----

## «ОКОЕМ»

Калининград: Ксения Август. <b>Стихотворения</b> .....	166
Москва: Анна Арканина. <b>Стихотворения</b> .....	169
Бастия, Италия: Александра Скребкова-Тиррелл. <b>Стихотворения</b> .....	171
Мытищи: Елена Уварова. <b>Стихотворения</b> .....	173
Санкт-Петербург: Ренарт Фасхутдинов. <b>Стихотворения</b> .....	176
Санкт-Петербург: Елена Качаровская. <b>Стихотворения</b> .....	178

## «ГОРИЗОНТ»

Реутов: Влада Ладная. <b>Чертог романтиков.</b> <i>Рассказ</i> .....	182
Коряжма: Наталья Дементьева. <b>Кашкор.</b> <i>Рассказ</i> .....	188
Тольятти: Сергей Пиденко. <b>Серебряная труба Арама.</b> <i>Рассказ</i> .....	192
Павлодар: Юрий Шадрин. <b>Самый страшный зверь.</b> <i>Рассказ</i> .....	196

## «КАМЕРА-ОБСКУРА»

Одесса: Вероника Коваль. <b>Талисман нелюбви.</b> <i>Эссе</i> .....	200
---	-----

## «СЕТЧАТКА»

Москва: Наталья Трубецкая. <b>«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»: к неизвестным страницам биографий представителей рода Пушкиных</b> .....	204
---	-----

## «ЛИТМУЗЕЙ»

Александр Федулов. <b>Среди движения племён.</b> <i>Эссе. К 135-летию М.А. Зенкевича</i> .....	215
--	-----

## «КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНА СЕВРЮГИНОЙ

<b>За границей пространства и света.</b> <i>О книге Ефима Бершина «Мёртвое море»</i> .....	221
<b>У речи на краю.</b> <i>О книге Бориса Кутенкова «Решето тишина решено»</i> .....	223
<b>Домолчаться до темноты.</b> <i>О книге Юлии Мельник «Алконост»</i> .....	226
<b>Осень цвета сухого муската.</b> <i>О книге Кристины Крюковой «Голос»</i> .....	229
<b>«Трещины» российского бизнеса: судьба одной корпорации.</b> <i>О книге Максима Привезенцева «История Мираксдэния»</i> .....	231

## «КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

<b>Ловля на золотую блесну.</b> <i>О книге Игоря Шкляревского «Золотая блесна»</i> .....	234
<b>Виктор Шендрик: «Примите меня разного».</b> <i>О книге «Колыбельная для...»</i> .....	236
<b>«Целит в сердце нам звезда...».</b> <i>О книге Ильи Оганджанова «Бесконечный горизонт»</i> .....	238
<b>Лампа Валентины Синкевич.</b> <i>О книге «При свете лампы»</i> .....	240
<b>«Лазурь, и киноварь, и охра...».</b> <i>О книге Инны Ряховской «Ты и я»</i> .....	243

## «ШКАФ»

Днепр: Елена Хинич. <b>«Моё частное бессмертие».</b> <i>О книге Бориса Клетинича</i> .....	245
Коломна: Александр Руднев. <b>«Славянские традиции» продолжают жить, несмотря ни на что...</b> <i>О литературном альманахе «ЛитЭра» № 15</i> .....	247

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*Редакции литературно-художественного журнала  
«Южное Сияние»*

Правление Общероссийской общественной организации «Союза российских писателей», альманахи «Паровоз» и «Лёд и Пламень» поздравляют литературно-художественный журнал «Южное Сияние» с десятилетием! Десять лет – возраст, казалось бы, для периодического издания почти юный, но в современных реалиях это возраст зрелости, знак того, что команда, выпускающая журнал, смогла обойти подводные камни, что издание уже нашло своё место в журнальной палитре и уверенно стоит на ногах.

В современном литературном обиходе «Южное Сияние», можно сказать, держится особняком: родившись за пределами границ России, в Одессе – городе с богатой русской литературной традицией, журнал быстро вошёл в большую и разноголосую семью известных русскоязычных «толстяков», был услышан, каждый его номер стал ожидаем и читаем.

Вместе с тем у «Южного Сияния» своё неповторимое лицо: его целью, в первую очередь, является возможность знакомства культурного русскоязычного читателя с современной одесской литературой и литературой близкой этому кругу, поддержание здорового кровотока между творческой метрополией и «провинцией». Поэтому немалую часть объёма каждого номера составляет качественная одесская литература.

Ещё одно отличие «Южного Сияния» – подлинная духовная связь с Серебряным веком русской литературы: наследником именно его традиции желал бы видеть себя печатный орган Южнорусского Союза Писателей, а родственными можно назвать такие известные «прошлолетние» издания как «Весь», «Золотое руно», «Аполлон». В этом, вне сомнения, заслуга и главного редактора Станислава Айдиняна, который с 1984 по 1993 гг. был литературным редактором и секретарём А.И. Цветаевой; и основателя журнала, выпускающего редактора, Сергея Главацкого, и других членов редколлегии – таких как Людмила Шарга, Ольга Ильницкая, Евгений Деменок, Александр Карпенко, близких по мироощущению и литературным устремлениям.

За время существования «Южного Сияния» в нём напечатаны произведения сотен писателей, живущих в России, на Украине, на разных континентах, среди них немало членов Союза российских писателей. Помимо поэзии и прозы, в журнале публикуется драматургия, эксклюзивное литературоведение, есть крупный критический раздел.

Мы искренне радуемся, что «Южное Сияние» родилось, прописалось в литературном пространстве, продолжает светить и «плодоносить» новыми номерами! Желаем продолжать – светиться и светить, с радостью, со знанием дела! Новых интересных авторов и произведений, новых открытий и преодоления невзгод!

*Первый секретарь Правления  
Союза российских писателей  
С.В. Василенко*

\*

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ БЕЛОРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СОЮЗА «ПОЛОЦКАЯ ВЕТВЬ»

*Главному редактору  
и редакции литературно-художественного журнала  
«Южное Сияние»*

Дорогие коллеги по сотворчеству!

Вот уже десять лет как своих читателей, в том числе и ряд членов нашей организации, радует своими публикациями ваше замечательное издание. Высокий литературный уровень представляемых произведений, широкая палитра жанров, тем и героев, актуальность поднимаемых литературных проблем и задач – то, что всегда отличало и отличает журнал «Южное Сияние».



Редакции периодического издания удалось навести мосты и наладить устойчивое сотрудничество с рядом аналогичных литературных СМИ, зарубежных творческих союзов. А международный состав редакционной коллегии придал «Южному Сиянию» дополнительный высокий статус и солидность. Заслуга всех этих достижений, разумеется, в первую очередь бессменного выпускающего редактора Сергея Главацкого – движителя творческого проекта с момента его появления. Благодаря неустанным усердию, вниманию и заботе своего руководителя, журнал стал таким, какой он есть. Широкий коллектив авторов, чьё творчество прошло через страницы «Южного Сияния», и стремление попасть в него всех прочих – залог и свидетельство высокой творческой планки, взятой редакцией журнала.

Хочется пожелать «Южному Сиянию» и тем, кто его выпускает, не терять темпа, оптимизма и веры в свои силы! Надеемся, что ещё не раз в содержании и на страницах этого печатного органа Южнорусского Союза писателей мелькнут фамилии и наших ветвевцев. Неизменной удачи тебе, талантливых авторов и растущего тиража, «Южное Сияние»! Многая лета!

*Председатель РОО «Беллитсоюз «Полоцкая ветвь»  
О.Н. Зайцев*

\*

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ АССОЦИАЦИИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Дорогие друзья!

Ассоциация русских писателей Республики Молдова и редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Русское поле» поздравляет создателей, редколлективу и авторов журнала «Южное Сияние» (Одесса) с первым десятилетием!

Мы почти ровесники – журналу «Русское поле» исполнилось 10 лет в 2020 году – и прекрасно понимаем, что значит в наше странное время выпускать русский литературный «толстяк»!

И дело, конечно, не только в отсутствии стабильного финансирования, но и в текущих исторических метаморфозах.

К сожалению, ковид не позволил нам должным образом отметить свой юбилей, равно как в этом году мы не сможем «в реале» встретиться по поводу вашего замечательного праздника! Но никто не помешает нам любить, читать, размышлять и помнить друг о друге!

«Южное Сияние» – явление неординарное не только для литературного мира Украины, но и для всего русскоязычного пространства! Понятно, что приоритет в публикациях – за талантливыми авторами Южнорусского Союза Писателей. Но и «неосоюзнённые» поэты, прозаики, литературные критики, пишущие на русском языке, также могут гордиться публикациями в этом престижном журнале. Да-да, престижном! Журнал не просто существует десять лет, что само по себе достижение и дело подвижников, бесребренников, преданных литературному высокому слову профессионалов! – вы, его создатели, поддерживаете высочайшую планку, которую задали себе сами, понимая всю ответственность момента. Каждый новый номер становится событием. Это результат работы не одного человека, выпускающего редактора и замечательного поэта Сергея Главацкого, но всей сплочённой команды.

Мы, литераторы Республики Молдова, входящие в АРП РМ, встречая выпуски «ЮС» с интересом и радостью, дорожим добрым вниманием «Южного Сияния»! Общение на литературных фестивалях и мастер-классах, организованных и проведённых нами, постепенно переросло в настоящую крепкую творческую дружбу. С неизменным теплом вспоминаются Международные литературные и поэтические фестивали региона: «Пушкинская горка» (Кишинёв), «Провинция у моря» (Одесса – Черноморск), «Авторские мосты Мэрцишора» (Тирасполь – Рыбница). Продолжением наших необыкновенных по вдохновению, искреннему дружеству и творческому подъёму встреч стали публикации молдавских авторов в «Южном Сиянии», в то время как авторы ЮРСП часто становятся гостями в «Русском поле». Знаковая публикация – знакомство с «Южным Сиянием» - состоялась в рубрике «Дружба журналов».

Дорогие наши! Что можно пожелать друзьям в юбилей? Конечно, долголетия! Здоровья, сил и мудрости, радости и удачи – всем, причастным к журналу! И не тускнеющего Сияния. Пусть не переводятся талантливые авторы, множатся умные, доброжелательные читатели. А мы, члены АРП РМ, всегда подставим надёжное литературное плечо.

*С уважением и сердечным теплом,  
Ассоциация русских писателей Республики Молдова*

\*

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

*Главному редактору,  
Выпускающему редактору,  
редакционной коллегии  
литературно-художественного журнала  
«Южное Сияние»*

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Союз писателей Приднестровья сердечно поздравляет всех творческих деятелей и авторов журнала со знаменательной датой – 10-летием со дня выхода первого номера «Южного Сияния»!

В названии вашего детища чудится и обилие солнечного света, и сверкание необозримых морских далей, трепетных мечтаний и фантазий, что придаёт неповторимый языковой колорит журналу. Совершенно естественно здесь родилась шутка, ставшая афоризмом – Одесса имеет Чёрное море, и добавим теперь с полным основанием, и журнал «Южное сияние»! Отныне эти понятия неразделимы! Сам воздух Одессы настолько насыщен поэзией, юмором и неистребимым оптимизмом, что ваше детище воспринимаетесь как само собой естественный процесс рождения «Южного Сияния». И понимаетесь: город у Чёрного моря не мог долго обходиться без своего печатного органа. Просто не мог! Неподражаемый, многожанровый и уникальный во всех отношениях журнал обязан был родиться – и вы это сделали! Как и Южнорусский Союз Писателей, журнал «Южное Сияние» занял с момента своего появления в свет достойное место в жизни не только города, страны, но ближнего и дальнего зарубежья. Ибо здесь находят приют истинно одарённые прозаики и поэты, драматурги и художники, просветители и творческие представители многих стран и всех существующих жанров на земле.

Уважаемые друзья и коллеги! Желаем крепко удерживать набранную вами высоту в творчестве, успехов вам всяческих и всеми силами сохранять физическое здравие в наш хворый век! Будьте счастливы и любимы вашими читателями!

*С уважением  
председатель правления Союза писателей Приднестровья  
Валерий Кожушник  
г. Тирасполь*

\*

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЛИТЕРАТОРОВ АМЕРИКИ И ЖУРНАЛА «ГОСТИНАЯ»

«Светить всегда...». Это первое пожелание, которое приходит на ум в юбилейные дни родного «Южного Сияния». Светить куда сложнее, чем не светить, куда ответственней и рискованней. В особенности сегодня, в особенности в вотчине «свободной стихии». Точно знаю, что не только для меня, но и для всех тех, кто отмечает славное десятилетие журнала, «Южное Сияние» приравнено по значимости к свету маяка. Мы безошибочно узнаём его в любую погоду и в любое время суток. Его импульсным источником является душа создателей и тружеников «Южного Сияния» во главе с главным редактором Станиславом



АЙДИНЯНОМ, выпускающим редактором Сергеем ГЛАВАЦКИМ и редколлегией в лице Людмилы ШАРГА, Ольги ИЛЬНИЦКОЙ, Евгения ДЕМЕНКА и Александра КАРПЕНКО. Да не иссякнет этот свет! Долгие лета!

*Вера Зубарева,  
доктор филологических наук, поэт, писатель, литературовед,  
Президент Объединения Русских Литераторов Америки (ОРЛИТА),  
главный редактор журнала «Гостиная» (<http://gostinaya.net>),  
член Южнорусского Союза Писателей*

\*

### ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА «НОВЫЙ СВЕТ»

Дорогие коллеги!

Журнал «Новый Свет» сердечно поздравляет вас с юбилеем! Есть что-то общее в названии наших журналов. Они несут свет и, как маячки, помогают читателям найти правильный путь в бурном океане литературы. Вы действительно много сделали за десять лет существования и, уверены, сделаете ещё больше. Успеха и процветания, хороших авторов и благодарных читателей, щедрых спонсоров и больших тиражей. Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Всех вам благ и удачи!

*Главный редактор журнала «Новый Свет» (Канада),  
писатель, кинокритик, сценарист  
Алёна Жукова*

\*

### ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХА «45-Я ПАРАЛЛЕЛЬ»

*Редакции журнала «Южное Сияние»*

ПРЕКРАСНЫЕ ДРУЗЬЯ,  
СОСЕДИ ПО СИЯЮЩЕМУ ЮГУ!

Бесспорно – друзья. И конечно – соседи. Наши издания, наши авторы дружат, чай, не первый год. А соседствуем мы по сакральной 45-й параллели. Ставрополь раскинулся аккуратно на холмах, широту сию берегущих. Ну а из Одессы до аналогичной виртуальной линии, как говорится, рукой подать. Вот такая символично-симпатичная географическая рифмовка получается.

Но важнее – общее понимание духовного братства поэтов, пишущих на русском языке. И в этом смысле поистине неocenим вклад, который вносит в общий всемирный процесс издание «Южное сияние». Вы, дорогие «юбилейщики», и пахари, и пекари. Вы – подлинные подвижники дела, которому решаются посвятить себя немногие на планете Земля.

С первым взрослым праздником, друзья! Лет до ста расти! Ну а там посмотрим.

Да запомнятся потомкам сияющие лица тех, чьи стихи публиковались и публикуются на страницах замечательного издания, выходящего в славном городе Одесса! Любви и здоровья создателям проекта и его активным участникам.

Да хранит вас вечный символ 45!

*С.В. Сутулов-Катеринич,  
главный редактор интернет-альманаха «45-я параллель»  
Сентябрь-2021  
Ставрополь*

\*

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХА «ДЕРИБАСОВСКАЯ – РИШЕЛЬЕВСКАЯ»

*Редакции журнала «Южное Сияние»*

Дорогие друзья, соратники по литературному процессу!

Мы помним и радуемся, что 1 сентября 2011 года вышел первый номер одесского ежеквартального литературно-художественного журнала «Южное Сияние». И номер, вышедший ровно через 10 лет – 1 сентября 2021 года, стал юбилейным.

От души поздравляем. Мы с первого номера, с первой презентации вашего журнала, ощущали, что делаем одно дело.

Ни эстетически, ни политически мы не были разными.

Просто оказалось, что Одессе одного литературно-художественного журнала – мало.

И мы с удовольствием подставляли плечо друг другу.

Приятно осознавать, что все сотрудники «Южного сияния» печатались и печатаются в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская», мы открыты друг для друга.

Мы – в большей степени – себя определили, как региональное издание, публикующее произведения писателей-одесситов, живущих в нашем городе и за его пределами.

Вы ставите перед собой цель объединять писателей, пишущих на русском языке, как на просторах бывшего Союза, так и в далёком зарубежье.

И та, и друга идея – продуктивна. И главное – даёт возможность обогащать одесскую культурную жизнь. Ещё раз поздравляем! И верим, что наше сотрудничество продлится ещё десятилетия.

*Редактор альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» Феликс Кохрихт  
Замредактора альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» Евгений Голубовский*

\*

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХА «СОТЫ»

«Южное Сияние» – это уникальный литературный проект, объединяющий литераторов на черноморском берегу нашей славной Одессы. На наших глазах за десять лет существования журнала, возглавляемого Сергеем Главацким, возникло сообщество авторов, охватывающее как наши Пиренеи, так и заморские и застепные, заокеанские и загорные вотчины русского слова. Ах Одесса! Который раз она претерпевает чужие недуги и не впадает в уныние. Страница за страницей отстаивает Одесса в своём «Южном Сиянии» поэтическое слово и чуткую метафору. И дай Бог, чтобы и Сергею Главацкому, и его редакционной дружине удавалось сохранять литературное Сияние не смотря ни на что и глядя на всё! И что вынесет вслед за известной снедью пенный прибой одесского моря мы узнаем, открывая следующие номера «Южного Сияния».

P.S.

Да, хочу отметить, что за последнее десятилетие (за редким исключением) практически полностью замерли все литературные журналы Украины.

*Из глубин киевских Сот,  
Дмитрий Бураго*





\*

## ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЖУРНАЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ФОРМАСЛОВ»

«Южное Сияние» – это не только и не столько журнал. Это клуб единомышленников, место со-чувствия и со-творчества. Редколлегия издания все десять лет придерживается открытой редакционной политики, мы знаем, что качественный материал, присланный в ЮС, всегда будет прочитан и рассмотрен к публикации: о многих ли «толстяках» можно сказать то же самое? Классики современной литературы и робкие новички, маститые критики и нежные обозреватели – каждому найдётся место под южным солнцем. Долгих лет, сияния и процветания! Ребята, мы вас любим!

*Евгения Джен Баранова и Анна Маркина,  
арт-группа #белкавкедах, главреды журнала «Формаслов» и одноименного издательства*

# ЛЮДМИЛА ШАРГА

---

## Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ЯМБАМ

\*\*\*

Акупунктура дождя уже не лечит,  
по онемевшей коже вода струится,  
и на какой-то миг становится легче,  
но возвращается боль,  
выплывают лица,  
и среди них жалом клинка мерцает  
пламя чужого взгляда – согреет вряд ли.  
Этим порезам края нет и конца нет,  
смешаны слёзы и дождевые капли.  
Не разделить, не властвовать – априори.  
Дао дождя читается в капле каждой,  
дао слезы останется каплей в море,  
не утолить морскою водой жажды.  
Носится ветер.  
Где-то собака лает.  
Всё перемешано в здешнем доме о б л о н с к и х,  
что же Вы натворили, Лев Николаич?  
Жизнь, как роман, рвёт от сюжетов плоских.  
Классики, современники, всё смешалось,  
трагикомедии, фарсы и водевили,  
смешанные сюжеты... такая жалость,  
и не спасли, и... в общем, не вдохновили.  
Может быть, шли дожди за окном, когда Вы  
судьбы героев втискивали в сюжеты...  
Капля за каплей – дождь. Слагается дао.  
Слёзы – как капля в море.  
Да что об этом...  
Знаю: предаст не раз, предавший однажды.  
Литература полна подобных историй.  
Дао дождя останется в капле каждой.  
Дао слезы останется каплей в море.

\*\*\*

*Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес.  
Пс. 84:12*

Грустит осеннее море и песню грустную  
о лете поёт, и остывает исподволь,  
стою у самой воды и говорю с тобой,  
а где-то на дне морском покоится истина.



Снимают зонты, палатки и указатели:  
«сдаётся жильё, посуточно и недорого»,  
и мне не хватает слов, чтобы рассказать тебе,  
что в песнях моря слышны земные шорохи.  
Осеннее море машет – как птица – крыльями  
и хочет взлететь, разбрызгивая оперение,  
и хочет измерить небо морскими милями,  
а в небе свои единицы измерения.  
А в небе свои каноны, права и правила,  
ответы свои с незадаанными вопросами,  
ведь так не бывает, чтоб море свой дом оставило  
и ринулось в небо на перекрёстке осени.  
Ни небо таких беглецов, ни земля – не жалуют,  
у каждой стихии свои законы и таинства,  
но между землёй и небом живёт душа моя –  
то истину ищет на дне, то взлететь пытается.  
Рождённая где-то между двумя стихиями  
огня и воды, на земле – прочно с небом связана,  
не выжить ей без этой простой алхимии,  
а жизнь без моря и вовсе противопоказана.  
А жизнь без моря – стихи и полёты побоку,  
романы курортные, пляжная околесица...  
Плывёт над водой иероглиф закатного облака,  
несёт половинку растущего лунного месяца.  
И я возвращаюсь с моря сегодня затемно,  
ночная дорога пуста и полна вопросами,  
мне снова не хватит слов, чтобы рассказать тебе  
о том, как печальна земля на исходе осени.

\*\*\*

Дом мой, подобно раковине,  
выстроен по спирали –  
каждый виток одинаков и  
каждый виток уникален.  
Нет в нём привычных комнат,  
нет коридоров и кухонь,  
и уголков укромных  
для пересудов и слухов.  
Образы полустёртые,  
каждый – лицо и имя,  
пусть для кого-то мёртвые –  
а для меня – живые.  
С ними грущу и радуюсь,  
с ними веду беседу,  
словно иду по радуге  
к свету – за ними следом –  
к дальней песчаной отмели,  
где не смолкают птицы,  
всё, что когда-то отняли,  
там воздают сторицей.  
Радость мою,  
беду мою  
вижу за берегами,  
со стороны подумают –  
будто хожу кругами.



Ветхими подворотнями,  
старенькими дворами  
выйду к песчаной отмели,  
где-то между мирами.  
Нет ни крупницы вымысла  
в этих хождениях странных.  
... море на берег вынесло  
раковину рапаны...

\*\*\*

Осенние ливни смоят  
написанное от руки:  
сдаётся жильё у моря,  
сезонам всем вопреки.  
Слова разметает ветер,  
с листвою перемешав.  
Как будто... жильё,  
а это  
сдаётся внаём душа.  
Удобства, увы, частичны:  
какая-то там душа...  
и кто-то, вполне приличный,  
не даст за неё гроша.  
К комфорту тела привыкли:  
чем ванна не водоём?  
Но птица ночная крикнет:  
сдаётся душа внаём.  
Условия: предоплата,  
бессонница, непокой,  
от жизни далековато,  
до моря – подать рукой.  
Бесхитростна, беззаботна,  
умеющая прощать,  
просторна, чиста, свободна,  
ты только пообещай  
не верить радужным нимбам,  
с чужих не кормиться рук,  
иуд не впускать, каким бы  
настойчивым ни был стук.  
Сдаётся душа – южанка,  
хоть с виду и холодна,  
и если себя не жалко –  
снимай и плати сполна  
и в штить, и когда норд-осты  
безжалостны и лихи,  
ей надо немного: просто  
живи и пиши стихи,  
огонь приручай зимою  
и каждым днём дорожи...  
Сдаётся душа у моря.  
Цена неизменна –  
жизнь.



\*\*\*

Поэту дом не там, где стол –  
зелёное сукно,  
а там, где в сумраке густом  
неспящее окно.  
Не там, где вечный пир горой,  
и каждый пьян и сыт,  
а где в родной земле сырой  
живое слово спит.  
Поэту дом не там, где блеск  
дешёвой мишуры,  
не там, где трескотня и треск  
притворства и игры,  
не там, где мутная вода  
скрывает ил и грязь,  
а там, где первая звезда  
над суетой зажглась  
и высветила пустоту  
на сотни миль вокруг,  
и одиночества черту,  
где кровный враг – как друг.  
Поэту дом – случайный взгляд  
извне, издавека,  
мгновенный ток,  
мгновенный яд,  
пускай потом горька  
вся жизнь, что чепухи полна,  
отрепья и трухи...  
Бездомье – дом.  
Земля, волна,  
дорога и стихи.

\*\*\*

У северного окна  
туман тяжелей и ближе,  
предчувствуешь близость дна,  
где страхи живут твои же,  
как эти границы стен,  
как мир, что тревогой взболтан...  
И только цвет хризантем  
кричит отчаянно жёлтым.  
Не всё ли равно, кому  
шептать, обжигая губы,  
двенадцатому псалму,  
квадрату окна иль куба,  
стихи, где таится медь,  
не бронза – не позолота...  
Не всё ли равно, что петь  
и чьи пропускать остроты.  
Не всё ли равно, о чём  
писать на исходе ночи,  
вчерашний день приручён,  
но верить руке не хочет.



У северного окна  
 застынешь фаюмской фреской  
 в предчувствии дня, иль дна,  
 печаль не разделишь –  
 не с кем.  
 Потрафишь мирским страстям,  
 предчувствие дна всё ближе.  
 Не всё ли равно.  
 Простят.  
 Едва твой голос расслышат...

\*\*\*

Осенний день, безоблачен и светел,  
 летел к закату, в мир спеша иной,  
 воспоминанья об ушедшем лете  
 смывало набегающей волной,  
 и времени, как прежде, не хватало  
 на то, чтоб в сентябре *достать чернил;*  
 и облако над морем пролетало,  
 как будто кто-то крылья обронил  
 и не заметил.  
 Это ли потеря?  
 Без них не так молчание болит,  
 а чтоб взлететь – достаточно поверить,  
 и сразу оторвёшься от земли.  
 Но жизнь земная – тщетные усилия,  
 и ничего не изменить в судьбе,  
 но облако, похожее на крылья,  
 ещё напоминает о себе  
 и тает, растворяясь без остатка,  
 освобождая от ненужных уз,  
 так таяли лохмотья ваты сладкой,  
 и приторный горчил из детства вкус.  
 И новый день взнуздает и прищипорит,  
 не до галопа – тихая трусца,  
 а облако летит,  
 летит над морем,  
 и нет конца потерям,  
 нет конца...

\*\*\*

Нас убивали постепенно,  
 пошагово и поэтапно,  
 и перетягивали вены,  
 и радовались результатам.  
 Замалчивали и в молчаньи,  
 как будто – мимо проходили,  
 как будто и не замечали,  
 но наблюдали и следили  
 за тем, как мы пытались выжить,  
 – и выживали, как ни странно, –  
 и что есть сил пытались выжать  
 из лёгких – воздух,  
 как из раны.



Но мы живучи, хоть ты тресни,  
нам «если смерти, то мгновенной» –  
давно забыта эта песня,  
лишь эта строчка незабвенна.  
Вот так – без права на молчанье,  
без упования на милость,  
я с этой участью вначале  
почти срослась,  
потом смирилась.  
Дарить тепло – не для корысти,  
среди слепых остаться зрячей,  
и убирать сухие листья  
с твоей могилы –  
не иначе.

\*\*\*

*Улыбке Джоконды и её реинкарнации  
по следам одной пьесы и одной судьбы*

До берега обетованного  
летят во сне лучом рассветным  
осколки острова стеклянного  
на крыльях солнечного ветра.  
И, на лету сгорая, падают,  
до берега не долетая,  
и расцветает в небе радуга,  
из ниоткуда вырастая.  
А на земле вершится таинство:  
среди чудовищных оскалов  
улыбка вечная пытается  
рисунком снова стать наскальным.  
Не прячась под сусальным золотом,  
не прикрываясь позолотой,  
сочится кровью на исколотой,  
обуглившейся терракоте...  
Так улыбается, наверное,  
умолкнувшая «соль» в октаве –  
те, кто пришли на землю первыми,  
и первыми её оставят.  
Ветра попутные и встречные  
разбудят память болью острой  
о том, что есть улыбка вечная,  
о том, что был стеклянный остров.  
До берега обетованного  
летит, летит в лучах рассветных  
осколок острова стеклянного  
в потоке солнечного ветра.

\*\*\*

Я возвращаюсь к ямбам. Мне давно  
такие возвращения привычны:  
в осенний день распахнуто окно,  
в осеннем небе переключки птичьи.



Казалось бы, тут ямбы ни при чём,  
успеть бы за танцующим лучом,  
пока ещё листва не облетела,  
увидеть, как он пляшет тарантеллу  
на кончике кленового листа.  
Над ним уже не властна суета –  
под утро лист слетит к своим собратьям  
осенней пятипалой печатью –  
собой – замкнув октябрьские врата.  
Я возвращаюсь к ямбам. Впопыхах  
забыв, что жизнь – хождение по кругу.  
А в доме, где кричали о стихах,  
давным-давно не слышали друг друга  
и спорили всю ночь – до хрипоты,  
что смысла нет,  
что все стихи пусты –  
закончились пророки и поэты,  
и, не хмелея, пили до рассвета  
вино – как воду,  
водку – как вино...  
Осенний день заглядывал в окно.  
Над стойками утренней пробежки  
с листвой летали рифмы вперемешку.  
Кровь уходила в землю и ждала,  
пока семь раз не пропоёт стрела,  
и воздух раскалялся от полёта,  
и согревало мир дыханье чьё-то.  
Другую кто-то подставлял щеку...  
И на бумаге выводил строку,  
не убоившись реверсов и штампов.  
День уходил.  
Я возвращалась к ямбам.



# ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

---

## СТАНОВИСЬ НА КРЫЛО

\*\*\*

Расскажи мне, как тёмная музыка белого шторма  
Поднимала до звёзд корабли, заливала причалы,  
Как стонали ночные сады от внезапной печали,  
Как в земле развивались от горя набухшие зёрна.

Так исходит наружу слезами боль вечной утраты.  
В бесконечном прощении рвутся стеклянные нити.  
Слышишь тёмную музыку? Звёзды застыли в зените.  
Так стоят в карауле почётном немые солдаты.

Белый шторм застилает глаза, остывает на лицах  
Мелкой осыпью звёзд – то ли снег на губах, то ли слёзы.  
Так уходят в метель поезда – мимо станции в космос,  
Так летят за черту горизонта охрипшие птицы.

\*\*\*

Как ребёнок от поезда, я от эпохи отстал.  
На заброшенной станции прыгнул в траву на перроне,  
Подождал, пока мимо меня прогрохочут вагоны,  
И свернул на тропинку, и сразу забыл, где вокзал.

А тропинка петляла туда и сюда, и вела  
Через мост у пруда, через чьи-то сады – на обрывы.  
Я жевал краснобокое яблоко. Я был счастливым,  
И свобода раскинула в небе два синих крыла.

Я не знаю, в какую Треблинку шёл этот состав.  
Я один оказался в Безлюдных Пространствах дороги.  
И со мной были здешние птицы, и здешние боги,  
И шумело солёное море за джунглями трав.

\*\*\*

На слёте ветров, на планете осенних ветров  
Погода менялась так часто и так прихотливо,  
Что рыжие травы, как рыжая конская грива,  
Метались, как рыжее пламя далёких костров,



Звенели, как сбруя степных золотистых коней,  
И в звон постепенно вполетались тревожные звуки,  
Как будто уже натянулись короткие луки,  
И скоро посыплются стрелы осенних дождей.

И будет октябрь проступать на больничном белье  
Кровавым пятном, отпечатком дрожащей ладони.  
И будут над степью лететь наши рыжие кони,  
И нужно всего-то суметь удержаться в седле.

\*\*\*

Здесь тёплая вода не утоляет жажды –  
Всё пьёшь её и пьёшь, как мёд и молоко.  
Здесь жить легко и умирать легко  
Тому, кто путь сюда нашёл однажды,

На перекрёстке спутанных дорог  
Свернул туда, где травы были выше,  
А может быть, он музыку услышал,  
И с любопытством совладать не смог.

И музыка стояла как вода,  
В ней плыли травы, облака и рыбы.  
И он себя почувствовал счастливым, –  
Тот, кто однажды путь нашёл сюда.

\*\*\*

Домик в маленьком орехе.  
Кухня, спальня, кабинет.  
Двухэтажный. Лифта нет.  
Лестница ведёт на верхний,

Полный снов и книг этаж.  
В кухне – маленькая печка.  
У всего своё местечко.  
Есть окно, а в нём пейзаж:

Сонный яблоневый сад,  
Как глубоководный космос,  
И на ветках то ли звёзды,  
То ли яблоки висят.

\*\*\*

Становись на крыло, если день будет долгим, как песня.  
Наступила пора тренировочных дальних полётов.  
Говорят, в это время на нас разрешают охоту.  
Я не верю в страшилки, да мне всё равно, если честно.

Становись на крыло. Воздух мягкий, но ветер надёжный.  
Все дороги сегодня открыты и в небе, и выше.  
Говорят, эту странную музыку можно услышать,  
Если только подняться повыше, насколько возможно.



Как мечтают о тёплых краях перелётные стаи,  
И летят за черту, разрывая любые границы, –  
Так и мы с тобой делаем то, что положено птицам –  
Поднимаемся выше, и музыка сфер нарастает.

\*\*\*

А я живу в прекрасной нищете  
Шуршат в карманах золотые листья  
И солнечного мёда полон рот  
Сквозь пальцы серебро дождя течёт  
И маленький художник быстрой кистью  
Рисует осень на пустом холсте  
И с кисти вместо краски льётся мёд.

Он целым небом сказочно богат  
И звёзды сыпаются в его карманы  
И Млечный путь струится молоком  
И с каждым обжигающим глотком  
Другие берега, другие страны  
Ложатся в руки каменным цветком  
И поцелуй залечивает раны.

\*\*\*

Этот город, плывущий в дожде, никогда не вернётся.  
До последнего камня пропитанный нашими снами,  
Он уходит в холодную воду, как серая рыба,  
Как теряется эхо в глубинах ночного колодца,  
Растворяются в сером дожде его серые камни,  
И сползают постройки с размытого ливнем обрыва.

Плачь, пожалуйста, плачь – это время уходит сквозь пальцы,  
Как песок из разбитых часов – не вернёшь, не исправишь.  
Это память уходит, смывая следы и приметы.  
Только шрамы на коже останутся – могут остаться,  
Если Шуберт коснётся дрожащих в предчувствии клавиш,  
И откроется музыка – хлынет волной из просвета.

\*\*\*

И стоит во дворах тишина, как в стакане вода,  
И в прозрачной холодной воде отражается город –  
По колено в дожде или даже по самое горло,  
Он плывёт, как осенние листья плывут в никуда.  
Это время осыпалось листьями на тротуар,  
И стекает дождём по щекам, по растерянным лицам.  
Скоро выпадет снег – тихо-тихо, как будто приснится  
Умирающим листьям, летящим в осенний пожар.



\*\*\*

Это долгое-долгое возвращение, путь домой.  
Лестница кажется невыносимо длинной.  
Дай нам, Господи, пережить эту зиму.  
Что с нами будет, Господи, этой зимой?  
Карантинные меры, проверяющие патрули, –  
Всё как обычно, но пусть говорят по-немецки.  
Пусть отдадут приказы, не надо лекций  
Об общественном благе для всей Земли.  
Маленькой жизни маленький огонёк  
На перекрёстке ветров и тысячелетий.  
Ветер идёт по планете, безумный ветер,  
И вырывает из рук последний листок.

\*\*\*

Переживём и эту зиму  
С её слезами и снегами,  
С тоской, повисшей на ресницах,  
И вездесущим серым льдом.  
Декабрь, как длинный мост, пройдем,  
И на развёрнутых страницах,  
Между набросками снежинок  
И незнакомыми стихами,  
Строку допишем январём.

И будет март гореть на башне  
Огнями бешеного Эльма –  
Желанно и недостижимо,  
И бесконечно далеко.  
Легко прольётся молоко, –  
Как всё, что мы уже прожили,  
Как вытекает в реку день вчерашний,  
Как по щекам стекает время,  
И ранит кожу глубоко.

# АЛЕКСАНДР ЩЕДРИНСКИЙ

## ЗИМА ВСЕГДА ОБЪЕМНЕЙ

\*\*\*

мой возраст – непросчитанный провал.  
я в жизни слишком многое видал,  
чтоб пить коктейли или лапать девок.  
и под глазами синие мешки  
вскрывают содержимое башки,  
и понимаешь: что-то нужно делать.

да, как-то нужно жить, ведь жизнь длинна,  
могила, слава богу, не видна  
покуда. значит, в списке продолжений:  
какой-то дом на берегу реки,  
собака, квас, гамак и васильки –  
и женщина с различьем в поколенья.

возможно, слишком многого прошу,  
но я устал. и я давно не шут  
играть здесь в бытовую социальность.  
когда ты понял суть своей игры,  
играть не хочешь. ищешь до поры  
запрятанную сервером реальность.

вот потому – подальше от людей.  
они: носитель вражеских идей  
рекламы, телешоу, «галибана».  
не нужно ничего. есть две руки  
рубить поленья. прочего – ни зги,  
что служит для объёмного экрана.

мы будем, как две тени от свечи,  
пока они ещё горят в ночи.  
а как погаснут – разницею станем  
температур огарков и ветров,  
что, как всегда, приносят много слов  
из прошлых ареалов обитания.

и тщетно не ищи, big brother, нас.  
укроет нас олимп, затем – парнас.  
там связь твоя теряется на склонах.  
всё, что оставим в память о себе, –  
бельмо в былой предписанной судьбе  
и два плевка на башню вавилона.



\*\*\*

когда вокруг и серость, и тоска,  
и фонари мерцают, мир деля  
на день и ночь, и, кажется, близка  
кончина, словно новая земля, —  
возьми в ладони белый-белый снег  
как часть искусства, мрамора комок.  
пусть будешь ты сегодня человек,  
а он — пусть снеговик, который смог —  
представший, словно истинный давид,  
среди форума январского двора.  
и твой сосед, поймав шикарный вид,  
уронит полуштоф уже с утра.  
да здравствует одесский ренессанс  
среди улиц, сотворивших суету,  
напомнивших, что людям дан аванс  
за то, что могут видеть красоту.

\*\*\*

зима всегда объёмней. белый снег,  
пушист и сочен, валится наружу  
из бытия творца, как будто нет  
причин держать и дальше в келье душу.  
как ярко распускается она —  
как лотос посреди чудес вселенной.  
а из окна торжественно видна  
седая бесконечность по колено.  
зимой снег — что первовещество:  
так, из него, пожалуй бы, адама  
господь соделал, справив рождество  
до возведения собственного храма.  
и мы б лепили, как снеговиков,  
своих пророков памятью грядущей  
и чтили б их из глубины веков,  
пожевывая сладкий хлеб насущный.  
а сам господь снежками накормить,  
пожалуй, смог бы весь народ тирана.  
евангельская праведная нить  
зимой всегда идёт в ушко корана.  
и я гляжу зимой в твои глаза  
и вижу в них бездонное, немое,  
что ты не можешь просто так сказать,  
но, верно, бы меня позвала к ною,  
коль нужно было б пару сохранить.  
я это вижу. и молчу ответно.  
о чём ещё с тобою говорить  
в такой тиши, священной и заветной.  
«идём домой», — читается в руке  
моей, что за твою берётся руку.  
и где-то филин кычет вдалеке,  
зазря пытаясь выпытать разлуку.  
и так светло и чисто в поздний час.  
снежинки в фонаре, играют дети —  
когда-нибудь такие же у нас  
настанут — загляденьем всем на свете.



ну а пока молчанья дай обет,  
моё непреходящее горенье.  
и знай: меня в любви счастливей нет,  
ведь ты в ней – единица измеренья.

\*\*\*

так хочется сходить куда-нибудь,  
как раньше, – множа суету.  
котлету дать собаке раненой  
и пару рыбинок коту.

и чтоб светили чудо-баннеры  
с рекламой техники крутой.  
и чтоб прохожие все замерли  
у шаурмы на угловой.

а ты бы шёл, весь полон чистого  
и вдохновенного добра.  
и солнце южное, лучистое,  
скрывалось бы в домах двора,

поскольку – осень. сколько свежести,  
простой возможности земной  
увидеть город звонкой нежности  
и удалцовости хмельной.

как много нового и дерзкого  
сулит начало холодов.  
как будто из туннелей детского  
тебя вытаскивают вновь.

ещё нет зла, тоски и похоти –  
вы просто – юные кенты,  
что в портовом суровом грохоте  
находят ноты красоты.

в кино зайдёте: тайна дивная  
впервые словно впечатлит.  
машина красная спортивная  
перед глазами пролетит.

и всё так заново, так радостно,  
как будто не было всего:  
ни горя прежнего тетрадного,  
ни распинанья твоего.

как будто на больничной койке ты  
не ныл, не бился, не стонал.  
и, молодость утратив в стойкости,  
четыре дня не умирал.

всё было, да. всё помню снова я.  
и так паршиво оттого,  
что юность, бывшая, здоровая,  
всегда одна для одного.

не повернуть и тайной кнопки мне  
в каком-то лифте не найти,  
чтоб не болтаться в этом коконе,  
а вновь быть первым на пути.

не знаю я, что в жизни велено  
и сколько жить ещё средь вас.  
хоть молодо – оно и зелено,  
но есть и в зрелости аванс

на что-то лучшее. на взрослое:  
часы, квартиры, пиджаки.  
вот жизнь, чутунная, серьёзная,  
и все вокруг – здоровяки.

вот потому, прожив так много, и  
кричу я времени: «вернись  
туда, где юность босоногая  
по лестнице сбегает вниз».

\*\*\*

что мы делали? пили, курили, базали на кухнях,  
наряжали сосну, танцевали в декабрьских перьях.  
а другие писали, кричали: империя рухнет –  
правда, стоит сказать, уходили чуть раньше империй.  
ну а мы целовали девчонок, скупали подарки.  
приходили домой, длинный стол накрывали обедом.  
а они ощущали себя от эпохи огарком,  
со вселенной ведя разговоры о том и об этом.  
да, мы были просты, выносили бутылки на тамбур,  
поздравленье смотрели какого-то там президента.  
а они собирались то в осло, то в Глазго, то в гамбург –  
им должны были что-то вручать с драгоценным презентом.  
а мы видели серость дворов, полюбившийся город,  
где старуха с собакой тащила на рынок соленья.  
открывали окно, поднимали заснеженный ворот  
и встречали наш год: «с днём рожденья, январь, с днём рожденья!».

\*\*\*

*П.Б.*

не правы, поскольку она никогда не придёт  
спасать вас, дельфина, извечным движеньем рот в рот.  
а будет обедать в каких-то французских бистро  
в трёх шагах до метро.

не нужно ни родины, ни иудейства, ни книг.  
родители – вот он, действительно важный ледник,  
на коем возможно пройти мировой океан...  
но к ним не пустили – вот вправду налить бы стакан.

но вы не из пьющих. еврей не зубровкой живёт.  
еврею бы скрипку, и можно сегодня в полёт.  
еврею б камин и какую-то сару в руках –  
заместо марины прославить в грядущих веках.





вы всё потеряли, поскольку не знали друзей,  
себя заключив ещё смолоду словно в музей.  
какие ж друзья там у статуи – только враги  
и голуби, что накидают ей по сапоги.

и хоть вы не правы, я той же дорогой иду.  
судьба ли, инерция – только иду на беду.  
не имя своё чтоб вписать на какой-то забор,  
а чтоб и по мне задрожал хоть какой-то собор.

всё это важнее. мы есть, а с минуту – нас нет.  
куда увезёт тебя белый небесный корвет –  
неведомо. жаль, что с собой не возьмёшь ничего,  
как, верно, одну только рифму под Слово Его.

\*\*\*

хоть бы во что-то был я вовлечён.  
но нет. пространство – пусто, время – сжато.  
роняет листья здесь столетний клён,  
как мученик последнюю зарплату.  
а у меня – ничто и ничего.  
по цвету – серость, звуку – лёт монеты  
на дно колодца, в коем торжество  
в конце тоннеля справит скорость света.  
потерянный, невнятный человек,  
я будто бы живу вторичным слоем  
на кадрах бытия, далёк от всех,  
прозрачен, тих, шершав, немногословен.  
я сам себя настолько истончил,  
что можно наколоть на плоть зрачка и,  
чтоб от пятна никто не отличил,  
размазать в близорукости очками.

\*\*\*

вот, на шаг ещё ближе к тебе, единенье земли.  
красота переходит из чёрного моря к гондолам.  
как теперь различишь суть скульптуры, когда на мели  
моряки с гондольерами заняты общим футболом.  
чипсов мир и мир колы в одно загребает всех нас.  
нет различья ни в чём. суть различья – лишь линии жизни  
на ладонях, а всё остальное – олимп ли, парнас –  
красной нитью сплетается в общей вселенской отчизне.  
я ликую, мой мир. я люблю безграничность краёв,  
чтоб босыми ногами пройти по утрам пикадилли,  
перейти на монмартр, склониться на сент-женевьев-  
де-буа, узнавая россию в бальзаковском стиле.  
выйду к берегу и покурю, что господь нам даёт  
(хоть различья верны, только бог всё ж над нами единый),  
и хлебну, чем встречает одесский коньячный завод,  
пока северный ветер стокгольма ласкает мне спину.

\*\*\*

мир оцени и весь его впиши  
 в контекст себя: проспект, машины, урны.  
 и триста метров до лесной глуши,  
 и километр – до волны лазурной.  
 вот это будет «твой универсам» в –  
 там часто покупал себе ты колу  
 и мог бы познакомиться с мадам,  
 но врать не будешь – встретилась у школы.  
 вот это «друг твой», се «твоя жена» –  
 она готовит здесь «твои котлеты».  
 вот это будет – да – «твоя стена»,  
 в которую тушил ты сигареты  
 и на которой написал «а.ш.»  
 как подпись декоратора крутого.  
 присвой себе всё это вообще –  
 всё то, что создало тебя такого.  
 чтоб коль они придут к твоим краям,  
 то знали – всё твоё, как ты придумал.  
 как прометей – огня дал фонарям;  
 как бог – в тела живую душу вдунул.

\*\*\*

когда остановится время, а вертится лишь пространство,  
 нам проще увидеть детали, из коих всё состоит:  
 вот эти сегодня расстались, а эти надели ранцы,  
 а этих уже через месяц вдвоём упокоит гранит.  
 о время, коль мог, я б клонился к твоим золотым изгибам,  
 но если ты замерло – значит, нам нужно глядеть внутрь себя.  
 вдыхать переспелую копоть, рыдать по сгоревшим избам,  
 влетаая оставшийся пепел в асфальтовый вдох сентября.  
 их столько ушло, что, сдаётся, не высчитаешь в тетради.  
 молчание – всё, что можно, что выглядит как должно.  
 здесь каждый смехок как последний, а сказанное смеха ради  
 всегда может быть случайно одним, что не искажено.  
 я не берусь быть взглядом с какой-то горы высокой,  
 но мы потеряли слишком на этой своей высоте.  
 и всё-таки за сегодня здесь вырастет вновь осока  
 и снова пойдут другие вперёд, хоть уже не те.  
 не знаю, что будет, время, с тобой. слишком громко думать  
 в такой тишине – наверное, сумрачный моветон.  
 перебираешь в пальцах сигареты, как будто струны,  
 чиркнув за время ночи хотя бы один фотон.  
 мы задолжали, видно. значит, с кого-то спросят.  
 только нет сил ни злиться, ни требовать жребий свой.  
 выстройся в ряд, ведь отче выходит собирать колосья.  
 раз-два-три – серп от месяца падает над головой.

\*\*\*

неужто всё. когда окончен бой,  
 ты остаёшься с целой головой.  
 и смотришься в апофеоз войны,  
 как в зеркало, где лучшие видны



жнивьём на поле. ну а ты живёшь,  
и виновато прошибает дрожь.  
ведь те, они – ведь ты им не чета,  
ты важного не сделал ни черта.  
ты – как парис, что выжил ни с чего,  
а гектор пал заместо твоего.  
тroyанский конь шагает на б-3.  
иллюзию спасения сотри.  
ты выжил. ты свидетель всех потерь.  
но некому и флаг поднять теперь.  
пусть смоет дождь всю кровь с лица земли.  
чтоб здесь прожить грядущие смогли.  
а кто в бою не спинул, те равны:  
писать в скиту историю войны.  
позор бойца, что скрылся от меча, –  
быть старцем и на тексты класть печать.  
живи, старик. храни свою юдоль.  
поглядывай на лучших исподволь.  
и знай, что жив ты только потому,  
что прах твой чем-то выгоден Ему.

# АННА МИХАЛЕВСКАЯ

## ЭЛЬ-ДЖАЗАИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН

### рассказ

Степь тарашилась на Кору безразличным бурым глазом. И этот взгляд всё труднее становилось выдерживать.

Кора стояла спиной к лагерю. Негромко переговаривались солдаты, стонали раненые. В ближней палатке завозились, раздался приглушённый смех маркитантки. Кто-то лениво перебирал струны расстроенной гитары. Наверняка капитан Акоста, больше дурью маяться некому.

Кора постаралась сосредоточиться – она должна что-то придумать. Завтра решающий бой, Гару нужна победа!

Рисунок медленно исчезал в пыли. Глубокие борозды от прутика мельчали, нарисованные руины Эль-Джазаира рассыпались прахом и утекали в красноватую пыль – туда, откуда и вырос этот ненавистный город.

Последний раз рисунок Кору так же исчез пять лет назад, а на следующий день армия Эль-Джазаира начала осаду Бреды.

Бреда была её домом. Любимым домом. И пока городские шпили утыкались в небо, в часах на ратуше плясали фигурки, а стук колёс молочной тележки будил по утрам, Кора ничего не знала о страхе.

Теперь она ест страх большими ложками. И Бреды больше нет. Только пепелище.

Кора вытерла пот со лба. Начало осени, а жарит как летом. Здесь природа и люди одинаково безжалостны. Палящее солнце не разбирается в справедливости.

Эль-Джазаир, южный пиратский город, заставил считаться со своей дикой силой всю прибрежную Европу. Застигнутые врасплох берберской наглостью, города кое-как держали удар, но ни одна армия не смогла взять Эль-Джазаир. Защищённый с моря искусным флотом и частыми штурмами, а с суши – бесплодными землями-пустошами, Эль-Джазаир был неприступен и непобедим. На рынке Бреды судачили о десятках тысяч угнанных в рабство, о сожжённых городах, о коварстве берберов. Тогда Кора думала, что эта страшная сказка никогда не случится с ней...

Кора сощурила глаза, посмотрела на горизонт – редкие, занесённые пылью кусты, жухлая бурая трава, красноватая земля. В нагретом воздухе дрожали закутанные с головы до пят в чёрное фигуры – одинаковые, похожие на стаю ворон. Берберы пользовались днём перемирия – хоронили умерших, собирали раненых.

Чёрная фигура надломилась, упала. Какая-то женщина узнала в убитом мужа, отца, брата? Кора жала кулак, ногти впились в ладонь. Ей не жаль. Берберы отобрали у неё всё – семью, дом, радость.

На глазах выступили злые слёзы.

Хрустнул сошедший ком земли, знакомый голос с хрипотцой негромко напел:

*Безжалостное сердце, дикий нрав  
Под нежной, кроткой, ангельской личиной  
Бесславной угрожают мне кончиной,  
Со временем отнюдь добрей не став.*

Кора торопливо вытерла глаза. Отбросила прутик – будто её застали за чем-то постыдным.

– И не скучно одной? Вы, Кора, всех ящериц в округе своей палочкой распутали.

Она оглянулась – паяц паяцем. Но достаточно безумен, чтобы ничего не бояться. За это Гар его и ценит. Иво Акоста прибился к армии недавно, перед походом на Эль-Джазаир. Видно, позарился на щедрую оплату. Акоста шутил, что поход станет самым выгодным делом его жизни, или самым последним. Молодой беспашашный капитан здорово раздражал Кору. Война для него была развлечением, игрой. Коре этого никогда не понять.

Иво улыбался до ушей. Бессменный колет отраен от следов прошлых боев, сапоги начищены – капитан сверкал, как новая монетка. Думает, раз Гар доверил ему тыл, теперь и Кору можно донимать пустопорожней болтовнёй? Гитара у него, что ли, сломалась, или влюблённые маркитантки закончились?



– Вас не касается!

Не объяснять же капитану, что скучать ей некогда. Так, мол, и так, она с детства рисует мечты, которые оживают. Рисовала Гару победы, и он не проиграл ни одного боя. А сейчас проищрает. Потому что рисунок исчез.

Гар чего-то не учёл – город готовит западню. Его в лагере нет, да и что бы она сказала? Он всегда потешался над её рисунками. Кора вздохнула. Она сама должна что-то придумать.

– Почему не касается? Между прочим, перед господином генералом я отвечаю за вас головой.

– Ах, вот в чём дело! Так я освобождаю вас от этой тяжкой обязанности.

Улыбка капитана растаяла, он сосредоточенно посмотрел за плечо Коре. Серые (зелёные?) глаза превратились в щёлки, между бровей залегла глубокая складка.

– Обязанность мне как раз нравится, а вот небо за вашей спиной – нет.

Кора оглянулась. Со стороны степи на горизонте чернела полоса.

Пыльная буря! Будет здесь через четверть часа.

Кора вцепилась в рукав капитана – как же она ненавидела эти пропахшие смертью степи, чужих людей, чужой мир!

Акоста взял её под локоть, молча увёл.

Весть прокатилась по лагерю, капитан отдавал отрывистые команды, солдаты укрепляли палатки, тащили всю утварь вовнутрь. Маркитантки спешили закрыть свои повозки. Кора скользнула за полог их с Гаром шатра – высокого, просторного, который часто служил и штабом.

Здесь безопасно. Но она не собирается сидеть в тихом месте и ждать, когда с Гаром случится беда. Позади три месяца осады – бессчётные вылазки, кровавые схватки на море, ночи без сна и рвущаяся на волю ненависть. Гар должен выиграть, он достоин этого!

Ей было пятнадцать, когда они встретились. Ему – тридцать один. Удачливый полководец и напуганная до смерти девчонка. Немудрено, что Кора влюбилась. Терпкой осенней ночью он пришёл к ней в палатку. Успокоил дрожь, остановил поцелуем ненужные вопросы. Гар часто говорил, что Кора похожа на погибшую жену. Пусть так. Она закрывала глаза, вдыхала его запах и не могла насытиться. Так пахли порох, война и победа...

Бывало, картинки долго не оживали. Вечность назад, ещё в Бреде, Кора придумала себе друга. Бело-брысый мальчишка сопротивлялся, не хотел становиться настоящим. Неделю Кора приходила к плоскому камню у реки, подолгу сидела с угольком в руке, не решаясь провести последний штрих и дорисовать глаза. Но однажды мальчишка сдался, и Кора наконец увидела его взгляд. А на следующий день встретила мальчика в базарной толчее. Жаль, они не успели и слова сказать друг другу... Кора горько усмехнулась – в детстве всё было проще. Вера в себя, приправленная упрямством, творила чудеса.

Кора закрыла глаза, тысячный раз рисуя в голове смерть Эль-Джазира... Запоздавшая догадка рассыпала по спине ледяные градинки. Она ничего не знает о городе! Она видела его стены, видела солдат. Но это не всё. В городе есть улицы, дома, там что-то происходит. У города свой нрав, свои секреты. Она никогда не поймёт сути Эль-Джазира, не нарисует, если не попадёт в самое его сердце.

Нет, она не отважится! А есть ли выбор? Кора тяжело поднялась. Она должна пробраться в этот проклятый город! Времени почти не осталось, а надо ещё придумать, как пройти стражу...

Женщины! Кора бросилась к сундуку. После морских вылазок Гар привёз немало трофеев. Она то-ропливо разбросала украшения, выхватила фараджи, скользнула в широкий халат, закрепила на голове обруч. Мир сразу стал тесным, узкая прорезь для глаз показалась тюремным окном.

Приоткрыла полог палатки – в лицо ударил холодный ветер, буря совсем близко. Лагерь притих, никого. На это и был расчёт. Если увидят свои, долго разбираться не станут, кто скрывается под фараджи. Решат – шпионка и прострелят ноги, чтобы далеко не убежала.

Кора выскользнула из палатки и, не оглядываясь, помчалась в сторону чёрных фигурок. Бурные клубы поднимались над землёй, порывы ветра сбивали с ног, пыль разъедала глаза.

Она споткнулась, упала на колени. Синие изодранные шаровары, широкий кушак, короткая расшитая жилетка, надетая на голое тело – мёртвый солдат смотрел в небо, открытый рот застыл в немом крике. Солдат прижал к распоротому животу руки в тщетной попытке удержать засиженные мухами внутренности.

Кто-то гортанно крикнул. Кора подняла голову – женщина-берберка махнула рукой, показала вниз. Кора кивнула, подошла. На носилках лежал солдат с рассечённым плечом. Видно женщина не могла унести последнего раненого, ждала подмоги. Кора подхватила носилки, и они двинулись к городу. Подумать только, она помогает спасать бербера!

Воздух стал плотным, дышать было почти невозможно.

Скоро, очень скоро в ней почуют чужака. Она не знает языка – как должно свободным горожанкам. У неё нет клейма на запястье – как у рабыни. Фараджи скрывает её русые волосы и голубые глаза. Но только до поры. Страх накатила вместе с новым порывом ветра. Руки ослабли, Кора уронила носилки. Невольная напарница возмущённо затараторила на своём вороньем языке.

Они добрались до ворот, когда буря лизала пятки и грозилась перейти в ураган. Берберка поспешно переступила порог узкой дверки в воротах, что-то тихо сказала. Стражник кивнул, перевёл внимательный взгляд на Кору, под белоснежным тюрбаном зло сверкнули смоляные глаза. Она похолодела. Если берберка донесла на неё, то вылазке конец. Кора пригнула голову пониже, руки онемели под тяжестью носилок.

Застонал раненый. Стражник мигом потерял к ней интерес, прикрикнул на берберку, и та резко двинулась вперёд, увлекая за собой Кору.

\*\*\*

Они оставили раненого в лазарете недалеко от ворот, и Кора сразу спряталась в узком переулке. Если её схватят в городе – выбор небольшой. Либо казнят, либо продадут в рабство. Могут ещё оставить гнить в тюрьме. Что ж, тогда она воспользуется стилетом, спрятанным до поры под лифом котта. Это будет единственно достойный выход.

Но пока её никто не преследовал. Кроме бури, конечно. Даже толстые стены бастиона не спасали от ветряных вихрей. Идти приходилось пригибаясь к земле.

В воздухе носились мелкие камни, домашняя утварь, в лицо летели щепки, солома с крыш. Кора схватилась за ближайшую стену, порыв ветра швырнул её на противоположную сторону. Она ударилась головой, осела. Клубы пыли залепили глаза, закрутили волчком...

Она очнулась, когда её снова куда-то тащили. Кора почувствовала, как трещит фараджи, и перестала сопротивляться.

Хлопнула дверь, шум ветра стих в одночасье. Кора открыла глаза. Над ней склонилась женщина и быстро-быстро заговорила, будто отчитывала. Остановилась, ожидая ответа. Кора покачала головой. Женщина жестами предложила поднять накидку фараджи. Кора снова покачала головой. Женщина отошла на шаг.

Рядом с берберкой вилась девчушка лет семи, с интересом поглядывала на Кору. Та улыбнулась – когда-то сама так же глазела на мир. Женщина мягко отстранила дочь, что-то сказала ей – девчушка нехотя пошла в боковую комнату. Оглянулась, ещё раз бросила взгляд на Кору.

Берберка недоверчиво изучала непрошенную гостью. Кора поняла – ей не рады, но за стражей никто не пойдёт. Женщина пожалела её и теперь не знает, что делать. Наконец берберка решилась – позвала за собой, приоткрыла резную дверь во внутренний дворик с узкой террасой. Толкнула Кору во дворик, показала на себя, приложила палец к губам, развела руками. Мол, она будет молчать, но в доме Коре не место. Дверь захлопнулась перед носом.

То ли ураган сходил на нет, то ли дворик был по-особенному защищён от бурь, но здесь ветер не сбивал с ног и не забрасывал пыль под одежду.

Кора опустилась на плиточный пол, бездумно уставилась на ряд белых колонн, поддерживающих навес. Нарисовать хорошую погоду? Рука поднялась и безвольно опустилась. Она не могла даже это.

От бессилия Кора расплакалась.

\*\*\*

В Бреде на набережной она нашла полуживую синичку. Кора тщетно пыталась отогреть жёлто-синий комочек своим дыханием, подсунуть под клюв хлебные крошки. Птица не шевелилась.

В тот миг Кора поверила, что может всё исправить – путаясь под ногами у прохожих, она изрисовала набережную вдоль и поперёк. Примёрзшая корка снега пестрела летящими в небо птицами. Но рисунки исчезали. И приходилось рисовать заново...

Синичка не ожила. Тогда Кора и поняла – есть смерть, и с этим ничего не поделаешь. А потом узнала, что есть ещё и война.

Бреда выдержала два месяца осады. Губернатор отказался платить контрибуцию, надеясь на подкрепление. Но союзные войска опоздали.

Отца убили в первый же месяц осады, мать медленно сошла с ума – приходилось кормить и одевать её насильно. Кора пыталась рисовать – рисунки рождались мёртвыми, и она бросила бесполезное занятие. Война была не лучшим временем для мечтаний. Всем правили голод, смерть и страх.

Когда в их пропахший бедой дом ворвались смуглые воины в шароварах и нелепых накрученных головных уборах, у Кору не было сил сопротивляться. «Смерть, так смерть», – думала она, сидя в погребке. Но мать неожиданно вырвалась, набросилась на солдат. Те только ухмылялись. Она не годилась для рабства – кто купит безумную женщину? Маму изнасиловали, вспороли саблех живот.

Кора должна была вступить, но животный страх приковал к мёрзлой стенке погреба, милостиво позволяя наблюдать казнь мамы сквозь трещины в полу. Кору, конечно, нашли. Ей не дали ни похоронить мать, ни попрощаться с домом.



Город разграбили и подожгли. В назидание за непокорность. Языки огня лизали чернильное небо – это могло быть даже красиво, если бы не горел её дом. Берберы подгоняли пленных, но Кора оглядывалась до последнего. Пусть горящая, разрушенная, Бреда должна была остаться в памяти.

Скоро чувства притупились, Кора часто спотыкалась, падала. Её могли затоптать, если бы кто-то снова и снова не помогал подняться. Она собралась с силами, повернула голову. Светловолосый парень по правую руку поймал её взгляд, печально улыбнулся. Взвизгнул берберский кнут, парень схватился за шею. Пленным не положено помогать друг другу. Кора потянулась к нему, но снова упала. А когда смогла подняться, парня уже не было рядом.

К вечеру третьего дня берберы с пленными дошли до Брилле – портового города-крепости, взятого Эль-Джазаиром пару лет назад.

Отряд Гара наступил берберов перед посадкой на пиратские галеры. Началась пальба. Товарищи по несчастью падали, сражённые пальными пулями, летели головы, под ногами извивались живые мертвецы.

Большую часть пленных со скарбом берберы успели погрузить и отплыть. Кора и ещё горстка выживших остались на усеянной трупами набережной. Кто-то катался по земле, стонал от ран, кто-то умолял солдат Гара вернуть уплывшее в море золото, кто-то просил есть.

Когда удалось унять дрожь, Кора поднялась и, спотыкаясь, пошла в сторону Бреды.

Её нагнал рослый закованный в латы воин. Из-под шлема с чёрным плюмажем холодно блеснули голубые глаза. Он не позволил уйти. Кора выбивалась, кричала, но её успокоила крепкая затрещина. Он заставил поесть – как она ещё недавно маму, выслушал сбивчивый рассказ о невзгодах. А потом выдал паёк и сказал, что она свободна. Кора осталась.

Это была их первая встреча с Гаром.

\*\*\*

Она размяла затёкшие ноги, выглянула из-под навеса. Буря сошла на нет – только ветер гонял по небу опшметки серых облаков.

Кора прошла по террасе, наткнулась на полуобрушенные ступеньки каменной лестницы, выбралась на крышу. Подошла к невысокому зубчатому парапету и ахнула. Эль-Джазаир бесстыдно обнажился перед ней во всей своей красе.

Белые башни султанского дворца с блестящими золотом куполами. Белые кубики домов попроще с узкими, словно бойницы окнами. Ступеньками бегущие от моря вверх улицы. Срастающиеся друг с другом крыши. Город как казарма – кругом одни солдаты. Мечеть в ажурных арках, стрела минарета – здесь тоже молятся своему Всевышнему, но, наверное, просят совсем другого. На юге – гавань, море бесится после недавней бури.

Всё чужое, странное, и этот спящий белый цвет – такой нелепый для жестоких берберов.

Что же она упустила? Что не поняла?

Движение у ворот привлекло внимание. Наверняка ещё вчера там была широкая площадь. А сейчас зияли ямы. Солдаты, как муравьи, бегали по протогнанным дорожкам между ям, спускались по приставным лестницам с охупками заостренных железных прутьев, тащили заточенные сваи. Железные острия густо выстилали дно. Упасть на них – живым не выберешься. С одного края ямы уже закрывали досками, присыпали землёй. Доски были тёмные, некоторые трескались прямо в руках у солдат – значит, гнилые. Гар неминуемо угодит в западню. Ямы копали и в переулках – беспорядочно, непредсказуемо. Обойти их могли только предупреждённые заранее.

Она осела на крышу. Вот почему исчезал рисунок. У её беспричинной тревоги появилось лицо. Скоро спустятся сумерки – ворота запираются на ночь, да и город полон солдат. Не выйти, не предупредить...

Гарион де Варр, граф павшего Ахена, имел с Эль-Джазаиром личные счёты. Как и Бреду, Ахен разграбили. А после подожгли. Во время осады скончалась жена Гара, разродившись раньше времени мёртвым ребёнком. Гар отказался поднимать белый флаг, сумел выжить в последнем сражении и поклялся отдать долг сполна.

На остатки сбережений он нанял солдат, провёл успешные кампании – армия заработала хорошую репутацию и выгодные контракты. Строгий военачальник, проповедующий железную дисциплину, Гар щедро платил и костью ложился за своих солдат. За пару лет сражений он собрал кругленькую сумму и мог спокойно жить до конца дней, но вместо этого расширил армию, закупил новые пушки и нанял военного инженера.

Пять лет Кора провела с Гаром в военных походах. Рядом с ним страх войны притупился, но не ушёл совсем. Кора научилась неплохо стрелять, сносно владела саблём. Но когда впервые убила берберского солдата, она день не видела и не слышала никого и только остервенело тёрла лицо и руки. Чудилось, что кровью забрызганы губы, волосы, что кровь осталась под ногтями, блестит тёмными пятнами на сапогах.



Когда армия Гара достигла пика славы, он заручился поддержкой морских держав и повёл солдат на Эль-Джазаир.

Конечно, пиратский город не собирался сдаваться. Корабли Гара держали подход к морю, перерезая путь к бегству берберским галерам и шебекам. С суши к воротам Эль-Джазаира потянулись зигзаги траншей и окопов, выросли укрепления.

Силы были равны, маятник победы качался из стороны в сторону. Заваленные подкопы, заклёпанные пушки, потонувший корабль Гара, смертоносные бури на море и суше. Полуразрушенный с моря форт, взорванный склад городских боеприпасов, бреши в укреплениях, блокада.

Гар всё больше замыкался в себе, и Кора его понимала. Слишком много стоит на кону – честь, репутация, дело всей жизни. Он подбадривал помощников, воодушевлял солдат, но оставшись один, выпускал тревогу наружу. Кора единственная видела его слабость. И Гар старался избегать её общества.

Она хотела помочь и стала усиленно рисовать. Гар лишь посмеивался – будто невзначай его сапог цеплял рисунок, всегда стирая самую красивую часть. Кора расстраивалась, но терпела. Пусть злится, рисунок всё равно принесёт удачу. Вот только картинки не оживали.

Гар готовился штурмовать город через пару недель, но каждый день ожидания грозил новой вылазкой берберов и новыми потерями. Блокада и голод делала пиратов отчаянными и безумно смелыми. Ждать опасно, действовать раньше времени тоже. Но Гар был человеком действия.

В день перед бурей он собрал основную часть войска и повёл на подступы к кораблям, выбрал обходной путь, подальше от города. И позаботился, чтобы дозорные бастиона успели заметить манёвр. Узнав об этом, султан неминуемо бросит основные войска на защиту подступов с моря. А Гар вернётся под утро и атакует город с суши. Акоста с оставшимися солдатами прикроет тыл...

Когда прощались, Гар не смотрел ей в глаза. Только крепко – до боли – сжал в объятиях. Жёсткие волосы кольнули щеку. Такой знакомый запах пороха и войны – и такой чужой человек.

\*\*\*

Эль-Джазаир смывает морем.

Эль-Джазаир сгорает в огне.

Эль-Джазаир равняют с землёй пушечные ядра.

Город сносит буря.

Всевышний шлёт Эль-Джазаиру смерть.

Бесполезно. Картинки тускнели и исчезали.

Кора не заметила, как стемнело. Просто почему-то стало неудобно рисовать. Уголёк давно стерся, она дорисовывала пальцем, пока не сбила его в кровь. Когда перестала видеть свои руки, начала представлять картинки в воздухе.

Тело бил озноб. Она устала. Она не знает, что делать. Ей страшно. Кора всхлинула.

Она слишком ненавидела Эль-Джазаир. Она слишком хотела помочь Гару. И слишком боялась, что не получится. Так и вышло. Она только подвергла Гара лишнему риску и подставила под удар голову Акосты.

Наверняка Акоста уже заметил пропажу. Кора впервые пожалела, что он далеко. Иво Акоста, разгильдяй капитан, всегда помогал ей. Оказывался рядом, когда было совсем невмоготу. Старался рассмешить. И эта улыбка – будто он не убивал, никого не терял и не тянулся через всю шею шрам, будто в его жизни нет преград и никогда не было. А Кора и слова доброго Иво не сказала. И, наверное, уже не скажет...

Она не может больше бороться. Кора легла на спину, устала в небо. Чужие звёзды. Она привыкла к другим.

Ночь давила темнотой, утекала драгоценными мгновениями в ссохшуюся красную землю. Тишину разрывали оклики – солдаты готовили Гару встречу.

Внизу, на первом этаже, беспокойно спит женщина, которая её спасла. Или не спит – сидит у детской кроватки, поправляет одеяло, запоминает каждую чёрточку родного лица.

Война не оставляет времени на прощания. И всё, что сейчас есть у Кору – это воспоминания.

Она идёт к ратуше, и вместе с другими зеваками задирает голову, ждёт. Большая стрелка дернется, укажет остриём в небо, часы пробьют новый час, и фигурки над циферблатом снова спляшут для Кору. Она улыбается. Всё будет хорошо. Теперь можно потолкаться на рынке, послушать сплетни. Кора фыркает – и не надоело судачить о войне...

Валкенбергский парк – чинный, с яркими глазами клумб, фонтанами и прудами – раскинулся вокруг королевского замка. Кора заворожённо разглядывает замок, но к воротам не спешит, Гранатовая и Голу-





биная сторожевые башни слишком грозные, несмотря на свои мирные названия. Она заходит в Гротекерк, от звука органа по спине бегут мурашки. Кора чувствует себя песчинкой, но сй спокойно и надёжно. И всё же она больше любит беззаботный рынок. И старую липу на площади рядом, и нарядные стрельчатые окна пряничных домов, и бедных уродливых горгулий, что плюются с крыш дождевой водой...

Кора помогает маме управиться с выпечкой. Мама сосредоточенно месит тесто. Она очень красивая, и Кора мечтает вырасти такой же. Жалобно поёт дверь, скрипят ступеньки – отец поднимается к ним. Лицо уставшее после долгого дня службы. Отец улыбается Коре, ловит взгляд матери. И не может оторваться. Удивительно, как быстро оживает его лицо. Кора спохватывается – бросается к печи. Успела! Хлеб только зарумянился. Она тихо выходит.

Она не хотела ничего забывать. Она помнила каждую мелочь. Кора складывала из звёзд картинки прошлого. И картинки медленно оседали на Эль-Джазаир...

Забрезжил рассвет. Кора приподнялась на локте, села. Она опоздала. Сейчас Гар начнёт штурм и попадёт в ловушку. Сердце сжалось.

Гарнизон построился шеренгами под стенами, оставляя площадь свободной. Но прогремел взрыв – мина обрушила ворота, большую часть стены, разметала берберских солдат. Пока всё по плану.

Победный крик тысячи глоток потонул в звуках выстрелов. Сквозь клубы пыли Кора увидела блестящие шлемы, панцири кирас. Прорвались! Она обрадовалась, забыв о ловушке.

Берберы отступали в рассчитанном беспорядке, увлекая кирасиров всё ближе к замаскированным ямам. Вот-вот посыпятся вопли, Гар потеряет людей.

Солдаты сходились лоб в лоб, мелькали жала сабель, хлестала кровь, пачкая белые кубики домов, блестящие кирасы, покрывая равным липким слоем и живых и мёртвых.

А с городом творилось неладное. Эль-Джазаир дрожал как отражение в беспокойной воде. Улицы неуловимо менялись. Пыльные площади, истёртые переулки щеголяли заплатами чистеньких булыжных мостовых, напомнивших родную Бреду.

Берберы дробили войско, заманивали солдат Гара в переулки, убегали через террасы крыш. Кирасиры постепенно теряли дух. Который раз пираты отбрасывали их к самым воротам, теснили прочь из города.

И тогда Кора увидела Гара. Закованный в медь всадник с развевающимся на ветру чёрным плащом. Таким она запомнила его с первой встречи.

Гар мчался сквозь пули, что-то кричал. Кора видела, как солдаты заряжаются его силой – разрозненные клочки армии вновь складывались в мощный механизм.

На горизонте росла полоса. Со стороны степи к городу приближался отряд Акосты. Иво прикроет тыл. Победа Гара – дело времени!

Вокруг султанского дворца, окружённого толстой стеной, собиралось всё больше людей – солдаты, женщины с детьми, старики – кто готовился к обороне, кто искал убежища.

Кора торжествовала – пусть теперь они побудут в её шкуре, пусть изойдут этим страхом и ужасом, которые жили с ней все последние годы!

Она нашла глазами знакомую рослую фигуру. Похоже, Гару её помощь уже не нужна.

Смутный мужчина в длинной накидке, явно не солдат, занёс саблю, но встретил клинок Гара. Бербер обмяк, пьяно повалился вперёд. Гар с силой отбросил тело. Огляделся, нырнул в переулок. Ему в ноги бросился мальчишка – умолял о пощаде, хотел сдаться? Гар не брал пленных. Из горла мальчишки хлестнул алый фонтан. Выстрел – Гар уложил солдата, следующие два выстрела нагнали не вовремя оказавшихся на пути женщин. Гар переступил через них, пошёл вперёд – напрямик к убежищу Кору.

Наемники Гара врывались в дома, грабили, жгли, оставляя за собой обезглавленные трупы. Кора пошатнулась, но опереться было не на что – она скрестила на груди руки, с силой прижала к себе. Будто могла так закрыться от того, что увидела.

И эта армия её защищала? Кора вспомнила Бреду – сейчас солдаты Гара ничем не отличались от берберов. С той лишь разницей, что Гар не торговал невольниками и поводов пощадить хоть кого-то у него не было.

Во рту пересохло, Кора облизала запёкшиеся губы. Это и есть победа? А ведь она сама хотела всё уничтожить. Почему теперь так тошно? Разве это не справедливо – отомстить за себя, свою семью? Она ненавидела Эль-Джазаир. Ненавидела берберов, надругавшихся над матерью. Ненавидела свой страх и войну, рождённые этим городом.

А теперь не могла понять, что было сильнее – ненависть к Эль-Джазаиру или любовь к навсегда потерянному дому, её Бреду.

Хлопнула дверь – хозяйка с девочкой бежали из дома. Вниз по улице – в султанский дворец. И наперерез Гару.

Перескакивая ступеньки, путаясь в фараджи, Кора слетела на первый этаж, выскочила на улицу. Она всё объяснит Гару. Их нельзя убивать. Он поймёт. Должен понять.

Она увидела Гара из-за спины беглянок, бросилась вперед, толкнула женщину.

– Не стреляй, Гар!

Почувствовала толчок в грудь, мир дёрнулся, Кора упала на колени. Краем глаза увидела, как женщина с девочкой скрылись в переулке. Повалилась на бок, голова ударилась о что-то твёрдое.

Гар стрелял в неё? Нет! Да... Он не услышал слов, не узнал в фараджи. И это был не Гар. Прежнего Гара съела ненависть.

Она надеялась, что женщина с девочкой смогут пережить сегодняшний день. Когда-то давно Кора не сумела отстоять маму. А сейчас страстно желала, чтобы эта девчужка не осталась одна.

Грудь жгло огнём. Кора закашлялась – рот наполнился солёным, липким, по подбородку потекли тёплые струйки. Теперь некуда спешить. Она сделала, что могла. Нарисовала Гару победу, и он выиграл.

Вспышка боли судорогой прошла тело. Перед глазами мелькали картинки прошлого. Осада, походы, Гар, Бреда. Набережная, мёртвая птица в руках. И сотни живых – нарисованных на корке снега. Тогда она верила, что сможет побороть смерть. Но ничего не вышло.

Она должна попробовать ещё раз. Последний.

Кора с трудом разлепила глаза, нащупала рукой землю, провела пальцем в пыли. Дрожащий силуэт летел в небо. Она дёрнулась и провалилась в темноту.

\*\*\*

Крики, топот конских копыт, лязг сабель. Если она умерла, то мир мёртвых мало чем отличался от побоища Эль-Джазира. Кора сжалась, ожидая новый спазм боли, но боли не было. Только что-то щекотало руку.

Она подняла отяжелевшие веки – на ладони переступала лапками и приветливо чирикала синичка. Живая, настоящая! Кора улыбнулась и, стараясь не спугнуть птицу, приподнялась на локте. Свободной рукой провела по груди – ни раны, ни крови, ни прострела на фараджи. Перевела взгляд на синичку. Та засуетилась, вспорхнула и взмыла в небо.

Её смерть превратилась в птицу!

Кора стряхнула пыль с одежды, огляделась. Гар, наверное, уже рядом с султанским дворцом. Может, она успеет его остановить. Не ради других, ради него самого. За ненависть не уцепишься – там пустота. Но можно держаться за то, что любишь.

Земля под ногами дрогнула. Улицы расплылись, пошли мелкой рябью. Белые стены трескались, под ними проступила разноцветная краска. Эль-Джазир лихорадило.

Крепость в крепости – султанский дворец – сдавал позиции. Отряд Гара лавой втекал в открытые ворота. Мелькнул чёрный плаюмаж – Гар, яростно отбрасывая с пути берберов, спешил за головой султана. Он не уйдёт с пустыми руками или не уйдёт вообще.

Мир снова пошёл рябью. Дворец треснул, кладка лопнула и медленно сползла, как старая шкура. Похожий на блин купол дёрнулся, вытянулся вверх. Осыпались крошкой стены дворцовой крепости.

– Гар! – Кора побежала вперёд, рискуя снова схлопотать пулю или попасть под чью-то скорую саблю.

– Гар! Гар!

Она кричала до хрипоты, пока не сорвала голос. Знала, что бесполезно, но не могла остановиться. Конечно, он её не слышит. И она ничего уже не перерисует. Слишком много вложено силы в первый порыв. Это не повернуть вспять.

Кора ошалело бродила по улицам. Она потеряла Гара. Лишилась единственного близкого человека, за которого была готова умереть. И умерла. Он сам захотел принести её в жертву. Жертву своей ненависти. Кора прислушалась к себе. Не было страха. Не было горя. Может, она слишком устала для этого. А может, прошла свою дорогу до конца.

Постепенно стычки прекратились – на тех местах, где шли схватки, земля пузырилась буграми, из неё росли мощёные улицы, дома с черепичными крышами, пёстрые клумбы. Солдаты – каждый на своём языке – всё чаще вспоминали Всевышнего. Но он здесь был ни при чём.

Пираты отступали – бежали к морю. Вряд ли берберам удастся далеко уйти – корабли Гара блокировали гавань, перекрыли все лазейки.

Когда отряд Акосты вошёл в город, мародёрство закончилось. Обезумевших от вседозволенности первых захватчиков быстро усмирили свои же. Мирное население оставили в покое. И люди забились по чужим домам и подворотням, боясь сделать лишний шаг.

У Кору перед носом на взмыленном коне проскакал похожий на Иво всадник, что-то выкрикнул, но возглас потонул в шуме перестрелки.



Она спряталась в переулке рядом с площадью. Вжавшись спиной в чью-то дверь, Кора смотрела на дворец. Когда старая шкура сошла, и камни осыпались в пыль, никого не осталось. Гар вместе с самыми отчаянными солдатами канул в пустоту. Ту, которая всегда стоит за ненавистью.

Гарион де Варр победил город. Победил свои слабости. Победил самого себя.

Кора стянула через голову фараджи – сразу стало легче дышать, бросила ненужную маскировку под дверь.

Опустевшая было площадь наполнилась людьми. Свои, чужие – блестящие шлемы, шляпы, тюрбаны – всё вперемешку.

Она пробралась через толпу, остановилась на кромке булыжной мостовой, не веря глазам уставилась на ратушу. Посреди красной пыли, палящего солнца и белых кубиков чужих домов вырос её родной город!

– Я тоже скучал по Бреде.

Кора вздрогнула, оглянулась.

Непривычно серьёзный Акоста внимательно изучал площадь, задрал голову – посмотрел на часы.

– Думал, больше тебя не увижу, – он бросил быстрый взгляд на Кору.

Она вдруг поняла, что глаза у него совсем тёмные. Не серые, не зелёные – карие.

– Я всегда так думаю. И каждый раз ошибаюсь, – добавил Иво и неожиданно покраснел.

И Кора вспомнила. Белобрысый мальчишка в базарной толчее. Парень, поднявший её в толпе пленных. Белый зигзаг шрама от берберской плети на шее Иво. Её имя, заглушённое шумом перестрелки. И эти глаза, которые ей никак не давались. Сколько же она утков извела, пытаясь нарисовать взгляд Иво на плоском камне у реки!

Губы Кору сами собой растянулись в улыбку. Наверное, сейчас она выглядит так же нелепо, как вечно весёлый без причины капитан Акоста. Но Иво поймёт. А остальное – неважно.

Иво протянул ей руку, и они вместе ступили на базарную площадь.

Большая стрелка указала в небо, часы гулко ударили, и фигурки начали свой танец.

---

<sup>1</sup> Ф. Петрарка «Книга песен».

# АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

---

## «БОГ – ВНУТРИ НАС, А СЕРДЦЕ – СНАРУЖИ»

### ДУХОВНЫЕ СТИХИ

\*\*\*

Ты просто живёшь – и приходит твой час.  
Себя не кори и не мучай:  
Ведь с равною долей участвуют в нас  
И опыт, и гений, и случай.

Иссякнет, бывает, небесная бронь.  
Ничто не даётся бессрочно.  
Но, если сойдёт благодатный огонь,  
Записывай в сердце – построчно.

И, может, Всевышний однажды, в страду,  
Простит тебе эту длинноту –  
За то, что нечаянно, в полубреду  
Ты взял свою верхнюю ноту.

\*\*\*

У поэта, что к небу готовится,  
Испытание есть – крестословица.

Он плывёт на плоту между рифмами,  
Осенён перекрёстными рифмами.

Не находит он неба – и мается:  
Жизнь разбитым стеклом разлетается.

Лапой львиною бьёт она в лоб его –  
И бессмертное требует топливо.

На церквах – купола позлащённые,  
А стихи – вот беда – некрещёные!

Лишь душа – голосов страстотерпица –  
В неизбывности музыки теплится,

И родная сестра – крестословица –  
К потаённому небу готовится.



\*\*\*

*В. Третьякову*

Разбередив пространство лет  
И всё былое растревожив,  
Я вспоминаю, как секрет,  
Что жизнь и смерть – одно и то же.

Они всё время бродят в нас,  
Друг другу возмещают ссуды,  
Перетекая всякий раз,  
Как влага в спянных сосудах.

И возрождаясь наяву  
В неистребимости природы,  
Вдруг понимаю, что живу –  
А Бог приходит и уходит.

Как будто рвётся цепь времён –  
И смутно чувствую вину я;  
Я не живу – лишь существую,  
Когда уходит в небыль Он.

Как расцветает вместе с Ним  
Души пространная обитель!  
А Он во мне – как будто зритель,  
Всё время уходя к другим.

Всему, всему, что рождено,  
Свой беспокойный век отмерен, –  
Нет, это я Ему не верен,  
Не оценив, что мне дано!

И я иду на божий свет,  
И жизнь земную не итожу,  
И понимаю, не секрет,  
Что жизнь и смерть – одно и то же.

\*\*\*

*Причастный тайнам, плакал ребёнок –  
о том, что никто не придёт назад.*

*А. Блок*

В печальных застенках былого,  
В начале начал на земле,  
Когда ещё не было Слова,  
Ребёнок заплакал во мгле.

Рыдал он о краткости мига,  
Непрожитой жизни трубач.  
Тогда не пришла ещё Книга.  
Я знаю: в Начале был Плач.

И вижу картинку спросонок:  
Один на развилке дорог  
Всё плачет забытый ребёнок.  
А людям мерещится – Бог.



\*\*\*

Отлучённый от тяжести тела,  
 Зажигаю гирлянды в ночи.  
 Что ты шепчешь, незримый, несмело?  
 Не молчи, милый друг, не молчи!  
 Дай мне руку во тьме непогоды,  
 Осени меня мыслью простой –  
 Чтобы веры распетые своды  
 Озарились счастливой звездой.

Угасают небесные звуки  
 В лабиринте растерянных лет.  
 Протяни свои зрячие руки –  
 Чтобы вызрел молитвенный свет  
 В сердце тёмном. И думой ответной  
 Унесусь я в Твои небеса,  
 И зажгутся в ночи безрассветной  
 Голосающие угли – глаза.

### МОЛИТВА

«Ты услышь меня, Господи, Отче наш,  
 Уповаю на милость Твою», –  
 Весь в крови, я стонал на обочине,  
 Позабытый друзьями в бою.

«Не пристало идти тебе в зрители,  
 Вспомни только Себя на кресте,  
 Ведь найдутся за павшего мстители», –  
 Возопил я в глухой черноте.

Мне ответило марево грохота,  
 И тогда, средь огня и песка,  
 Я возвысил свой голос до шёпота –  
 И меня услышали века.

\*\*\*

Из земли, изувеченной язвами мин,  
 Измождённые, злые как черти,  
 Ветераны боёв возвращаются в мир  
 На правах победителей смерти.

И не скажут вам метрики, сколько нам лет:  
 Так случилось – на высях сожжённых  
 Прикоснулись мы к вечному миру, где нет  
 Победителей и побеждённых.

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,  
 Жизнь и смерть – мы раздвинули грани!  
 Только на север, на север летит,  
 А душа остаётся в Афгане.



И, преследуя солнце, мы рвёмся домой –  
К нашим семьям, по нам тосковавшим, –  
А над выжженной солнцем афганской землёй  
Наши души вселяются в павших.

\*\*\*

Ты храни меня, Бог, от поспешности  
Скороспелых порывов души;  
Ты храни меня, Бог, от безгрешности,  
От цветов нераскаянной лжи;  
От кристаллов замшелого инея,  
Притушившего пламя сердец,  
От шпионащей свиты уныния,  
Окружившей мой снежный дворец;

От угарного запаха тления,  
От лица, превратившего роль,  
От упавшего в вечность мгновения,  
Растерявшего трепет и боль;  
Ты храни меня, Бог, от обочины,  
И, серебряным ветром гоня,  
Если зреет в душе червоточина,  
Ты храни меня, Бог, от меня!

Ты храни меня, Бог, от безумия;  
От грызущего душу стыда;  
Чтоб расплавленной лавой Везувия  
Память сердца не сжёг без следа;  
И тогда – в передрягах непрошенных,  
В лабиринтах гудящих дорог,  
Я душой обниму тебя, Боже мой, –  
Что хранил ты меня – и сберёт!

\*\*\*

*Кириллу Ковальджи*

Собираю Бога из богатств,  
Кладезей души, безумств дороги;  
Не боясь невольных святотатств,  
Прямо в сердце – собираю Бога.

Собираю Бога из потерь,  
Совпадений смыслов, слов и чисел,  
Чтоб открыть таинственную дверь,  
Где судьба свой обронила бисер.

Собираю Бога из тоски  
По чему-то высшему, чем знанье.  
Пальцам, обжигающим горшки,  
Время собирать настало камни.

Собираю Бога из любви,  
Согревая странствия свои.  
Только не спешу поверить я  
В то, что Он – мозаика моя.



\*\*\*

Как легко искушать наши души!  
Бог – внутри нас. А сердце – снаружи.

И они одинаково властны  
Над душой, одинокой и страстной.

И душа, не таясь перед роком,  
Между жизнью зависла и Богом.

Перед славой земной не робея,  
Мы запустим бумажного змея,

Чтобы в небо своё разбежаться.  
Удержаться бы там, задержаться!

И услышит имеющий уши:  
Бог – внутри нас, а сердце – снаружи.

\*\*\*

И я бы так хотел  
бесстрастным быть, как Бог,  
Мягучейся душе  
апостолом быть верным;  
С любовью принимать  
и таинства дорог,  
И сердца миражи,  
и мира злые скверны!

И я бы так хотел  
быть целостным, как дух,  
И, к радости печаль  
нисколько не ревнуя,  
С улыбкой на устах  
быть всем как верный друг,  
И с высоты глядеть  
на жизнь свою земную;

В гармонии прожить –  
не так, как на войне;  
Не тратить силы зря  
на спор и укорины.  
Не то, чтоб идеал  
был недоступен мне.  
А просто идеал –  
враждебен  
сути жизни.

\*\*\*

Страшно, коль звук не поспеет за словом!  
Страх – это мост между жизнью и Богом.

Выйдешь из дома – а смерть за порогом;  
Страх – это мост между жизнью и Богом.





Жизнь или Бог? Впрочем, это не важно –  
Ведь выбирать одинаково страшно!

Страх не успеть все сомнения выбил:  
Мост – это, в сущности, взорванный выбор!

Век в ожидании проходит за веком.  
Страшно прожить на земле человеком.

\*\*\*

Возьми меня, небо, улиткою слуха...  
Духовного хлеба отломить краюху  
И станешь молиться – душе на потребу.  
Испуганной птицей возьми меня, небо!

Пространства иные открыть нам не поздно;  
Я тайны ночные вдыхаю позвёздно.  
И в ангельском хоре забудется горе,  
Сольются в мажоре и небо, и море.

Из выси волною спускаясь по следу,  
Господь надо мною одержит победу.  
И мир мой проснётся, вернётся в движенье,  
Во благо души обратив поражение.

#### НЕЗНАКОМКА В ГОРОДЕ

*II, странной близостью закованный...  
Александр Блок*

Вышел из дому я с опаскою.  
Вижу, жизнь идёт, скрыта маскою.  
Я решил тогда ей представиться:  
– Что несёшь в себе ты, красавица?

– Несу светлое,  
несу разное –  
Несусветное,  
несуразное.  
Несу мирное,  
несу жаркое,  
Несу минное,  
несу жалкое.

И кивнул тогда этой даме я,  
И пошла она на свидание.  
Сердцем вздрагивал поминутно я:  
«Я же – твой, пойми, юдо чудное!»

Жизнь и смерть, смотрю, обнимаются.  
Только масками не меняются.  
Удивляются им учёные.  
И всё снятся мне очи чёрные.



## ХРИСТИАНСТВО

В этом снежном мареве зимы  
 Нам уже недолго ждать расплаты.  
 Жизнь есть своеволие – и мы  
 Изначально в чём-то виноваты.

Точек зренья вечная война,  
 Дерзновенье, страсть, полёт Икара.  
 Мы живём – не в этом ли вина?  
 Мы умрём – и в этом наша кара.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

*А из каких начал вещам рождение,  
 в те же самые и гибель совершается  
 по роковой задолженности.*

*Анаксимандр*

Я прожил век – и мне негоже  
 Роптать, что скуден был удел:  
 Всем, всем, что золота дороже,  
 Я безнаказанно владел.

На сломе загнанной державы,  
 Ущербной, как рожок луны,  
 Владел я призрачною славой  
 Певца бесславной той войны.

И жаждой мудрости увенчан,  
 И нервом нежности томим,  
 Любил я самых славных женщин –  
 И нежным полом был любим.

Но знаю я: владенья бренны –  
 И, может быть, в ином краю  
 Придётся звёздами Вселенной  
 Платить за преданность свою.

Ты мне явился в снах, Всевышний,  
 И, верен слову и судьбе,  
 Я, овладевший тайной жизни,  
 Готов отдать её Тебе.

# НИКА БАТХЕН

---

## СТЕНА ЩИТОВ

### ДОБРОЙ ДОРОГИ

Опустились щиты, на обрывках знамён дождь перстами рисует полоски.  
Крепостные мосты, короли без имён, большаки и пустые повозки.  
На пиру ни пера, ни ронделя, ни лэ, ни скрипучего плача ребёнка,  
Лето было вчера, а сегодня пора собирать вещмешки для побега.  
Помолчим, монсеньор, на белёсой заре навсегда распрощаемся с замком.  
Раздадим что кому, леденцы детворе, серебро и посуду служанкам.  
Пару быстрых коней – молодым удальцам, пусть охотятся в чаще Арденна.  
Сокол сел на плечо, дождь стекает с лица, на предплечьях вздуваются вены.  
Меч останется здесь, в мокрых плитах двора, кто достанет, тот будет Артуром.  
Отгубили турнир, отыгралась игра, алый плащ стал тяжёлым и бурым.  
Я на верную смерть не сержусь, монсеньор. Там на небе готовятся к бою.  
Собирают концерт, обещают костёр, мир без слёз, поражений и боли...  
Врут, мой друг – если бьёшь, проливается кровь, если веришь, идёшь до победы.  
Семь несбывшихся снов, семь голодных коров, семь страниц ненаписанной Эдды.  
За накрытым столом разливает вино рыцарь – он пошутил неудачно.  
Догорел Монсальват, опустел Эльсинор, холодны подмосковные дачи.  
Только клён поднимает весёлый флажок, и мальчишка с лонгсвордом из лыжи,  
Громко крикнув «дракон», совершает прыжок... Ланселот улыбается – выше!

### БАЛЛАДА АВГУСТЫ

Разом густо, цветасто и грустно.  
Стая уток, табун кобылиц.  
Мёд и яблоки рыжей Августы  
Басилиссы пещерных столиц.  
В ожерелье из ягод кизила  
Как она хороша по утрам!  
Подметает мосты и могилы.  
Носит розы в заброшенный храм.  
Ей покорны ежи и косули,  
Шустрый чибис, нарядный угод.  
Не берут ни молитвы, ни пули  
Басилиссу последних высот.  
Месяц царствия короток, право –  
Смежишь веки как будто не жил.  
Сладкий запах и горькие травы,  
Базилик, виноград и инжир.  
Вместо башен – курганы и лисы.  
Вместо царства – боспорский музей.  
И танцует в полях басалисса  
Для пернатых и диких друзей.



Скоро лужи замерзнут до хруста,  
Синь небес обратится в лазурь  
И уйдёт, не прощаясь, Августа,  
Как уходят фантомы в грозу.

### ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Первый закон легиона, литер литая латынь.  
Если враги непреклонны – крепче сдвигаем щиты.  
Только единая сила, только единая статья.  
Галлия бунтом грозила, скифы решили восстать?  
Будут, как водится, биты. Выйдем с врагами на ты.  
Слушаем трубы, квириды! Крепче сдвигаем щиты.  
Африка или Эллада, красный истоптанный Марс,  
В рамках любого расклада не обойдутся без нас.  
Стоят нешуточной драки цирки, таверны, мосты.  
Держимся ближе, собаки! Крепче сдвигаем щиты.  
Выпьём из Леты и Роны, вымоем ноги в раю,  
Вспомним слова Цицерона... Эй, разговоры в строю!  
С гор опустились туманы, в белых нарядах кусты.  
Мы же с тобой ветераны! Крепче сдвигаем щиты.  
Хрипло хихикает Хронос, чинят таджики балкон,  
В «Билле» неслыханный бонус, в Думе бездумный закон.  
Третьему Риму не спится, бьёт лихорадка и спалин,  
Спрятаны честные лица за бастионами спин,  
Продано, куплено, снято, драчка в планшете – ату!  
Давят на кнопки солдаты, окна глядят в пустоту.  
Мы же дожили до майских, мы же храбры и круты,  
Мы же с тобой... Поднимайся! Крепче сдвигаем щиты.

### БАЛЛАДА ФРЕНК-МЕЗЕР<sup>1</sup>

Был ветер тих и профиль склона сер,  
Следы косуль терялись в горной чаше.  
...Он похоронен был на Френк-Мезер –  
С доспехами, мечом и гнутой чашей.  
Потерянный потомок королей,  
Швырнувших в небо флаг Триполитанский,  
Барон руин, бастард Па-де-Кале,  
Безудержный в бою, любви и танце.  
Он дрался за героев и князей,  
Рубил врагов, не разбирая веры,  
Бродил по лугу – волосы в росе,  
Блевал с бортов ограбленной галеры.  
Он помнил Константина – вот глупец,  
Отбросил плащ и бросился в атаку.  
Пинали турки сброшенный венец,  
Царя похоронили как собаку.  
Он помнил, как горел собор. Монах  
Всё рвался в пламя: книги! Книги! Книги!  
Он помнил труп, застрявший в стремях,  
И шёлк оттенка зреющей клубники.  
Он помнил чёрнопарусный дромон,  
Прорвавший семь кругов ночного ада,  
Пустые окна брошенных домов,  
Чужую землю – скудную награду.



Он жил в лесу с волками заодно,  
 Палил костры у стен ничейной башни,  
 Смотрел в пустое небо, пил вино,  
 Возникшее на дне помятой чаши.  
 Учил детей латыни и письму,  
 Чертил им путь от Аккры до Эдессы,  
 Клал виноград, оливки и хурму  
 К босым ногам таврической принцессы.  
 Когда пришли ордынцы, он возник,  
 Один с мечом – соседи скрылись в чаще –  
 И принял бой, отчаянный старик,  
 И пал в бою. Кто ищет, тот обрящет.  
 Щебечет дрозд, колосья режет серп,  
 Гарцует рыжий конь, белеет парус...  
 Он похоронен был на Френк-Мезер,  
 А имени на свете не осталось.

<sup>1</sup> Френк-Мезер – гора «Могила чужеземца» в Крыму.

### БАЛЛАДА МИНУВШИХ ДНЕЙ

Собирали чудеса – чёрный ящик, нежный локон,  
 Глупый лай смешного пса, звон струны, успевшей лопнуть.  
 Путь по крыше, по хребту, лето, ноты Меганома,  
 Паспорта для Паспарту, бесполезный ключ от дома.  
 Кони мчатся по степям, лошадям нужны возницы.  
 Запирать ли от себя сказок мятые страницы?  
 Позабыть ли Валинор, Камелот, плащи и латы?  
 Хлещет сладкое вино божья помятый и патлатый.  
 Сломан меч – ты был неправ, Эвридика обернулась.  
 Неделанный рукав, недопрожитая юность.  
 Если верить – вот те храм, если жить, то спозаранку,  
 Прижимать к сухим губам записную иностранку.  
 Спать под звёздами, пока в голове не прояснится,  
 Выходить за дурака из автобуса в столице,  
 Возвращаться в Коктебель, танцевать босым и нежным,  
 Наконец-то сесть на мель. Мир уже не будет прежним.  
 Наших дней дела давно миновали неуклонно...  
 Совы сели на окно – вам письмо из Авалона.  
 Собирайтесь, капитан, жгите лыжи, бросьте сани –  
 Где катана? Где кафтан? Нам пора за чудесами!

### ПОСЛЕДНЯЯ БАЛЛАДА РАЙМУНДА ДЕ ПУАТЬЕ

Вольному соколу время высокое,  
 Бархат и золото, ах, Антиохия,  
 Лепет армянки, бонжур и шалом,  
 Небо накрыло крылом.

Ищешь лаванды, прохлады, источника,  
 Бродишь в пустыне путями неточными,  
 Скверно ли брату сестру целовать,  
 Помнить, по имени звать?

Лягут барханы заморскими турами,  
 Стаи скворцов запоют трубадурами,  
 Тайный колодец подарит воды,  
 Ласково встретят сады.



...Конь сарацинский горячего норова,  
Алое платье Алиенорово.  
Пыль Палестины покроет доспех,  
Счастья не хватит на всех.

Донна, простите, моё одиночество  
Выткано ветром, и верить не хочется  
Что до заката погибну в бою,  
Только сначала спою.

Где Пуатье, апельсины и яблоки,  
Майские росы, весёлые зяблики?  
Солнечный локон, перчатка в руке.  
Лебедь плывёт по реке...

### АНГЕЛ И ЖАННА

Старая Жанна танцует буре  
Подле пруда, босиком, на заре  
Муж ей на скрипке играет – ай-эй,  
Прыгай задорней, кружись веселей!

Пять сыновей, что каштаны стройны,  
В поле, на речке, в хлеву рождены.  
Старший у Джона, хороший солдат,  
Средний суконщик, красив и богат.

Младший английский не хочет долбить,  
Всё обещает врагов порубить...  
– Поздно, сынок – красный лев на земле,  
От Орлеана до Па-де-Кале.

Лилии вянут в садах у господ,  
Море распалось на слёзы и пот.  
Принца-бастарда казнили в Анжу.  
Больше тебе ничего не скажу.

Полон наш дом, виноградник в цвету,  
Псы и старухи не чувят беду.  
Всё хорошо, всё прекрасно, пойми  
В нашем спокойном, родном Домреми.

...Ангел приходит в канун Рождества,  
Словно жонглёр в одеянье волхва,  
В сумке колбаски, паштет и пирог.  
Вытащил, спас, сохранил, уберёт.

Нечего деве доспехи носить,  
Нечего бога о битве просить.  
Были виденья, а стала семья,  
Нитка на прялке и запах жилья.

Сыты крестьяне, тучнеют стада,  
Чистая в речке струится вода.  
В праздник несёт леденцы детворе  
Добрый католик сеньор Жиль де Ре.



---

Ангела Жанна простила давно –  
Режет пирог, разливает вино,  
Дочку зовёт – у камина в чулке  
Серьги в подарок, родная, okay?

Дочка, Жанетта, в часовне одна,  
Тише мышонка, белей полотна.  
Меч Каролингов берёт с алтаря.  
Знамя. Коня! Отряд!!!

# ЛАДА МИЛЛЕР

---

## ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО

\*\*\*

Закат покажется – лови.  
Пускай настоян на крови,  
Но эти шуточки и штучки!  
Всё – относительно. Пока  
Мы вместе – ходят облака  
По небу. Парами. За ручки.

Река зачитана до дыр.  
Ещё двояковыгнут мир,  
Но в синеву макает почки  
Моя акация. Она  
Полна зелёного вина  
До птичьей маковки.  
До точки.

Раздет до пауз разговор.  
Теплеют улица и взор,  
А там, где стыло пепелище –  
Восходит лунная трава.  
Весна, конечно, не права,  
Но разве правых кто-то ищет?

Как много музыки в словах.  
Ночь начинается на «Ах»,  
Чтобы закончиться на «Где ты?».  
Я расскажу тебе секрет:  
Любая ночь летит на свет,  
Но слишком мало в мире света.

А потому – лови, лови!  
Любая ночь летит на вие:  
И пусть разлука в изголовье  
Прядет невидимую нить,  
Всё, что помиловать – казнить –  
Надеждой. Верю. Любовью.

Вся правда – в шорохе ветвей:  
Здесь каждый тёмен и ничей,  
Но не лови меня на слове.  
Среди листвы, среди огня –  
Ты – относителен меня.  
Я – относительно любви.





\*\*\*

Когда слова теряют звук,  
Как небо кисточки и краски,  
Ты понимаешь – у разлук  
Свои, особенные ласки.

Скрипит простуженная дверь,  
Окно застёгнуто неплотно.  
Я б улетела. Но теперь  
Волшебники неперелётны.

Пусть непростые времена,  
И удивительное – вышло  
В расход.  
Но дудочка одна  
Ещё топорщится и дышит –

На руки песенку берёт,  
Словам присваивает звуки.  
И крыша задом наперёд  
Летит в надежду из разлуки.

\*\*\*

Дойти до правильного звука,  
Туда, где сосны, только б выше,  
Чем эта стылая разлука,  
Чем эта тающая крыша.

Где бессловесные причины  
Бескомпромиссно обоюдны,  
Где горбят плюшевые спины  
Гористо-хвойные верблюды.

Где небо самой высшей пробы  
Роняет ёлочную хрупкость,  
Где ходят парами сугробы  
И солнце смотрит через лупу

На нас – отважных и беспечных,  
Совпавших алым и нестылым.  
Где всё, что было, было, было –  
Всего лишь будущая встреча.

\*\*\*

Там – паводок.  
Здесь – воздух тяжелее  
Насупленных платановых бровей.  
Ты говоришь: – Смелее. Не робей.  
И я с тобой нисколько не робею.

Наоборот.  
За поворотом – ад.  
Мы говорим с тобою невпопад,  
Но совпадаем музыками. Ишь ты.



Единственное счастье – не спешить.  
Затачивает март карандаши,  
Лепечут в почках будущие вишни,

Сквозь сердце пробивается трава.  
Иду по льду. Проваливаюсь. Гаю.  
Ты хмуришься:– Шагала бы по краю.  
Шагал приносит краски и слова.

Жизнь состоит из пауз и морфем.  
Пусть этот воздух выстиран и нем,  
Но слава богу – выпущены птицы,  
Натянута невидимая нить.  
В который раз попробуй разбудить,  
В который раз попробую присниться,

Приклеиться, прижаться насовсем.  
Или хотя бы выдохнуть:  
– Je t'aime.

\*\*\*

Если бы у рыбы были ноги,  
Она бы побежала по дну,  
Едва увидев тень рыбака на берегу.

Если бы у рыбы были руки,  
Она бы дотянулась до крючка  
И вытащила его из груди.

Если бы у рыбы была кожа,  
Она бы завернулась в серебряную чешую  
И не позволила себя трогать.

Но вот какая незадача –

Стоит натянуть чешую на голое тело,  
Тут же пропадают и руки, и ноги,  
И уже не вырваться,  
Не убежать с крючком в сердце.

Только и осталось, что бить плавниками по клавиатуре:  
– Где вы, русские буквы?

\*\*\*

Бегония, петунья, герань.  
Дотронуться б.  
Вставить в такую рань,  
Натягивать шагреневую кожу  
Я потому без усталости могу,  
Что вспоминаю утром на бегу –  
И мы цвели. И мы теряли тоже  
Напоенные негой лепестки.  
Июль встаёт на самые носки,  
Но дотянуть до августа не может.



Вот так и я. Тянусь к тебе, тянусь,  
Протягиваю сердце на ладони.  
И расцветает аленькая грусть  
В саду неунывающих бегоний.

\*\*\*

И как в письме без прилагательных?  
Пишу – «далёкий», «дорогой».  
В лесу постукивает дятел и  
Щегол щебечет заводной.

Булавкой зноя протаранена  
И опарашена весьма,  
Слетает бабочка карманная  
С вечнозелёного письма.

Игла сосновая подстрочная  
Сшивает мысли и слова,  
И спеют железы молочные,  
И облетает голова.

Светляк в фуражке и под градусом  
Несёт фонарик в тыщу ватт.  
А если вовремя не спрятался,  
Так это август виноват.

Гремят на стыках «лю» и «надо же»,  
В малине зреет первый гром.  
На небе вспыхивает радужка,  
Как будто ножик под ребром.

Звенит кувшинка в подстаканнике,  
Луна закатывает глаз,  
И мы с тобою. На завалинке.  
Ах нет. Завалинка без нас.

\*\*\*

Пока без шума и без толка  
Листва колышется на ветках,  
Охотник плянется на волка,  
Ему и весело, и метко.

А волку, вот какая жалость,  
Должно быть вовсе не до смеха,  
Чтобы охотнику досталось  
Немного глаз и горстка меха.

Дрожит поджилками осина  
Внутри у волка зло и ало,  
Такой красивой умной псины  
Давно осина не видала.



Осина шепчет *помогите*,  
Кричать в три горла вроде глупо,  
К тому же надо есть и пить, и –  
Она захлопывает дупла.

Охотник целится не глядя,  
Внутри него темно и сыто.  
Такой неслабый храбрый дядя,  
Когда с ружьём – тогда не ссыт он.

У волка есть жена и дети,  
Он шепчет пуле – ах ты падла.  
Осина ищет Бога – где ты?  
Потом вздыхает – ну и ладно.

Светает нехотя и вяло,  
На небе выстрелы отметин.  
Но погляди – взметнулся алый –  
Осина вспыхнула и светит.

\*\*\*

Дождь выходит за дверь, у дождя ни плаща, ни берета,  
В мире кончился свет, впрочем, нашим глазам не до света.  
Под ногами листва говорит на простом и нездешнем.  
Наверху голоса. Это птицы снимают скворечни.

Расскажи, где ты был. Беспокойная выдалась ночка.  
Столько лет не писал, а теперь – журавлиная строчка.  
Не промок, не продрог, отчего же так близко и жарко?  
И зачем этот пёс? Хорошо, я впущу, мне не жалко.

И зачем этот дождь, если неба за тучами мало?  
Сколько было тебя, всё равно никогда не хватало.  
И неважно где был, если, господи, как ты мне нужен.  
Дождь выходит за дверь. Коньяком наполняются лужи.

\*\*\*

Мои друзья – деревья и цветы.  
Всё то, что ты. Не спрашивай – не вру ли.  
Ты помнишь дуб протягивал листы,  
И желуди раскачивали пули,  
Качался дым в сиреневой дали,  
А голуби командовали – пли.

Ты помнишь парк, распахнутый как дом,  
Стеклянный пруд и облако на блюде,  
Там ангелы за праздничным столом  
Рассказывали бабочкам о людях,  
О том, что с нами будет после сме...  
Но мне о том рассказывать не смей.



Там тополя шагали кто куда,  
А яблоки нашептывали «съешь нас»,  
И время утекало как вода,  
Как будто за водой приходит нежность.  
Казалось жизнь – многосерийный сон,  
А горе просто выбежало вон.

С тех пор мои деревья и цветы –  
Всё то, что ты. Усаживайся, слушай,  
Я расскажу, как свет из пустоты  
Заходит в нас и вкладывает душу.

# ЕЛИЗАВЕТА РАДВАНСКАЯ

---

## СВЕТ ЗМЕЕНОСЦА

\*\*\*

Взлетает к небу лестница –  
Горы седая бровь.  
У города две крестницы –  
Свобода и любовь.

Весенним равноденствием  
Когда-то рождена,  
Глядит мне в окна женственно  
Тревожная луна.

А завтра всё изменится.  
А завтра я – не я.  
Печаль – апреля пленницу –  
Другие сны пленят.

Забудется, что сказано,  
Не сказанное же  
Теперь ожить обязано  
Хоть в чьей-нибудь душе,

Освобожденным шёпотом  
По улицам пройти,  
Развилку с двумя тропами  
Найди в конце пути.

Взлетает к небу лестница –  
Горы седая бровь.  
У города две крестницы –  
Свобода и любовь...

\*\*\*

В том году роковом  
Море было настолько красиво,  
Что в словах не заметил ни яда, ни горькой тоски.  
В том году роковом  
Я остаться тебя попросила –  
В ту минуту мы с необратимостью стали близки.  
Сквозь туманы брели,  
Камыши раздвигая руками,  
Шли по мокрым камням  
И держались едва на ногах,  
Но, когда выбирали мы между двумя берегами,  
То ступили на сумрачный, преодолевая свой страх.



В том году роковым  
 Слишком ярко светил Змееносец,  
 Но его покровительство нас воскресить не смогло,  
 Когда чёрной обидой влетела безликая осень –  
 И осыпались души на землю разбитым стеклом.  
 В том году роковым  
 Смогло время, судьба покачнулась,  
 И застыли слова, на губах оставляя вопрос:  
 Ты живой или мёртвой воды второпях зачерпнула,  
 Если ветер спустя столько лет счёт за это принёс?..

## ИВА

Когда погаснет фонарь последний,  
 И станет город похож на призрак,  
 Где каждый дворик и дом – столетний,  
 Где вместо празднеств справляют тризны,  
 Когда умолкнут чужие песни,  
 И снег растает ещё в полёте,  
 И стены улиц охватит плесень,  
 И солнце будет уже не в моде,  
 Когда разделят на «до» и «после»  
 Всех нас, наивных, уставших, нежных,  
 И будет поздно, безумно поздно  
 Любить!  
 И будет зима бесснежной,  
 Мы станем взрослыми и – другими,  
 С жестоким нравом и грубой кожей,  
 И что-то главное в сердце спинет,  
 И частью мрака мы станем тоже.  
 Но я приду посмотреть на звёзды,  
 Туда, ты помнишь, где плачет ива...  
 ...Скажи, а разве бывает поздно,  
 Пока мы живы?..

## СОН

У берегов большой реки,  
 Где сны сбываются и гаснут,  
 И время – жизни вопреки –  
 Остановилось безотказно,

Чтобы успели изучить  
 Друг друга линии ладони,  
 Пока рассветные лучи  
 Ночную нежность не прогонят,

Где город нас благословил –  
 Людями навеки осуждённых, –  
 И свет, что еле уловим,  
 (От фонарей, вдали зажжённых),

Рисует с чистого листа  
 Судьбу, которая случится...  
 Я верю, мы остались там,  
 И эта жизнь нам только снится.



## «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»

Под ворохом быта  
 Уснули поэты,  
 А все корабли развернулись на юг;  
 Остался мне голос холодного ветра,  
 Осталась фантомная горечь разлук.  
 Теперь – вспоминать не случившийся с нами,  
 Не прожитый нами, но истинный день,  
 Когда мы исчезли, став яркими снами,  
 А мир превратился в огромную тень.  
 «Летучим голландцем» несётся былое  
 Сквозь жизненный быт к островам-миражам,  
 Где всем расставаниям дочь Алкиноя  
 У моря построила призрачный храм.  
 Но мы за бортом эфемерного судна,  
 Лишь издали смотрим в ночной тишине,  
 Как прочь уплывает «голландец» безлюдный –  
 В минувшую небыль – к тебе и ко мне.

\*\*\*

Когда выпадают волны дней  
 Непрожитых – в седое море,  
 И неопознанное горе  
 В висках трепещет всё сильнее,  
 Несуществующей весны  
 Гроза – гремит из ниоткуда,  
 А неслучившееся чудо  
 В чужие превратилось сны;  
 Читай по знакам на воде,  
 Что для одиножды рождённых –  
 Фантомы дел незавершённых  
 Важнее завершённых дел.

\*\*\*

Всё больше фонарей, а ночи все длиннее.  
 Другие говорят: зимой не видно звёзд,  
 Но чем темнее мгла, тем явственней над него –  
 В созвездии Тельца – Плеяд прозрачных гроздь.

И знаю, отчего – ищу их: сквозь туманы,  
 Сквозь тучи, когда мрак – почти неумолим:  
 Не потому, что я – не вижу их изъянов,  
 А потому, что им – неведомы мои.

Свободна от себя, у старого причала  
 Смотрю – всё ближе звёзд прозрачная лоза...  
 Покажется: могу – всю жизнь начать сначала!  
 ...И страшно вздрогнет ночь – незыблемым «нелъзя».





\*\*\*

Она снилась ему – вся в белом,  
И стояла у кромки моря,  
В бирюзовом аду заката.

Она снилась ему в субботу,  
А во вторник случилось горе.  
Под ногами шуршал репейник,

Уходила тропинка в небо,  
Тишина отдавала болью,  
Заалели большие листья.

Где-то рядом играли свадьбу –  
Утопическое застолье,  
Словно лондонский пир, запело.

И откликнулся эхом город,  
Изменились слова и роли,  
Улыбался садовник Мюллер.

Напоследок – той летней ночью,  
Пока билось о камни море,  
Она снилась ему вся в белом...

#### КУВШИНКА

Солнца красная монета:  
Завтра будет ветер.  
Напророчили приметы:  
Мне тебя не встретить.

Пошатнулся мостик старый,  
Всполошились птицы.  
Сердца гулкие удары  
Отбивают тридцать.

Ниже небо, выше город,  
И бессонней – ночи.  
Неспроста, наверно, холод  
Был нам напророчен.

Износился старый мостик,  
Где вдвоём стояли.  
Ни обиды нет, ни злости,  
Просто – опоздали.

Над водой сгустилась дымка,  
Шелестит осока...

...Белоснежная кувшинка  
Светит одиноко.



\*\*\*

Неба ширь –  
 В квадрат окна.  
 В точку белую –  
 Луна.  
 Руку тёплую –  
 В карман.  
 Колыбельные –  
 В обман.  
 Сказки нет – уснул дракон.  
 ...Всё поставлено на кон:  
 Время, хоть не подведи,  
 Вспясть по городу иди!  
 Чтобы звёздам – падать вверх,  
 Чтобы – спинул смертный грех,  
 Чтобы – хвоя, ночь, река,  
 И печаль моя – легка.  
 ...Чья вина – не знать бы нам,  
 Но с ней каждый – сам на сам,  
 Стала тоньше неба ширь,  
 Стала шире боль души.  
 В грусть немую – тишина.  
 В точку тусклую – луна.  
 ...И, воюя с темнотой,  
 Входит месяц молодой...

\*\*\*

У памяти голоса нет.  
 Глаза и холодные руки.  
 До точки сжимается свет,  
 Блуждая в тумане и выюге.

И если ему закричать,  
 Не вздрогнет далёкое эхо.  
 Поставило время печать  
 Проклятием и оберегом.

Во сне только голоса нет,  
 А пахнет вареньем и хлебом,  
 И ярк до одури цвет  
 Высокого, чистого неба.

Так радостно... если б не знать,  
 Что тело их – льда холоднее.  
 Они воскресают во снах  
 Родившихся много позднее.

Молчание слушать учись,  
 В нём – то, что единственно верно.  
 И сам, если можешь, молчи,  
 Не делая вечное – тленным.

# ИГОРЬ ПОТОЦКИЙ

## НЕ ТОЛЬКО О ГАРИКЕ рассказы

### МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я родился в Одессе в ноябре 1950 года, во вторник, в роддоме на Комсомольской. Мне было семь месяцев, когда я появился на белый свет. Из роддома меня увезли мама Рая, папа Иосиф, дедушка Борис, бабушка Циля и тётя Лида. Несла меня бабушка Циля и говорила:

– У нас появился в семье семимесячный вундеркинд.

Мама Рая и отец Иосиф замыкали шествие. Улица Комсомольская была продута осенними ветрами, но я пока этого не ощущал. Я, семимесячный, пытался что-то сказать, но голос меня не слушался.

– Дай мне нашего вундеркинда, – попросил у жены дедушка Борис. – Верни мне спокойствие.

– Я его не уроню, – пообещала бабушка Циля и не отдала меня дедушке Борису, тёте Лиде, отцу Иосифу и маме Рае.

– Он такой лёгкий, – сказала моему отцу Иосифу.

Так мы все вошли в наш двор на Хворостина, парами: я и бабушка Циля, дедушка Борис и тётя Лида, мама Рая и папа Иосиф. У меня было хорошее настроение. И моё настроение передалось всему семейству. Меня положили в детскую кроватку. Маму Раю ещё раз все поздравили. И пошли на кухню дедушка Борис, папа Иосиф, тётя Лида, бабушка Циля и мама Рая. И все дружно выпили вишнёвку в честь моего рождения.

– Рая, – сказала бабушка Циля, – я тебе благодарна за внука.

– И я, – сказал дедушка Борис.

– Я присоединяюсь к папе и маме, – сказала тётя Лида. А папа просто поцеловал маму Раю. Обычно при свидетелях он этого не делал.

Я спал в своей детской кроватке. И мне ничего не снилось. На моём семимесячном лице было море спокойствия. Если бы я что-то понимал, я бы радовался, что выброшен в море жизни. Мамой и папой. Но я был пока что просто маленьким живым комочком. Комочком, родившемся в необыкновенном городе Одессе. Городе томных поэтов, яростных контрабандистов, потомков вольных черноморских казаков и греческих графинь, и еврейских разгильдяев. Все они жили на Молдаванке, на моей улице Хворостина.

Дедушка Борис и папа Иосиф вышли на балкон. Женщины сутились на кухне, готовя праздничный стол. Командовала бабушка Циля.

– Вот ты и стал отцом, – сказал дедушка Борис. – Тебе двадцать девять лет, в самый раз.

– Всё хорошо, что хорошо, – сказал отец Иосиф.

– Всё хорошо, что хорошо, – повторила за ним бабушка Циля. Мама Рая сказала:

– Когда-нибудь я расскажу Гарику об этом дне со всеми подробностями. Наверное, ему будет интересно.

– Люблю хорошие дни, – сказала тётя Лида. – Люблю Одессу, Молдаванку, улицу Хворостина, свою дочь Беллу и семимесячного Гарика. Как хорошо, когда на душе спокойно.

Дедушка Борис стоял на балконе и смотрел вниз на прохожих. Ему хотелось крикнуть: «Остановитесь! Порадуйтесь тому, что у меня родился внук Гарик. В мире стало на одного еврея больше. Это важно, потому что во время войны фашисты уничтожили шесть миллионов евреев!». Но он сдержался.

– Не всегда нужно озвучивать свои мысли, – сказал он моему отцу Иосифу. – Жаль, что мои родители – Рахиль и Исаак – не увидели своего внука.

Родители отца погибли в гетто. Дедушка Борис сказал:

– Именно из сквера Хворостина фашисты в 1941 году уводили евреев на убой. Мы тогда были в эвакуации в Ташкенте. Я закрываю глаза и вижу эти колонны обречённых. Из фонтана бьёт поток человеческой крови. Мне становится страшно.

– И мне, – сказал мой отец Иосиф. Война ушла из Одессы в 1944 году, но окончилась год спустя. Целый год в Одессу приходили похоронки.

– Да здравствует новая жизнь! – сказала бабушка Циля.

Спорить я тогда ещё не умел.



## В ДЕТСТВЕ

В детстве Гарику казалось, что вся Одесса, как тысяча балерин, кружится вокруг Молдаванки, а вся Молдаванка кружится вокруг его бабушки Циля.

Бабушка Циля иногда казалась мальчику волшебницей. Она внезапно появлялась и столь же быстро исчезала, а все школьные приятели часто говорили: «Гарька, здесь несколько минут назад была твоя бабушка».

Когда она радовалась, глаза её светились, как лампочки сигнального фонарика, а когда печалилась, во дворе начинали исполнять грустные песни дворовые коты и кошечки. Они составляли хор, и хормейстером у них был кот Мурза, важный и непредсказуемый.

Бабушка Циля легко находила общий язык с самыми разными людьми.

– Как это у тебя получается? – спросил Гарик.

– Так и получается, – ответила она.

– Не хочешь поделиться своей тайной, – обиделся Гарик.

– А её и нет. Просто я люблю всех людей, живущих в Одессе.

– Даже злых и нехороших?

– И их люблю.

Тут Гарик обрадовался, потому что иногда был злым и нехорошим. И обижал всех, при этом и обижался на всех, будто не он, а они его обидели. Он в такие минуты-часы уходил к фонтану, который был в сквере напротив их дома. Фонтан брызгал струёй воды и ему не было никакого дела до Гарика и его проблем.

Оказывается, что бабушка любила своего внука тогда, когда он был холериком или флегматиком. Или даже меланхоликом.

Бабушка Циля научила Гарика любить Одессу и одесситов.

– Они лёгкие, – сказала бабушка, – и все свои ошибки исправляют на ходу.

– А что с ними потом происходит?

– Они делают новые ошибки.

В десять лет Гарику захотелось стать геологом или учёным-полярником.

– Надо научиться делать выбор, – сказала бабушка Циля. Это не так просто, как ты думаешь.

И Гарику почему-то стало грустно, что он не смог в очередной раз сделать выбор между медовыми пряниками и мороженым эскимо. Правда, у него не было денег, а десятилетнему мальчику было неудобно кланчить деньги у бабушки.

Он ей сказал:

– Мне что-то расхотелось есть пряники и мороженое, – и бабушка дала ему пряник.

– Откуда он у тебя, бабушка Циля?

– От верблюда, – улыбнувшись, призналась бабушка. – Случайно остался от нашей субботней прогулки.

Гарик сразу съел пряник. И на всякий случай поинтересовался:

– А второй нигде не завалился?

## ПОЛЁТЫ НАД ОДЕССОЙ БАБУШКИ ЦИЛИ

В апреле 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос. Что он там забыл, Гарику до сих пор неизвестно. Наверное, это до сих пор составляет государственную тайну.

Гарику наверняка тоже хотелось побывать в космосе. Но у него знакомых космонавтов не было. К тому же все космонавты жили в Подмосковье и в Одессе не было ни одного. Вернее, был один генерал-космонавт Моисей Рабинович, утверждавший, что его должны послать в космос, а не Гагарина, но в последний момент кто-то из важных людей передумал и отозвал свою подпись. А генерал-космонавт обиделся и вернулся в Одессу.

Рабинович жил на Мясоедовской и вся улица посмеивалась втихомолку над ним. Он уже был скрипачом-полковником и штангистом-десантником. Фантазии Рабиновича, впрочем, никому не приносили вреда.

Все в нашей семье обрадовались полёту Гагарина. Только бабушка Циля замкнулась в себе. Она вечером два часа бродила по скверу Хворостина. Иногда она подпрыгивала, но никто этого не видел.

– Гарик, – сказала она, – сегодня я полетаю над Одессой, но никому об этом не рассказывай.

– Вот ещё! – сказал Гарик. – И не собираюсь. Только ты должна оставить своего двойника.

Через десять минут она призналась:

– Гарик, я – двойник твоей бабушки Циля. Она летает сейчас над Дерibasовской. Могу нарисовать её точный маршрут.

С двойником бабушки Циля мне было легко. Мы улыбались друг другу. А потом я пошёл искать по Молдаванке своего собственного двойника. И мне два раза показалась, что в небе я увидел летящую



бабушку Цилю. И она улыбнулась мне, а я ей не успел послать свою ответную улыбку. А рядом с моей бабушкой Цилей летел Юрий Гагарин в своём парадном мундире и скафандре. И кричал мне:

– Гарик, я люблю твою Молдаванку!  
А кто её не любит!

### МЫ С БАБУШКОЙ ЦИЛЕЙ ИДЁМ В ГОСТИ

В семь лет я любил ходить в гости к родственникам и друзьям. Друзей у меня было мало – Вова Снегирёв, Дима Гузман и Люся Охрименко. К Вове, Диме и Люсе мне было ходить неинтересно – я их квартиры знал лучше своей собственной. К тому же они жили в моём доме – в двух соседних подъездах.

Бабушка Циля посмеивалась надо мной:

– Ты, Гарик, – гостеед. Любишь открывать для себя новые пространства.

Я говорил:

– А вот и нет. Новые люди интересней домов и квартир.

Так говорил мой отец Иосиф, а я просто позаимствовал у него эту фразу.

Бабушка целый месяц обещала повести меня к своему другу – Роальду Зингеру.

– Роальд, – утверждала она, – произведёт на тебя впечатление. Иногда мне кажется, что он – еврейский граф. Кажется, в истории были еврейские графы и даже фельдмаршалы и императрицы. К примеру, Катерина, жена Петра Первого.

– Бабушка, – напомнил я, – ты обещала меня познакомить со своим другом. – Я готов.

– Ты хорошо подготовился? – интересовалась бабушка Циля. – Мне за тебя краснеть не придётся?

– Не придётся, – обещал я. – Я буду вести себя прилично.

– Обещаешь?

Я клялся Молдаванкой, что смогу выдержать испытание.

– А ты, бабушка, сможешь?

– Мне легче, – говорила бабушка. – Роальд с детства знает все мои недостатки и прощает мне их.

– Хорошо, что он не знает моих недостатков. Впрочем, и мои достоинства ему неизвестны.

И вот наконец-то бабушка решилась на встречу с Роальдом.

Жил он на Большой Арнаутской. Мы пошли пешком.

Роальд ждал нас возле своего дома. Он поцеловал бабушке руку. Она ему сказала:

– Не делай глупости. Нам с тобою не по семнадцать лет.

– Время иногда возвращается вспять.

– Тебе это подсказали часовые стрелки? – язвительно спросила бабушка Циля.

– Именно они, – ответил Роальд.

Он напоил нас чаем с вкусными шоколадными конфетами. Я съел две. Бабушка одну. Роальд к ним не притронулся. Их оставалось семь, и он их наверняка оставил для бабушки, а бабушка – для него и меня.

– Вкусные конфеты, – сказал я. – Жаль, что мне нельзя есть больше двух. Врач не разрешает.

– А ты один раз его послушайся, – предложил Роальд.

– Не могу, – сказал я. – Врач – академик, орденносец, фронтовик.

– И я был фронтовиком, – сказал бабушкин друг. – Сапёром. В 44-ом разминировал наш Оперный театр. И теперь могу бесплатно ходить на спектакли.

– А меня можешь с собой взять? – спросила бабушка Циля. – Учти, я не навязываюсь.

И тут я их оставил. У них были свои разговоры и свои маленькие тайны. Возможно, большие. В квартире Роальда бабушкины глаза стали сверкать, как снежинки под лунным светом. Такого с ней раньше не было. И она начала громко смеяться. Раньше она смеялась совсем тихо – про себя. И дядя Роальд смеялся с нею в унисон.

Я сидел в коридоре и ждал, когда бабушка вспомнит обо мне. И представлял сапёров, которые уничтожают вражеские мины. Как хорошо, что ни одна из них не взорвалась.

Потом я видел дядю Роальда ещё несколько раз. Он вспоминал, как я сидел в коридоре. Просил прощения, будто был виноват в этом.

А бабушка Циля сказала:

– Гарик, ты выдержал испытание!

Мне хотелось спросить: какое, но я не спросил.



## ДЯДЯ СЕНЯ

Первый класс я закончил в Одессе.

Я жил тогда с бабушкой Цилей, тётей Лидой, её мужем Сеней и моей двоюродной сестрой Беллой. Белка училась в третьем классе и считала себя ужасно взрослой дамой и, понятное дело, крутилась постоянно возле зеркала,

– Белка, тебе не надоело?

– Вот ещё, приставучка, – томно говорила Белка. – Не суй свой нос, куда не следует. Дай мне завершить туалет.

Она всегда опаздывала в школу, а я опаздывал из солидарности.

Когда мы шли в школу на улице Комсомольской, Белка меня поучала:

– Веди, Гарик, себя прилично.

– Постараюсь, – раздражённо буркал я, потому что уже тогда не терпел поучений.

Но сейчас я хочу рассказать о дяде Сене, потому что больше людей с таким огромным темпераментом я не встречал, будто они исчезли, как мамонты.

Дядя Сеня любил зарабатывать деньги. Он был игроком, заранее продумывающим все свои ходы; из него мог бы получиться сносный полководец, но никто ему армии не доверил. Даже дивизии, полка, батальона, роты, отделения. Вот и пришлось дяде Сене направить свою необузданную дерзость в другую сторону – стать деловаром. Деловаром он стал отменным – по высшему разряду. Если бы он дотянул до нашего времени, то наверняка открыл бы самую процветающую фирму в Одессе и без особого труда стал наиболее известным бизнесменом Южной Пальмиры, но он за свои немаленькие деньги не смог создать Машины Времени и перенестись в наше время.

Дядя Сеня, командуя совсем крошечным цехом по производству тортов и пирожных, всегда выполнял план на 120 процентов. Госплан. Свой личный план он выполнял на 240 процентов, при этом муки, сахара, яиц, масла ему всегда хватало. Все эти (выше перечисленные) продукты оставались у нас в квартире в неизменно больших количествах.

Моя бабушка Циля довольно часто говорила:

– Это добром не кончится, воровать можно, но не в таких количествах. Зачем нам столько муки и сахара, да и сливочное масло приходится выбрасывать на помойку.

Бабушка моя в юности была комсомолкой и ненавидела буржуев лютой ненавистью, а муж её старшей дочери был из их числа.

– Какой же я буржуй, – возмущался он, – ведь я член партии, а буржуев в партии не принимают.

Бабушка презрительно фыркала и уходила в свою комнату смотреть телевизор...

Дядя Сеня процветал. Он купил себе «Москвич» и гонял по Одессе. Легковушек в Одессе тогда было мало. Красивых молодых девушек и женщин дядя Сеня, проявляя сочувствие к их красоте, развозил бесплатно. Он обзавёлся первым частным гаражом на улице Хворостина. А ещё он приобрёл югославскую мебель. И лишь тогда он сшил себе парадный костюм, но одевал его только в самых исключительных случаях и побоялся взять с собой в Москву, когда поехал на очередной слёт ударников пятилетки, потому что его основным жизненным кредо было: не выделяться.

А затем я совершенно случайно подслушал разговор тёти Лиды и бабушки. «Я ему никогда не прощу, – при частых всхлипах повторяла, как попугай, тётя Лида, – что он завёл себе молоденькую любовницу».

– Ты его бросишь? – спрашивала бабушка.

– Как же мы будем жить? – вопросом на вопрос отвечала тётя Лида.

Тут я, вспомнив, что подслушивать плохо, поплёлся спать.

Утром я думал, что увижу тётю Лиду печальной и заплаканной, но она, выглядевшая довольно сносно, даже пыталась шутить. И не покрикивали на Белку за её обычное кружение перед зеркалом.

Но вот все стали завтракать.

Дядя Сеня, как обычно, куда-то торопился.

– Послушай, – сказала ему тётя Лида, – ты, кажется, всего достиг, но, к сожалению, одного не можешь... – глаза её хитро поблескивали из-под полуопущенных ресниц.

– Чего этого я не могу? – вскипел дядя Сеня. – Это при моих неограниченных возможностях.

– Он только считает, что всё-всё может, – ехидно бросила бабушка.

– Папаня на всё горазд, – вступилась за отца Белка.

– Мой муж, – величественно сказала тётя Лида, – не умеет писать пьесы, потому что бог обделил его этим талантом.

И я совсем не удивился, когда вечером дядя Сеня торжественно объявил о своём решении стать драматургом.

Всё-таки молодец моя бабушка, ведь тётя Лида сама до этого додуматься не могла.



## СОЛОМОН МОИСЕЕВИЧ

В детстве у меня был друг Соломон Моисеевич Шварцман. Когда мы с ним познакомились, ему было за семьдесят, но стариком он себя не чувствовал. По вечерам он ровно час ходил по нашему двору и разговаривал сам с собой. В нём, скорее всего, звучали два голоса – один задавал вопросы, а второй отвечал на них.

Я сидел на скамейке, делал вид, что читаю книгу и наблюдал за ним. Я не мог понять, зачем нужно ходить по нашему двору целый час? Можно бродить по Одессе, впитывая в себя её тихое величие.

О тихом величии Одессы мне первой сказала бабушка Циля.

– Гарик, тебе повезло родиться в городе с тихим величием.

Мне недавно исполнилось восемь лет и я верил всем словам, произнесённым моей мудрой и доброй бабушкой. Она единственная со всего двора умела разговаривать с дворовыми котами и кошками. Они ходили за ней стайей, а пришлые коты, подумав, присоединялись к этой стае и начинали ходить за бабушкой Цилей.

Бабушка раз в три дня ходила на привоз за мойвой. И кормила кошариков, а благородные коты приподнимали свои воображаемые шляпы, а благодарные кошки мяучили кошачьи слова благодарности.

Соломон Моисеевич продолжал ходить по нашему двору. Он был высоким и крепким. Часто отправлялся на рыбалку, но всегда один. Если у него был нормальный улов, третью часть он отдавал бабушке Циле для кошариков, но они об этом не знали и сторонились Соломона Моисеевича.

– Вот и делай после этого добрые дела, – ворчал он, поглаживая правой ладонью свою роскошную седую бороду.

Познакомила нас, понятное дело, бабушка Циля.

– У моего внука Гарика, – сказала она, – много достоинств, но один серьёзный недостаток.

– И какой же? – поинтересовался Соломон Моисеевич.

– Мой внук – неисправимый фантазёр.

– Но это разве недостаток? – Соломон Моисеевич послал мне одобрительную улыбку. Скорее всего, это – достоинство.

Фантазии роились во мне. Тогда я их не записывал. Потому что ещё не было шариковых ручек, а макать перо в чернильницу мне быстро надоедало. К тому же мне везло на кляксы. Они обязательно появлялись на страницах моих тетрадок. Мои родители и бабушка писали без клякс.

Бабушка Циля говорила мне:

– Гарька, во всем надо знать меру. Даже в кляксах.

– Я понял, – говорил я. И давал себе слово говорить только правду.

Соломон Моисеевич никогда меня не осуждал.

Он хлопал меня по плечу, как равного. Если бы он был настоящим королём, он бы наверняка возвёл меня в сан рыцаря. И дал бы какое-то сложное задание. Но на Молдаванке тогда короли и королевы не жили. Да и сейчас не живут. Только пацаны и маленькие принцессы.

– У нас с тобой, одесских евреев, – поучал меня Соломон Моисеевич, – на всё должно быть собственное мнение. И мы должны его отстаивать.

Я никогда не спрашивал у Соломона Моисеевича, кем он был до выхода на пенсию. Да это меня и не интересовало. В любом случае он был волшебником. Разговаривая с ним, моя бабушка начинала улыбаться. Дома она улыбалась редко, так что волшебные способности Соломона Моисеевича были подтверждены экспериментальным путём.

– Гарик, – наставлял он меня, – тебе в этой жизни повезло дважды. Во-первых, ты родился в Одессе, а, во-вторых, ты родился евреем. Когда-нибудь, обещаю, тебя настигнет еврейское счастье.

Я спросил у бабушки Циля, что такое еврейское счастье?

– Счастье не имеет национальности, – ответила бабушка. – Оно есть или его нет.

– А у тебя оно есть?

– Далёко не каждый день, Гарька.

– Бабушка, а я родился в Одессе?

– Да.

– А ты?

– В Балте.

Лучше бы моя бабушка родилась в Одессе, но я ей этого не сказал – вовремя прикусил свой длинный язык.

Я стал ходить вместе с Соломоном Моисеевичем по двору. Он мне рассказывал разные удивительные истории. Они происходили с ним на море и на суше. Одно время он плавал. Рядовым матросом. Мечтал доплыть до Израиля, но его туда не пустили. Так получилось.



Я не спросил у Соломона Моисеевича, почему его не пустили в Израиль? Не все вопросы следует задавать. В этом моя бабушка Циля была права.

Я в жизни знал многих стариков, но хорошо запомнил только Соломона Моисеевича. А сейчас я сам стал стариком. И мне хочется быть похожим на него.

Почему? Есть вопросы, которые гаснут, как звёзды на утреннем небе.

Я до сих пор слышу голос Соломона Моисеевича:

– Гарик, никогда не забывай, что ты еврей.

### МОЙ ДЯДЯ ЛЕОНИД ШКОЛЬНИК

Мой дядя Леонид Школьник хорошо разбирался в радиоприёмниках и телевизорах. И часто разговаривал со своим паяльником, с которым расставался поздней ночью.

Его второй женой была тётя Фира.

Тётя Фира любила смеяться. Она смеялась по любому поводу и никогда не грустила. А вот дядя Леонид, родной брат моей бабушки Циля, никогда не смеялся, даже тогда, когда выигрывал в карты или лото. Первая жена – Мария – бросила дядю Леню сразу же после войны и уехала со своим любовником в Харьков. И навсегда пропала из его жизни. Она не оставила ему ни одной своей фотографии.

Дядя Леня пил и страдал два года, и паяльник дрожал в его руке, будто плакал. Так мне говорила бабушка Циля, а я, восьмилетний, не мог понять, как может паяльник дрожать, будто у него высокая температура?

Жили Леонид и Фира в доме по соседству на Хворостина, и я часто приходил к ним в гости. Мне нравилось наблюдать за работой дяди Леонида. Он никогда не торопился. Он гладил пальчиковые лампы. Он осторожно закручивал винтики. Самым большим деталям телевизоров и радиоприёмников он давал ласковые прозвища.

Я сидел в комнате тихо, как мышь, а дядя Леонид делал вид, что меня нет, потому что он любил работать в одиночестве.

– Всё у нас получится, мой друг, – говорил дядя паяльнику. – Ещё один шаг и мы у цели... Ты только не волнуйся.

Тётя Фира приносила нам на большой тарелке хрустики.

– Спасибо! – говорил дядя Леонид.

– Всегда пожалуйста, – говорила тётя Фира и удалялась на кухню готовить обед.

Я смаковал каждый хрустик.

– Оставь своей бабушке Циля, – не выдерживал дядя, – она обязательно должна восхититься готовкой моей Фиры.

Сам он хрустики никогда не ел.

Я оставлял десять хрустиков, потом пять, а потом один.

Моя рука тянулась к последнему хрустику, но тут дядя Леонид начинал тихо покашливать, предостерегая меня, и я понимал, что этот хрустик надо обязательно донести бабушке Циля.

Дядя Леонид числился сотрудником какого-то учреждения, но всю работу он выполнял дома. Тётя Фира часто говорила:

– Хорошо, что Леонид со мной!

Тётя Фира пахла кухней. А дядя Леонид морем. Он любил море – весеннее, летнее, осеннее и даже зимнее. И говорил, что море – танго. Вечное танго с одной мелодией.

Тётя Фира в детстве и юности была акробаткой и даже какое-то время выступала в цирке. Потом она училась на торгового работника, затем стала женой дяди Леонида. Их познакомила сваха Надя.

Надя сказала:

– От таких девушек, когда отказываются, потом кусают себе локти. Леонид, ты не хочешь кусать себе локти?

– Не хочу, – признался дядя.

Фиру он показал своей сестре Циля. Будто бы моя бабушка случайно зашла в кафе, где обедали Фира и Леонид.

– Ба! Циля, ты нам сделала сюрприз. Посиди с нами...

Бабушке Фира понравилась. Она нарисовала на листе бумаги огромный плюс и больше ничего не стала говорить своему брату. Он через несколько недель сказал:

– Циля, у нас скоро свадьба.

На свадьбе было шесть человек: три со стороны невесты и три со стороны жениха. Все остальные, оставшиеся после войны в живых, родственники обиделись и долгое время не заходили к дяде Леониду в гости. По крайней мере, до тех пор, пока у них не ломался радиоприёмник или телевизор.





Ах, как мало я в детстве успел поговорить с дядей Лёнсей. Я так и не выяснил, за что его любила тётя Фира и моя бабушка Циля, мама Рая, папа Иосиф и тётя Лида. Впрочем, я его любил просто так. Просто за то, что он помог мне собрать первый детекторный приёмник, научил разговаривать с паяльником и открыл для меня два великих романа Ильфа и Петрова.

Он был немножко сумасшедший, но кто из нас, одесситов, не сумасшедший? Просто, как говорила бабушка Циля, один больше, а другой меньше.

У меня от дяди Леонида осталась керосиновая лампа. Она часто говорит голосом тётя Фирь:

– Лёня, к нам пришёл Гарик!

## ТОЧИЛЬЩИК НОЖЕЙ БОРИС КРАХМАН

Борис Крахман был точильщиком ножей. Он просыпался в шесть утра, а в семь уже ходил по улочкам Молдаванки и кричал:

– Точу ножи! Моя заточка приносит удачу!

На войне он был десантником. Освобождал Курск, Одессу, Берлин. Он никому об этом не рассказывал.

Женщины слетались к нему, как воробьи на крошки хлеба. Он точил ножи, точильный камень азартно кружился, понятное дело, сыпалась искры. Женщины вокруг него весело гадали, но никогда не делились друг с другом своими секретами.

У Бориса было два сына и четыре внука. Когда-то он играл в юношеской футбольной команде. И его внуки играли в футбол и мечтали стать центральными нападающими. Его сын Израиль был известным врачом, но денег у него Борис принципиально не брал.

– Не могу без движения, – говорил семидесятилетний Борис. К сожалению, я забыл его отчество. Все его дети и внуки давно эмигрировали в разные страны. Куда делся точильный круг, я не знаю.

Его знала вся Молдаванка. Все считали его не просто точильщиком ножей, но и большим еврейским мудрецом. Говорили, что его предками были житомирские раввины. Советы он давал бесплатно. При этом он никогда не настаивал, что их надо обязательно выполнять.

– Мой муж Иван пьёт, – говорила наша соседка Алевтина Петровна. – И как его отучить от этого порока?

– Это просто. Говорите, что он пьёт слишком мало. Надо выпивать в день по две бутылки. Только не уменьшайте своего напора. Двух бутылок он не осилит. И задумается. И перейдёт на чай. Увидите, что это сработает.

И сработало. Алевтина Петровна купила десять ножей и затачивала их каждые три дня. Понятное дело, что от их лезвий скоро остался один пшик.

Вскоре на улице Хворостина появился киоск с ножами. Торговля шла бойко. Даже у нас в квартире появилось несколько новых ножей. Мы с бабушкой часто ходили их затачивать.

– Я не люблю шахеры-махеры, – говорила моя бабушка Циля Крахману.

– Из этого следует, что муж вашей старшей дочери Лиды Сеня опять прошттрафился. Что он натворил на этот раз?

Бабушка сказала, что она не может сказать это вслух, потому что рядом находится много чужих любопытных ушей.

Они отошли и стали секретничать. Меня с собой бабушка не взяла. Попросила следить за точильным камнем. Я не мог не согласиться.

Потом они вернулись. Бабушка забыла о ножах, которые были в её сумке.

– Всё хорошо, – сказала она мне. – Сплошной цимес. Я решила подружиться с нашим участковым, пригласить его в гости на пельмени. Ты, Гарик, меня поддерживаешь?

Вечером бабушка сказала, что к нам в гости на днях придёт участковый Воронков. На обед.

– Зачем он нам нужен? – поинтересовался дядя Сеня.

– Мы будем кормить его ворованным сливочным маслом и яйцами. Сеня, он заинтересован твоей персоной. А это, сам понимаешь, плохой знак.

И дядя Сеня перестал воровать. Он не воровал целых полгода.

Я сказал Крахману:

– Я, когда вырасту, стану точильщиком ножей.

– Для этого ты должен развивать свой голос. Уверен, что у тебя получится. Но зачем тебе это нужно?

– Я хочу давать людям хорошие советы.

– Для этого не обязательно становиться точильщиком ножей. Стань лучше музыкантом или писателем. Музыкантом стать у меня не получилось.

## ГАРИК БЕСЕДУЕТ С БАБУШКОЙ ЦИЛЕЙ

Сегодня бабушка Циля воспитывает меня. Личным примером. Она говорит:

– Я, Гарик, никому не завидую. И ты не завидуй. Зависть портит человека. Он становится чересчур мрачным и его глаза бегают в разные стороны.

Бабушка Циля делает вишнёвку. У неё должна получиться самая лучшая вишнёвка на Молдаванке, потому что только ей улыбаются вишни.

– Нет, – говорит бабушка Циля, – они мне ухмыляются. Как сытые коты. А я в ответ ухмыляюсь им.

– Завистливые люди, – продолжает свою воспитательную работу бабушка Циля, – не достойны жить на Молдаванке. Пусть живут в других районах Одессы.

Я думаю, что на Молдаванке давно уже нет завистливых людей. Я знаю, что Петя Муравьёв, мой одноклассник, живущий на улице Мясоедовской, завидует Косте Огурцову, потому что Костя – лучший математик в нашем классе, а Петя – самый худший. Он терпеть не может цифры. Он старается стать самым незаметным в классе на уроках математики. А Костя Огурцов всегда первым поднимает руку и первым сдаёт контрольную работу. Я ничего не рассказываю бабушке Циле о Пете Муравьёве. У бабушки давно сложилась картинка о Молдаванке и лучше её не портить. Правда, бабушка иногда заявляет:

– Увы, всегда бывают исключения из правил.

Бабушка Циля учит меня общаться с Молдаванкой.

– Представь себе, Гарик, – говорит она, – что Молдаванка кружится рядом с тобой, как юла. И вся она весёлая, как артистка оперетты. Артистка оперетты весёлая, потому что попробовала моей замечательной вишнёвки.

– Какое у тебя сейчас настроение? – неожиданно спрашивает бабушка Циля. – Только начистоту, ничего не скрывай. Представь, что изобрели градусник для измерения настроения. Так что он у тебя показывает?

– Пять с плюсом, – отвечаю я.

– Наверное, я тебя заразил хорошим настроением, – говорит бабушка Циля. – Хорошее настроение иногда бывает заразным. А я сейчас испеку свои фирменные пирожки. Давай назовём их пирожками от бабушки Циля, – она месит тесто. У неё узкие ладони и очень проворные, как воробы на улице, пальцы. Только они, к сожалению, не умеют чирикать. Моя бабушка Циля очень красива.

– А вот и нет! – говорит она. – Я всегда в человеке предпочитала внутреннюю красоту, а не внешнюю.

Тут в окне появляется улыбчивая физиономия кота Мурзы. Он взобрался по виноградной лозе. Для него добраться до второго этажа – лёгкое дело. Бабушка открывает окно. Кот Мурза важно садится на подоконник. И ждёт кусочек мяса. Вишнёвка его явно не интересует. У него замечательные усы. И моя бабушка Циля его любит. Но я к нему её не ревную.

– Когда-нибудь и у тебя, Гарик, будут усы.

– Мяу! – подтверждает кот Мурза. А на кухне уже пахнет будущими пирожками.

## КРАСИВАЯ ПОДРУГА МАМЫ РАИ

Самую близкую подругу мамы Раи звали Ривой Бергман. Ей было чуть больше двадцати, а я ещё не перешагнул десятилетнего возраста.

У Ривы была броская красота. И лицо античной богини, разумеется, самой-самой. Казалось, что её собственная красота удручает. Она плакалась моей маме Рае, что самые интересные мужчины боятся к ней подойти, а ведь она ждёт настоящего принца, но, скорее всего, не дожждётся.

Мне хотелось утешить Риву Бергман, но я тогда был ещё очень маленьким, и злился на своё малолетство. Вот если бы мне было лет двадцать пять...

Рива посмеивалась надо мной. Она гладила мои волосы, будто я был крохой, и советовала маме Рае записать меня в драматический кружок.

– Гарик, кого ты хочешь сыграть? – спрашивала меня Рива томным голосом.

– Отелло, – отвечал я.

– И кого же ты готов задушить?

– Пока не знаю.

Она всегда приносила мне маленькую шоколадку. Я их копил. Не мог же я съесть шоколадку, подаренную такой красивой женщиной.

Я мечтал пригласить Риву на свидание. На Мясоедовской мы бы встретили бандитов, но я бы обязательно заступился за Риву Бергман, а она меня за это поцеловала. Тогда я ещё ни с кем не целовался, но мне нравились кинофильмы, где Он и Она целуются. Интересно, думал я, целовались или нет Адам и Ева?

Однажды я встретил Риву на улице Хворостина.

– Гарик, ты куда не слепишь? – спросила она. – Не хочешь прогуляться со мной?



И мы пошли неторопливо по Молдаванке. По её прямым улицам и запутанным переулкам. Я, как ангел, улетаю к облакам, а потом возвращаюсь к красавице Риве.

– Почему ты молчишь? – спросила самая красивая девушка Молдаванки.

– Мне молчится, – пролепетал я.

– Наверное, Гарик, тебе со мной неинтересно?

Тут я начал бояться, что подруга мамы Раи покинет меня и начал говорить какие-то неуклюжие и тяжеловесные фразы.

– Как ты интересно рассказываешь! – восхитилась Рива. Скорее всего, она меня не слушала. Она не могла представить себе, что я попался на удочку её красоты. Наверное, она не ощущала, какая сила заключена в её красоте.

– Гарик, тебе уже нравятся твои одноклассницы, так ведь?

– Они ужасны, – ответил я. – В них нет шарма.

Она должна была спросить: а во мне? Но вместо этого она сказала:

– У тебя ещё всё впереди.

Мне захотелось взять её за руку, закрыть глаза и представить, что мы купаемся в море. Не просто купаемся, а Рива учит меня плавать. И её руки ласково касаются моего тела.

– Жаль, что сейчас поздняя осень, – словно прочитав мои мысли, сказала Рива.

И я стал печальным, как осень, которая нас окружала. У меня не было даже маленькой надежды, что подруга моей мамы Раи меня когда-нибудь полюбит. Впрочем, я тогда ещё плохо представлял, что такое любовь. И как рождаются дети. Но что меня нашли в капусте, я не верил. Наверное, меня подобрали на улице Хворостина?

Мы бродили по Молдаванке часа два. Моё сердце громко стучало, но Рива не услышала его стука.

– Надеюсь, Рива, у вас всё будет хорошо?

– Спасибо, Гарик, за чудесную прогулку.

Как здорово быть рядом с красивой молодой женщиной!

Маме Рае я ничего не сказал.

## МЫ ГУЛЯЕМ ПО ДЕРИБАСОВСКОЙ

Бабушка Циля уговорила меня пройтись с ней по Дерибасовской. Она сказала:

– Гарик, есть светлые страницы памяти, а есть тёмные. Есть тёмные улицы. И даже города. Да и наша жизнь состоит из рассветов и закатов. Давай прогуляемся по Дерибасовской. На этой благословенной улице твой дед Борис мне сделал предложение, а я его приняла, не раздумывая. Я целых два месяца ждала, что он это сделает, но я не торопила его.

Сегодня воскресенье. Тётя Лида обещает приготовить роскошный обед, а моя мама Рая поможет ей в этом.

Мы от Молдаванки до Дерибасовской идём пешком. Мы никуда не торопимся.

– Время всегда быстрее наших шагов, – говорит бабушка Циля. – Гарик, у твоего дедушки Бориса почти не было недостатков, но он был чудаком. Быть рядом с чудаком – счастье. Никогда не знаешь, что он задумал. Да и мысли у него менялись каждые полчаса. Однажды мы решили пойти к морю, а пришли на Дерибасовскую. На этой улице, сказал твой дедушка, каждое мгновение становится праздником. Он обещал мне маленькое чудо, но быстро забыл о своём обещании, но потом я поняла, что каждый день, проведённый с ним, был чудом. Представляешь, сколько у меня в жизни было чудес.

Я хочу спросить бабушку: а со мной прогулка – чудо? Но мне десять лет, и я знаю, что есть вопросы, которые лучше не задавать. И не надо задавать вопросы, на которые ответы знаешь заранее. И не следует напрашиваться на комплименты.

– Гарик, – говорит бабушка Циля, – пусть каждый твой день будет похож на новую книгу. Тебе повезло: твой дедушка Борис был книголюбом, и твой отец Иосиф книголюб, и даже твоя бабушка Циля постоянно читает. И мне кажется, что мы с тобой, Гарик, живём в книголюбивом городе. Недаром хорошие книги не задерживаются на полках книжных магазинов.

И вот мы вышли на Дерибасовскую. И я опять почувствовал, что она – ГЛАВНАЯ УЛИЦА ОДЕССЫ. А Одесса – ГЛАВНЫЙ ГОРОД В МОЕЙ ЖИЗНИ.

– Ты прав, Гарик, – сказала бабушка Циля, – на Дерибасовской хочется прыгать от счастья, как совсем маленькой девочке. – Неужели она умеет читать мои мысли?

– Не умею, – говорит бабушка Циля. Я замираю. – Просто, Гарик, твои мысли часто похожи на мои. – Я впитываю слова бабушки Циля, чтобы запомнить их на всю жизнь.

Мне кажется, что на Дерибасовской лицо моей бабушки становится светлее, на нём почти нет морщин. Некоторые мужчины улыбаются моей бабушке Циля, но, возможно, у них просто хорошее настроение.



– Внучёк, – говорит мне бабушка Циля, – когда у тебя будет плохое настроение, возвращайся на улицу Дерибасовскую. И тебе станет легче. Ты обязательно увидишь своего дедушку Бориса и меня. И услышишь, как дедушка Борис делает мне лучшее предложение – стать его женой. Ты слышишь голос своего деда, не так ли?

И я слышу дедушкин счастливый смех. И вся Дерибасовская в счастливом журчании смеха. Смех – ручеек, река, море. И, как гордые суда по морю, плывут здания Дерибасовской. Плывут к ГЛАВНОМУ ТЕАТРУ, и мы с бабушкой плывём вместе с ними.

А потом мы с бабушкой сидим на скамейке в Пале-Рояле. И бабушка Циля говорит мне:

– Гарик, спасибо тебе за прогулку!

– Бабушка, я когда-нибудь напишу о нашей прогулке.

– Только ничего не выдумывай!

Простите, если вам не понравилась моя очередная история.

Ваш Гарик.

## СОФКА И Я

Тётя Клава приехала в Одессу из Рыбницы и привезла с собой свою дочь Софку. Мне было одиннадцать лет, а Софке тринадцать.

Тетя Клава попросила меня показать Софке Одессу.

«Больно надо!» – подумал я, но вслух сказал, что согласен, но пусть моя троюродная сестрёнка знает, что гид из меня никудышный.

– Но другого нет! – сказала Софка и показала мне язык.

Софка была привлекательной девочкой. Я мог бы в неё вториться, но я тогда был отвергнут Сашей Ходорченко. Я ей показался плохо воспитанным мальчиком, а она выбирала себе исключительно маленьких джентльменов. Я хотел стать джентльменом, но не успел – Саша меня бросила на большой перемене, громко сказав:

– Гарик, ты мне не подходишь.

Если честно, Софка была соблазнительней Саши. У Саши был плохой характер: она на всех сердилась. На химичку, на меня, на Дерибасовскую и Одессу. Даже на себя она сердилась, но только по пятницам. И ещё она никогда не улыбалась. А мне улыбаться за нас двоих быстро расхотелось.

Когда Саша меня бросила, я первую неделю страдал. Я стал ненавидеть всех девчонок моей школы. Мне казалось, что они шепчутся за моей спиной: это тот пацанёнок, которого бросила Саша Ходорченко. Если бы у меня был автомат... Хорошо, что у меня его не было.

Сгоря я стал регулярно делать домашние задания. И из «троечника» выбился в «хорошисты». Классная, Мария Степановна, стала со мной здороваться за руку – я попал в десятку её любимчиков.

Саша Ходорченко каждый день подходила ко мне, словно ёж к яблоку, и спрашивала:

– Гарик, ты уже не страдаешь?

Я, понятное дело, ничего не отвечал на её дурацкий вопрос. Ах, если бы у меня была рогатка!

Ладно, вернёмся к Софке. Я её привел на Дерибасовскую и сказал:

– На этой улице исполняются все желания. Только надо прислониться к коре дерева и поводить по ней носом.

Софка так и сделала.

– У меня получилось, – весело сказала она. – Что дальше?

– Теперь ты должна загадать желание, но про себя, и мне о нём ничего не говорить.

– Жаль, что тебе только одиннадцать лет!

Неужели она это сказала или мне померещилось? Впрочем, уточнять я ничего не стал.

Потом в кафе «Алые паруса» мы поели мороженое. Софке я заказал двести грамм, а себе сто – боялся, что у меня не хватит денег. Слава богу, хватило.

А потом я водил Софку по Дерибасовской и боялся, что на нас нападут пираты. И захватят девочку в плен, а меня отпустят. Но пираты, наверное, в этот день отдыхали.

Я рассказал Софке из Рыбницы, что Одесский оперный театр прилетел из Вены. Просто ему надоели австрийцы и он решил пожить среди одесситов. В нашем театре, – говорил я Софке, – живут настоящие домовые. Они наряжаются по ночам в театральные костюмы и поют свои оперы. Каждая из которых длится 13 минут.

– А хор у них есть?

– Разумеется, есть. И балет. И оркестр. И балетная труппа. Жаль только, что я на их спектаклях был только три раза.

– Пошли в театр, – попросила меня Софка.



– Домовые, – печально сказал я, – уехали на гастроли в Лондон.

– Лучше бы в Рыбницу, – совсем тихо сказала Софка. – В Лондоне всё есть, а в Рыбнице только зачуханный Дом культуры.

– Я скажу их администратору, когда они вернутся в Одессу, – пообещал я.

С Софкой мне было легко. Так легко, что я ей рассказал о Сапе. Вернее, о моих страданиях, когда Сапа меня бросила. И даже Одесса меня тогда не смогла спасти от плохих дней и ночей.

– Надо было подойти к дереву, потереться о его кору носом и загадать желание.

– Я забыл об этом чудесном способе обрести душевное спокойствие, – признался я.

– Замнём этот способ, – разрешила мне Софка. – А какая она, эта Сапа?

И тут я понял, что не могу ничего конкретного сказать о Сапе. Я даже не помнил, какого цвета её глаза и есть ли на её лице родинки. Я впервые в этот вечер начал запинаться. Слова-звёздочки стали заурядными льдинками.

– Всё с тобой ясно, – сказала Софка. – Сапа тебя больше не интересует. С тобой произошла метаморфоза.

– И в кого я превратился?

– В себя, – сказала Софка. – Но, Гарик, ты повзрослел на целый год. Разве ты этого не чувствуешь?

И я почувствовал, что мне уже 12 лет, хоть до моего дня рождения оставалось восемь месяцев и двенадцать дней.

## СПЕКТАКЛЬ

К Белле пришла Софка. Они были две недели в ссоре. Софка говорила: мне надоела Белла. Белла утверждала: как мне легко без Софки. На переменах они старательно обходили друг друга.

– Помирись с Софкой, – советовала внучке бабушка Циля.

– И не подумаю! – горячилась Белла. – Не я эту тёмную воду замутила.

Бабушка Циля не настаивала. Она принимала всё как должное: ночь и день, свет и мглу и причуды Беллы. Как-никак, Белла была её единственной старшей внучкой. И у Беллы был переходный возраст.

– Помирить тебя с Софкой? – спрашивал Гарик у своей двоюродной сестрицы.

– Не суй свой нос, куда не положено, – сердито отвечала будущая Белла Семёновна. Она страдала. Она старалась никому не показать своих страданий.

И тут Гарика осенило, будто ньютоновское яблоко упало ему на голову. И весь двор стал пахнуть этим осенним яблоком.

Следовало поставить спектакль. О двух подругах. О Белке и Софке. Потому что Софка в данный период мечтала стать актрисой. И пленить всю Молдаванку своей игрой. Вся Молдаванка должна была восхищаться Софкой Бромберг, как когда-то вся Одесса восхищалась Верой Холодной.

Гарик вовсе не хотелось сочинять пьесу. Мальчик не мечтал о скрипке и не хотел славы драматурга. Гарик начал собирать марки и монеты. Но Софка и Белла выглядели удручёнными. Они могли заболеть. А папа Иосиф часто повторял: долг врача не вылечить больного, а предупредить болезнь.

За три дня Гарик написал пьесу. И в ней была лампа Алладина и волшебная борода, и дед Авраам – бывший налётчик, а потом сапожник. И ещё в этой пьесе были две подруги-сестрицы – Белка и Софка.

– Белла, – признался Гарик, – я написал пьесу.

– О чём она?

– О двух подругах.

– Круто! – сказала Белла.

И тогда Гарик прочитал ей пьесу. Разбойник Мишка Япончик должен был бегать по сцене и есть пончики. И он пытался разлучить двух подруг, но у него ничего не получилось...

– Ты должен убрать один персонаж, – сказала Белла.

– Софку?

– Нет!

– А кого?

– Мишку Япончика.

Потом я эту пьесу прочитал Софке.

– Блеск! – сказала она. – И почему, Гарька, ты такой маленький! – она была старше меня на два года и не уставала напоминать мне об этом.

Потом Софка сказала, что Мишку Япончика следует из пьесы убрать.

– А может, Беллу?

– Белла пусть остаётся.

Смотреть премьеру «Одессито» пришла вся улица Хворостина. Или её половина. Или четверть. И все шесть дворовых котов во главе с Мурзой. Я готовился к провалу.



– ВСЁ будет хорошо! – подбадривала меня бабушка Циля. Она была в своём единственном вечернем платье.

Перед спектаклем от общественности выступила тётя Клава. Она была профсоюзной деятельницей и умела держать фасон. Для пуццей важности она отмахивалась от своих предполагаемых критиков бумажным китайским веером со сказочными драконами.

Зрителей было 26, не включая Мурзу и остальных котов.

Спектакль прошёл при молчаливом одобрении присутствующих. Больше я пьес не писал.

Но Софка играла здорово! Я бы так не смог. Она спасла спектакль, а я спас дружбу.

И девчонки меня поцеловали. Может быть, за пьесу? Но мне лично не хватало в спектакле Мишки Япончика.

## САМЫЙ ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ О МОЕЙ ТЕНИ

В двенадцать лет я однажды поссорился со своими близкими друзьями – Веней Коганом и Жуликом. Жулик – Мишка Сидоров, но все его звали Жуликом, потому что он спокойно выпутывался из любой – самой сложной – ситуации. Я не помню, по какой причине мы тогда поссорились. Ссорились мы тогда довольно часто, но потом мирились. И снова ссорились.

Веня Коган говорил мне:

– Я вычеркнул тебя из жизни.

Мишка Сидоров заявил:

– Клянусь Одессой, я найду себе нового друга.

Я страдал, но через минут десять мне страдать надоело.

«Ладно, – говорил я сам себе, – наша мужская дружба не выдержала испытания временем. Пусть так и будет. Обойдусь без Веньки и Мишки. Не буду слышать их нытья. Не стану давать им хорошие советы. Прощай, Жулик! Адью, Веня Коган!».

В тот вечер я злился на них и на себя. И даже на Молдаванку. И на трамвай, бегущий вдоль Молдаванки. И на Пожарку. И на зелёные сливы, которые я раньше любил, а сегодня внезапно разлюбил. В этом были, понятное дело, виноваты Венька и Жулик.

Я бродил по Молдаванке и думал, кого пригласить с собой на прогулку. Может, Любу Быкову? Мы с ней учились в одном классе. Любе я явно не нравился. А я к ней относился равнодушно. Веньке и Жулику Люба нравилась. Может быть, мне доказать, что я интересней их? Но у меня наверняка ничего из этого не получится.

И я перестал думать о Любе Быковой.

Забегая вперёд, скажу, что с Быковой мы поцеловались накануне экзаменов в восьмом классе. Она спросила у меня:

– Гарик, а ты когда-нибудь совершал нелогичные поступки.

– Это было давно, – признался я. – Вечность назад.

– А сейчас можешь?

И тогда я попросил Любу снять очки и нахально её поцеловал. Я думал, что она рассердится и назовёт меня придурком, но она ничего подобного не сказала. И мы стали говорить о разных пустяках, будто поцелуя и не было.

Ладно, возвращаюсь к себе двенадцатилетнему.

Плохо в одиночестве бродить по Молдаванке. Без Веньки и Жулика, но они без меня, думал я, тоже страдают. Я мог зайти к Гене Ходыреву, но с ним мне было бы скучно. Гена мечтал стать космонавтом. Он бредил Юрием Гагариным. Он знал всё о внеземных цивилизациях. Никто больше о них не знал – только Ходырев. Полгода назад он меня огородил своими выдумками. Фантастические книги на него явно плохо действовали.

Меня тянуло к Веньке и Жулику, но я должен был проявить выдержку. Я заставил себя о них не думать.

И тогда я вызвал свою тень. Тени Веньки и Жулика были лучше. Они светились. Но я прогнал их тени, а свою, мрачную и сердитую, оставил. Пусть она помучается со мной.

– Салют, Гарик! – сказала тень. – Вот и я!

– Как твои дела?

– Так себе! – призналась моя тень.

Она явно досадовала, что я прогнал тени Веньки и Жулика, но не могла же она об этом сказать мне прямо.

– Куда пойдём? – поинтересовался я. – Налево или направо?

– Куда хочешь, – тоскливо ответила тень. – Мне всё равно. Гарик, зачем ты меня мучаешь дурацкими вопросами?



У моей тени был дурацкий характер. Хуже, чем у Веньки и Жулика. И она не умела просто радоваться жизни.

– Помолчи, – прикрикнул я на тень, – мне и без тебя тошно!

– Мне ещё тошно! – пробормотала тень.

Минут десять мы молчали. Тень шла рядом и сердито сопела. Как Венька и Жулик, когда они заились на меня.

Я не выдержал и дал тени какое-то пустяшное поручение. И она от меня отвалила на улице Богдана Хмельницкого.

И тут я увидел Веньку и Жулика, которые шли мне навстречу. Я хотел гордо пройти мимо, но Жулик сказал:

– Гари́к, мы тебя искали. Пойдём с нами.

И мы дальше по улице Богдана Хмельницкого пошли втроём. И моя тень вернулась ко мне. Настроение у неё явно улучшилось.

## ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОТРАДА

В 12 лет Гари́к открыл для себя пляж, который назывался «ОТРАДА». Он ходил туда со своим другом – Лёней Каном. Друг искал девочку, в которую он бы мог влюбиться. Но девочек было так много, что он не знал, какую выбрать.

Гари́ку нравилось море. И пляжники. Все сразу. Они подставляли солнцу свои тела. Они были связаны с морем и песком. Они забывали неурядицы своей жизни.

Лёня Кан щёлкал фотиком. Фотик был стареньким. Но Лёнька утверждал, что лучше его никто не может снимать пляжные фотки. И это было чистой правдой. У Кана был хитроумный план: найти самую красивую девочку на пляже «Отрада» и запечатлеть её для будущих поколений. Но ему не везло. Красивые девочки были, но они не желали фотографироваться.

Одна из них спросила:

– Я тебе нравлюсь, не так ли?

– Ты нравишься нашему общему будущему, – загадочно сказал Кан и отвернулся, показывая, что эта девочка не единственная красотка на пляже.

Это были ещё те похождения Лёни Кана с улицы Богдана Хмельницкого. Гари́к не спешил ему на помощь. У Гари́ка были дела поважней, чем охмурять красивых девочек. Он считал, что в двенадцать лет вечной любви не бывает – только мимолётная, а на такую любовь не хотелось тратить драгоценное время.

Гари́к приходил на пляж с книгой. С «Дневником» Анны Франк или «Тремя мушкетёрами» Александра Дюма. Он купался, читал и наблюдал за Лёней Каном, и считал его вздохи.

– И как у тебя продвигаются дела? – спрашивал он у своего друга.

– Нормально, – отвечал друг, но глаза его не сверкали, из чего Гари́к делал вывод, что дела у Лёни Кана идут плохо. Или идут не в ту сторону.

Пляж «Отрада» был заполнен как муравейник. Он жил своею собственной жизнью. Никто тогда на пляже не ощущал себя бедным или богатым, дураком или умным. Все были счастливы. Все купались в море и тянулись к солнцу. А ещё любезничали, угощали бутербродами с брынзой, играли в домино и вели умные разговоры о превосходстве физиков над лириками. Городской сумасшедший Нолик громко объявлял, что он – лучший друг Юрия Гагарина и скоро наступит его очередь лететь в космос.

Гари́к любил вытягиваться на песке. Он смотрел направо, а потом налево, а потом закрывал глаза. Но с закрытыми глазами было лежать неинтересно. И он открывал сначала левый глаз, а потом правый.

Лёня Кан фотографировал. А затем он принёс мороженое «Эскимо» на палочке. Две порции он отдал Гари́ку, а две порции оставил себе.

У Гари́ка на две порции мороженого ушло пять минут. А потом он плескался в море. Как акула. Или осьминог. Или рак-краб. И мечтал достать со дна самый красивый камешек. Но таких не находилось.

Время несло́сь быстро. Как детство.

## ГАРИ́К И УЧИТЕЛЬНИЦА ГЕОГРАФИИ. ОДЕССА. 1963 ГОД

– Она жестокая, – говорит бабушке Ци́ле Гари́к. – Но она всё равно мне нравится.

У тринадцатилетнего Гари́ка сегодня хорошее настроение. Без всякой причины.

– Кто она? – спрашивает бабушка Ци́ля.

– Знакомая незнакомка, – загадочно отвечает Гари́к.

На самом деле мальчику нравится учительница географии Светлана Трофимовна. Только она очень старая – ей скоро исполнится двадцать пять. У неё золотистые волосы, большие глаза и она в детстве занималась танцами.



Сначала Светлана Трофимовна Гарику не нравилась. Вернее, Гарик не нравился учительнице, но потом она стала ставить ему хорошие отметки.

И Гарик стал на уроках Светланы Трофимовны светиться. Он не сразу почувствовал своё свечение. Однажды они остались в классе вдвоём.

– Ты переменялся в лучшую сторону, – сказала Светлана Трофимовна. – Я от тебя ничего подобного не ожидала.

Тут мальчик ляпнул:

– Мне просто нравится география.

– И мне она нравится.

– Что же мы будем делать дальше? – выпалил Гарик.

И между ними повисла пауза.

Светлана Трофимовна прошла по классу. Потом села за первую парту. Повернулась к Гарику:

– Сейчас я твоя одноклассница.

– Жаль, что через несколько минут вы опять превратитесь в учительницу.

– Иногда несколько минут – целая вечность.

И тогда Гарик неожиданно для себя подошёл и поцеловал Светлану Трофимовну. Она должна была дать ему пощёчину, но не сделала этого, а спросила:

– Какой у тебя по счёту поцелуй?

– Седьмой, – соврал Гарик. – А у вас?

– Пятидесятый, – быстро ответила учителька географии. – Но я могу ошибаться?

– Вполне возможно.

Гарику захотелось повторить поцелуй, но Светлана Трофимовна сказала:

– Теперь я снова твоя учительница.

– Может быть, мне превратиться в директора школы?

– Зачем?

– Не знаю, – признался Гарик. – Я просто подумал, что директор школы может вами командовать, а я, к сожалению, не могу.

– С директором школы я бы не стала целоваться. Он не в моём вкусе.

– А я?

– Ты – дерзкий мальчишка, но такие всегда мне нравились.

– А я вот самому себе сейчас не нравлюсь.

– Это пройдёт, – уверенно сказала географиня. – После первого путешествия в Париж. – Она пять секунд помолчала. – Только ты ничего никому, Гарик, не рассказывай.

– А ничего и не было, – беззаботно сказал Гарик. – Просто я повзрослел на целый поцелуй.

– А я помолодела на целый поцелуй.

У каждого из них была своя правда.

## КНИЖНИК

Так получилось, что я знал многих книжников в Одессе. Все они были интеллигентными людьми, осколками благородного XIX века. Этот век сотрясали войны, но не такие, как в XX веке с позорным Холокостом.

В Российской империи девятнадцатый век прошёл под знаком Пушкина. Серебряный век русской литературы убили революция и гражданская война.

Ладно, вернёмся к книжникам. Вернее к одному из них – дяде Потёртому Сюртуку. Я никогда не знал его имени и фамилии. Он всегда ошивался возле Букина на Дерибасовской. И всегда со стопкой книг.

Он цеплял своими взглядами людей, приходивших продавать свои книги. Выискивал добычу. Был охотником. Он нутром чувствовал, кого надо останавливать и с кем надо договариваться. Ему часто везло. Однажды он приобрёл автограф Эдуарда Багрицкого и первое издание стихов Игоря Северянина.

Своих книг он никогда не продавал. Только приобретал чужие. При этом торговался за каждый рубль. За Бабеля 1936 года он отвалил 50 рублей, не торгуясь. И сразу же спрятал эту книгу под своим потёртым пиджаком, чтобы прочие книжники ему не завидовали.

Он часто сидел на одной из скамеек Приморского бульвара и рассматривал очередную добычу. Губы его при этом шевелились. Седые волосы на голове были в беспорядке – он ими явно никогда не интересовался.

Никто не знал, где он живёт. Никто не видел его книжной коллекции. Многие книжники хвалятся своими раритетами. Говорят с апломбом:

– На поиски этой книги я потратил десять лет. Она выплыла случайно.

Господину Потёртому Сюртуку книжное чванство было до лампочки. Он никогда не хвалился своими находками, словно оберегал их от чужих глаз. В свои книжные закрома он никого не допускал.





Я был молодым и настырным. Мне нравился воздух букина. Так могли пахнуть только старые книги. На витринах под стеклами лежали первые издания Мандельштама, Пастернака, Есенина, томики эмигрантской литературы, иллюстрированные альманахи «Жар-Птицы». Они стоили баснословные деньги. Таких денег у меня не было.

Потёртый Сюртук ласкал эти книги взглядами. Потом он просил, чтобы ему их показали. Эти томики он держал в руке осторожно, как грудных детей.

У него была своя теория. Он говорил, что ценные книги сами выбирают своих хозяев.

Когда мы познакомились, он первым рассказал мне о судьбе Ходасевича и Георгия Иванова, о трагической жизни Надежды Павловны. О первых изданиях Корнея Чуковского.

Он питался пирожками и газированной водой. От угощений прочих книжников он отказывался наотрез.

Потом Потёртый Сюртук исчез. Я стал реже заходить в букин. Мне оставляли книги в нескольких книжных магазинах – верили, что я сам когда-нибудь напишу СВОЮ книгу.

Похожих книжников я встречал в Париже и Брюсселе. Опять-таки в потёртых сюртуках. И всё же одесский Потёртый Сюртук был самым интересным из них. Из времён Бальзака. Этаким книжный Гобсек. Из Одессы.

### ИНГРИД И СОФИ

В двадцатилетнем возрасте мне нравились две девушки – Ингрид и Софи. Они были близкими подругами. Стройные, шумные, прекрасные, как античные богини, уверенные в себе.

Каждой из них можно было любоваться часами.

Они мне безумно нравились, но я не знал, какую из них выбрать. Я вспоминал истории Казановы с двумя девушками и репал не делить их. Если получалось у Казановы, почему не получится у меня?

Они должны были стать учительницами английского языка. Иногда они, посмеиваясь, переговаривались между собой быстрыми английскими фразами, уверенные, что я их не понимаю. Я сердился, но делал вид, что мне это до лампочки.

Я тогда постоянно открывал в Одессе что-то для себя новое. Моими приятелями были самые разные люди. Я копил людей, я обзаводился странными знакомствами, но это была – толпа, а Ингрид и Софи были вне толпы. Я оберегал их, как мог.

Каждый вечер я выделял два часа Ингрид и два часа Софи. Остальное время я посвящал учёбе, работе, писанине, трепотне с друзьями. Я говорил пыльные фразы Ингрид, а затем Софи. Я безуспешно пытался поцеловать Ингрид, а потом Софи.

– Нет! – решительно заявляла Ингрид. – ты ещё не достоин моих поцелуев.

– Ты целовался с Ингрид? – спрашивала меня Софи. – Только не увиливай от ответа.

– Нет! – честно признавался я.

– Тогда и мне с тобой целоваться ещё рано.

Ингрид читала все повести и романы Жорж Санд. И роман Андре Моруа о ней. И роман Ежи Брошкевича о Шопене и Жорж Санд. Других книг она не читала. Когда я слишком нахальничал, она увертывалась от меня и говорила:

– Жорж Санд **этого** бы не приветствовала.

Я пробовал читать Жорж Санд, но быстро понял, что это не моя писательница.

Софи читала Борхеса, Камю и Сартра. Она разбиралась в литературе. Мои первые рассказы ей не нравились.

– Они у тебя о том, как повстречались А и Б. И А и Б у тебя слишком плоские. Мои приятели интересней твоих А и Б.

– Жорж Санд сказала бы по этому поводу...

– Не разрушай внутренний мир Ингрид, как язвительный жених. И вообще о вкусах не спорят.

Потом Ингрид уехала на три дня в Киев. Не помню, зачем.

– Будьте умницами! – попросила она Софи и меня. Не знаю, что она хотела этим сказать.

Мне позвонила Софи.

– Сегодня у нас свидание продлится четыре часа – целую вечность. Будь умницей!

– Ещё как буду! – буркнул я и решил идти напролом.

Мы встретились, как обычно, в самом начале Дерibasовской.

– Никто за нами не наблюдает, – сказала Софи. – И жить хорошо, и жизнь хороша! – Она любила цитировать Маяковского.

– А вчера за нами кто-то наблюдал?

– Глаза Ингрид. Они повсюду следовали за нами. Глаза разгневанной кошки. Ты разве не чувствовал их взгляда?



– Чувствовал, – я решил подыграть Софи: а что мне оставалось?  
 – Хорошо, что она сейчас в Киеве.  
 – Хорошо, – подтвердил я.  
 Короче говоря, мы нашли укромный уголок и начали неистово целоваться.  
 – Только учти, – попросила Софи, – скажешь Ингрид, что мы были умниками. Мне она не поверит.  
 А потом Софи уехала во Львов к своей тёте.  
 – Я надеюсь на тебя, – сказала она мне.  
 Напрасно понадеялась. Мне было двадцать лет. Я любил Софи, но не мог отказаться и от Ингрид.  
 И мы с Ингрид начали неистово целоваться в первом укромном уголке.  
 И это продолжалось два месяца.  
 А потом меня бросила Ингрид. Да и Софи пропала из моей жизни.  
 Я не долго страдал. Я нашёл необыкновенную девушку. Или она нашла меня. Или мы нашли друг друга. Я ей никогда не рассказывал о Софи и Ингрид. Я боялся, что она их знает.  
 В Одессе, в сущности, все знают друг друга.

### ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ИЛЬЁВ

– В детстве я был босяком, – улыбаясь, говорит мне Степан Петрович Ильёв.  
 Мы сидим в кафешке на Пастера и пьём кофе. И говорим о поэтах Серебряного века и их капризных возлюбленных. Вернее, сейчас нас интересует только одна – Лиля Брик.  
 – У Пушкина была Каролина Собаньская, – говорит Степан Петрович. – Она была пленительной женщиной и стервой. Поэтам всегда нравятся стервы. Вспомни взаимоотношения Катутла и Лесбии, Маяковского и Лили.  
 Лиля Брик Ильёву не нравится. Она слишком увлечена собой, расчётлива, лицемерна. И её было много мужчин. Многие её любили и бросали. Некоторых бросала она. У неё был талант завлекать мужчин. Разных. Но главной её жертвой был Маяковский.  
 – Она была умнее его, – продолжает Ильёв. – Много читала. Знала, что хорошо и что плохо. А ему читать было некогда. Он писал. Слишком часто и слишком много. Зарабатывал деньги. Для Лили. Для её мужа Оси. Для себя. Она всё-таки была талантлива в любви. Могла бы написать руководство для женщин «Как охмурять мужчин». Не написала. Она была посредственной танцовщицей, никакой актрисой. Она захотела остаться в истории. Поставила на Маяковского и не прогадала.  
 За соседним столиком сидят две молоденькие девушки. Они прислушиваются к нашему разговору.  
 Внезапно одна из них встаёт и подходит к нашему столу.  
 – Степан Петрович, мне неудобно вас перебивать, но я хотела всегда быть похожей на Лиллю Брик. Только в сегодняшней Одессе нет таких поэтов, как Маяковский.  
 – Наташа, – говорит Степан Петрович, – спасибо, что у тебя есть собственное мнение. Только не надо быть Лилей Брик – будь собой!  
 Я догадываюсь, что студентка Наташа тайно влюблена в Степана Петровича. Возможно, она этого пока не осознаёт. После каждой лекции Степана Петровича половина девушек влюбляется в него, а вторая половина мечется и не знает, почему они не готовы слушать лекции других преподавателей.  
 Его любят. Ему завидуют. Его ставят в пример. О нём постоянно шепчутся.  
 Степан Петрович весь в Серебряном веке. Там проживают его поэты, там страдают от любви его женщины. Они совсем не похожи на теперешних студенток.  
 – Где вы учились? – спрашиваю я тоненькую женщину, которая внезапно стала писать хорошую прозу.  
 – У Ильёва, – отвечает она.  
 Надо назвать одну из одесских улиц его именем. Или профессора русской филологии сейчас не в почёте?

# ГАЛИНА СОКОЛОВА

## ДІХІ! рассказ

Мне вспомнилось послевоенное детство. Печные трубы, торчащие как сломанные зубы из ощеренных провалов, и памятники, памятники – небольшие обелиски с красной звездой, разбросанные между воронок. Их было так много, что, казалось, мы живём на кладбище. Хотя жили мы в небольшом городке, который назывался Гроссулово. Мама добровольцем ушла на фронт из города Горького и, вырвавшись из немецкого окружения рука об руку с украинцем-папой, осталась в Украине. Папа же появился после Победы, когда я уже поднялась на ножки и, крепко ухватившись за большую суковатую палку, топала вполне самостоятельно.

– Эта девочка и жизнь заламает, как палку, – смеялись мамыны приятельницы, потому что им хотелось верить в завтрашний день.

Вот и ломаем – то я её, то она меня. Она – чаще. Познай себя, советовали ещё в храме Аполлона в Дельфах. И с тех пор люди надеются на счастье, перебирают в памяти события своей жизни, потому что мир это и есть мы и наши впечатления о нём и себя в нём. Но память пунктирна и плохо придерживается хронологии.

– Ты здесь не спи, здесь клопы, – оповестила я папу, когда, собираясь на ночь, он снял португезо и бросил на сундук вкусно пахнущий ремень со звонко блеснувшей пряжкой.

– Ты ложись на сундук, – сказала я, потому что он претендовал на моё место возле мамы.

– На сундуке спит бабушка, – не согласился папа. – Ты будешь теперь спать в кровати.

И смеясь, поднял меня к потолку.

Мне врзалось в память его лицо – весёлое и очень тёмное. Хотя на двух довоенных фотографиях он был изображён белокожим мальчиком с чёрными, словно карандашом выведенными бровями. Очень красивый был мальчик.

– На войне солнце, – пояснил он. – И я пропёкся, как блин.

Я сразу же представила себе тот вкуснейший блин, истекающий маслом. Потому что блины были лакомством похлепце всяких сегодняшних тирамису и «Рафаэлло». Блин на столе мог появиться, например, в день моего рождения, на Новый год. И наступало счастье. Я до сих пор люблю этот волшебный праздник, потому что, кроме блинов с брынзой и золотистыми шкварками в нетопленной зале радостно пахло хвоей и маленьким мандарином, который висел возле самой звёздной макушки по соседству с длинной конфетой, обернутой в прозрачную бумагу и опоясанной блестящим красным кантом. На нижних ветках светились золочёные орехи и шары, которые мама доставала из заветного ларца с красной бархатной подкладкой. На нём рельефно выступали фамильные буквы Ф.И.Р... Ларец запирался на диковинный замок, который мелодично звенькал, если проворачивать в нём тяжёлый ключ с извилистой бородакой.

Мама не была сельским жителем. Она выросла в потомственной семье очень уважаемых волжских мещан, ходила в дорогих шубах и туфлях на высоком каблуке и, наверное, если бы не война, никогда не оказалась бы «на Украине» – как тогда говорили. И уж, конечно, не мотыжила бы наш маленький огород, на котором почему-то, кроме лука и крохотных, с детскую головку, арбузов, ничего не вырастало. А десяток поднявшихся вилок капусты, которыми мама гордилась, однажды срезали проходившие мимо солдаты. И я помню, как горько рыдала она из-за этой капусты, потому что впереди была зима, а мы весной лишились даже кота с редким именем Кот. Он был костлявый и наглый. Он истошно орал, требуя еды, и лез на стол, больно царапаясь. Не помню кто – мама или бабушка... А может, даже я смахнула его, и он упал. И больше не поднялся. Я долго плакала над его холодным тельцем и гладила потускневшую шёрстку, но изменить уже ничего не могла. Весной у нас подохла и супоросая свинья – похоже, заболела чумкой. А бабушка, которую, чтобы она не оставалась одна, мама тоже вывезла с Волги в Украину, умоляла дать ей ту свинью съесть. Но мама не дала, она закопала её в дальнем углу огорода, потому что боялась заразы.



И обиженная бабушка, пока мама была на работе, собрала документы, набросила на впалые плечи свой роскошный пуховый платок, забрала смену белья, серебряный подстаканник с серебряной ложечкой – и отправилась в Овидиополь, в Дом престарелых. Она верила, что так будет лучше. Она не прожила там и месяца. Мама даже не успела её оттуда забрать.

– Знай, Любаша, придёт время – и у всех на столе будет много хлеба, – заверял меня мой приятель, безногий инвалид дядя Петя, который казался мне дремучим стариком из-за щекотливых усов, пиками торчавших на его скуластом лице с весёлыми голыми глазами. Ресницы вместе с ногой он оставил на фронте, когда горел в танке. Дядя Петя всегда угощал меня семечками и вкусными грецкими орехами. Своих детей у него не было.

– Хлеб будет белый и пышный. Ты любишь белый хлеб? – спрашивал дядя Петя, и весь его вид каким-то совершенно нелогичным образом убеждал: да, так будет!

Я не знала, что такое «белый», потому что дома в основном была мамалыга, а хлеб, вовсе не белый, а чёрный, причём тяжёлый и липкий, как замазка, выдавался по какой-то разнарядке – то ли как паёк, то ли как-то иначе – в виде ломтя величиной в ладонь, кажется, один раз в месяц.

... Совершенно не знаю, как он распределялся. Помню только, что однажды, получив такой ломоть, я, пока шла домой, почти весь скормила его какому-то несчастному голодному котёнку, и бабушка, которая в то время ещё жила с нами, взяла вину на себя. Сказала, что это она не удержалась и съела его. Мама бессильно ругалась, а я забилась под стол и, роняя слёзы, молчала. Бабушку было жалко, но признаться я так и не решилась.

Впрочем, кроме новогодних праздников, были и счастливые дни, когда к нам приходил папин брат дядя Юра. Он был широкоплечим и большим, в распахнутом бушлате, под которым виднелась форменная матросская рубашка с полосатым морским воротником гойсом, лежавшим на его плечах как мантия. Он брал мою ладошку в свою огромную лапу, и мы отправлялись на базар, где дядя Юра в компании таких же фронтовиков пил вино из большой, обитой железными обручами бочки. Звеня медалями, они ругали войну, хвалили Сталина и клялись, что никогда больше не допустят слабых границ.

– Хочешь мира – готовься к войне, – шумели они и, оглядываясь на меня, испуганно прикрывались ладонями, потому что ловили себя на непроизвольном мате. И покаянно совали мне кружочки невыразимо вкусной кровяной колбасы, в которой крошки белого шпика светились, как их зубы в коричнево-карминных ртах.

Они тоже говорили о счастье. В те времена их разговоры мне не казались интересными, и многое я пропускала, отвлекаясь на собаку, которая лежала под бочкой, умильно постукивая хвостом, когда на неё смотрели. Я по-братски делалась с ней кусочком колбасы, и она, благодарно взлаивая, пожирала меня преданными жёлтыми глазами.

– Счастье – это... – неопределённо пощёлкивал пальцами дядя Юра и смущённо вздыхал.

– Два влюблённых на земле – один ангел, – уточнял кто-то из компании, помогая ему найти нужное слово. Они знали: мой дядя любит тётю Валю, а его мама тётю Валю не любит. И потому самостоятельно дядя Юра всё равно слово не найдёт. А когда много ангелов – это рай. А в раю войны не бывает.

После чего дядя Юра, сокрушённо махнув рукой, собирался домой, а я прощалась с собакой.

В релятивизме понятия счастье я пробовала разобраться уже позже, когда действительно появились и разные сорта белого хлеба – их покупали на выбор. К тому времени мой любимый дядя был уже благополучно женат на своей Валентине – кругленькой добродушной женщине, с которой моя бабушка с папиной стороны так и не нашла взаимопонимания. О счастье я думала и когда война отошла так далеко, что о ней вспоминали разве что 9 Мая. Когда папа, кроме орденских планок, надевал ещё и сурово поблёскивавшую боевую медаль «За отвагу». Счастьем светились его глаза, потому что в тот день у него появлялась возможность слиться с тем объединяюще-счастливым «мы», которое уже на следующее утро опять распадалось на отдельные «я», напоминая о себе лишь глухой болью в затылке и висках. И он опять рассказывал свой бесконечно повторявшийся сон о голубоглазом немце, своим сверстнике, которого ему пришлось собственноручно заколоть штыком, потому что иначе тот заколот бы его. Ему те испуганные синие глаза, смотревшие на него с мольбой и почему-то всё-таки с прозрачной надеждой, снились всю жизнь. Тогда мама молча ставила пластинку с заезженной аналгетической «Славянкой» – только «Славянка» была способна вернуть папин мятник в равновесное состояние.

Папе было девятнадцать, когда война застала его на срочной службе в Бресте. Я там оказалась тоже, причём примерно в том же возрасте, только уже по работе. Я долго бродила по развалам кирпичных казарм, тогда ещё не восстановленных и хранивших память о первом дне войны. «Умираю, но не сдаюсь» – уже слабо, но всё ещё просматривалось нацарапанное гвоздём на одной из стен, где запертые обслугой офицеры утром не смогли отдать солдатам приказ и приняли бой в одиночку. Многие из них оказались захороненными заживо. А кто-то, в том числе и мой папа, выбрался...



– Человек есть мера вещей, – сказал тогда мой приятель Вася Дубойский, очень к месту припомнив тезис Протагора и оставив у стены крепости ветку цветущего шиповника. Он учился в Минске на филологическом, много читал, много думал, но всё равно не знал, как по-своему выразить ответ на мой вопрос, в чём же счастье. Нам было по двадцать, все наши знания не занимали и пятой части отпущенного для них пространства в нашей памяти. Они ещё только обретали смысл и логику. Но уже тогда я чувствовала, что истина скользка, как мыло. Потому что бабка, у которой в пятнадцати минутах от пограничного города я снимала комнату, говорила: о дате войны знали даже они, жители села, причём задолго до её начала. С польской стороны часто приходили люди и сообщали о назначенном Дне солнцестояния. Но в голову это никто почему-то не брал. А в ночь на двадцать первое июня по единственной улице, из которой, собственно, и состояла Дубровка, шатались вроде бы хмельные солдаты, одетые вроде как в нашу и в то же время не совсем нашу форму. На вопрос одного из дедов, выпешдшего ночью покурить: «Сынки, чего вы тут ищите?» никто из них не отозвался.

«Утром что-то будет» – сокрушённо догадался старик и запер двери. Потому что было этих солдат слишком много для случайности. Не очень-то верили местные обещаниям какой-либо из сторон. Потому что тоже хорошо знали, как легко политики обманывают друг друга и как мало стоит пешка на шахматном поле.

Уже в шестьдесят восьмом, когда грянули чешские события, квартирная хозяйка, поманив меня в затравевший сад, среди яблок-падалыцы и старых пней разгребла кучу деревянного хлама, прижала палец к губам, скороговоркой прошептала: «Если что, сразу беги вот сюда» и откинула створку старой двери, брошенной на землю как бы за ненадобностью. Он прикрывал глубокую, похожую на погреб, яму. «Видишь – ход, он ведёт за речку. Тут и фонарик есть, и спички. Если что, беги, спасайся».

В селе уже были насыпаны про триста тысяч военнослужащих Варшавского договора с пятью тысячами танков, которые с одобрения Советского руководства вошли в Прагу.

«Если хоть один выстрел последует со стороны ваших войск, – заявил тогда наш маршал Гречко их министру обороны Дзуру, – вы будете висеть на телеграфном столбе!».

Размышляя сегодня над событиями в Донбассе, я провожу невольную параллель: в шестьдесят восьмом это ведь тоже был ответ Праге на попытку частичной децентрализации экономики и ослабления ограничений средствам массовой информации.

*«Что делать мне с тобой, моя присяга?*

*Где взять слова, чтоб рассказать о том,*

*Как в сорок пятом нас встречала Прага*

*И как встречала в шестьдесят восьмом»,*

– написал тогда поэт Александр Твардовский, сразу же отлучённый властями от всех милостей.

А ещё в одном, но уже донском, селе старушка-хозяйка, у которой я остановилась, доживала свой век в одиночестве, потому что её муж и семеро сыновей полегли в полынных степях под Ростовом. Впрочем, доживала она под мирным небом, а не под бомбами и снарядами, как старушки Донбасса сегодня. Её родные мужчины полегли за её мирное небо. Таких не вернулось тогда миллионы. Они умирали за Сталина, как умирали за Родину, потому что для них оба этих слова были синонимами. А ведь накануне Великой Отечественной Сталин уничтожил почти весь командный состав Красной Армии.

Это сейчас пошли анекдоты типа: «Бабуль, а кто такой Сталин? – А это, внученька, что твой Google: ты ему слово, а он тебе ссылку». А тогда за подобное можно было и костей не собрать. И всё-таки, заплатив большой кровью, мы победили. Не оружием победили – духом, общей суммой всех наших чувств. Массовое сознание способно создавать реалии планетарного масштаба. Приговорённые к смерти безграмотными колдунами вуду и в самом деле умирали без всякого внешнего воздействия. Уберите воображение пациента и авторитет гипнотизёра – и гипноз не подействует. Государство – всегда аппарат насилия. А великие цели с удобствами подданных совпадают не часто. Для Великих Целей нужны и личности Великие. Впрочем, и сейчас, когда уже таких личностей нет, ходит формула: «Когда русский человек чувствует свою правоту, он непобедим». А вопрос правоты, как и вопрос истины, зависит от угла зрения. «Сила в правде» – сказал герой культового фильма.

К счастью, мне не пришлось воспользоваться тем подземным ходом. Война, от которой мы были в полушаге, не началась.

Но я вернусь к Ваське. Был он длинным, каким-то ломким парнем с несколько мятущейся душой. На лице его постоянно отражались лёгкие тени, которых я, в силу противоположности своего характера, не понимала. Вот есть такое: одни во всём ищут радость, благословление Судьбы, другие – её чёрную метку. Он был из вторых. Мне почему-то всегда были интересны противоположности. Его эволюция развёртывалась от биологического вида существования к чистой психике. И страдания его происходили как от чисто внешних сил, то есть живых людей, так и, скорее всего, от тех, что он причинял себе не-

утолненным своим смятием. Это как в индийской философии, где издревле были приняты тройственные совершенствования. Что-то подобное нашей Троице на индийский лад. Но вряд ли он об этом знал, потому что, кроме программных греков, ничего из философии не читал. Не говоря о том, что он и вообще-то, скорее всего, был агностиком и просто следовал своей природе. Когда, протрясаясь в вагоне поезда несколько часов, он наконец являлся в мою Дубровку и я видела его пятерню на оконном стекле, было уже темно. Но чтобы не добавлять страданий на выразительном нервном лице, я высказывала во двор и мы, как всегда, рассуждая об истине и счастье, долго-долго бродили под спелыми звёздами. Так долго, что моя хозяйка-бабка высказывала на порог и, вглядываясь в сумерки, тихонько руталась:

– Куды ж это, холера ясна, столько гулять? Уж вторые петухи пели.

– А мне тут вот Васька говорит – счастья не бывает, – восторженно внимая звукам ночи, с готовностью откланкалась я.

Мой-то мир, в отличие от Васькиного, был прямо по Лейбницу, лучший из миров.

– У него, може, и не бывает, ему жениться пора. Ходеть, ходить, и никак. И у тебя, если завтра с работы выгонят, не будет. Вот проспишь утром и – не будет, – заверяла она меня, запирая на ночь дверь. – Спи уж давай. Утро вечера мудреней.

И была права. Хотя звёзды светились, как начищенные, и кузнечики стрекотали, будто по воздуху кто-то смычком водил.

– А я понять хочу, как вот мне в этом мире жить. Кому верить, где искать истину, – бубнил Васька, мрачно мерцая провалами глаз. – У Гашека есть трактирщик Паливец – грубиян, конечно. Но он правильную вещь выдал: – «Человек думает, что он – царь природы. А на самом деле он – дерьмо!».

Что-то не задавалось у него в учёбе. Или факультет не нравился, или профессура. А может, и то и другое, я по своему восторженному эгоцентризму не спрашивала, а он не рассказывал. Каждый из нас жил своей жизнью и своим пониманием счастья – параллельно друг другу. А две параллельные прямые, как известно, не пересекаются. И можно ведь истоптать семь железных башмаков, за семь морей сбегать и не найти ничего, если шёл туда, не зная куда, чтобы найти то, не зная что.

Куда вот, кстати, Васька потом среди ночи отправлялся, мне, как истинной женщине, даже в голову не приходило интересоваться. Женщина ведь всегда права. Она не права, только когда виновата. Но если женщина виновата – следует попросить у неё прощения. Я в те годы была счастлива без всякого повода, просто потому, что жила. Счастье ведь категория нематериальная.

Журналисты шутят: никто не врёт так, как очевидцы. Наверное, это свойство памяти. Она что-то выхватывает из глубины своего колодца и разглядывает в лупу, даже не сполоснув. Факт, который, возможно, для кого-то вообще бы значения не имел, у неё внезапно приобретает невозможный объём и краски. Он искрится и переливается, как те новогодние шары из маминого ларца. Почему-то память о несбывшемся всегда ярче и острее. Сейчас мне даже кажется, я понимаю причину хандры своего приятеля. Она ведь тоже была не вполне материальна.

Впрочем, как оказалось, и материя играла не последнюю роль. Поездив ко мне так с полгода, Васька не выдержал. «Прощай, Любовь. Желаю тебе счастья по-Соболевски», – написал он в открытке. Любовь Соболева – это я. Я долго тогда изучала его круглые букочки, дивясь их аккуратному построению – мой-то почерк всегда отличался летящими значками самой разной величины. И налезавшими друг на друга, словно они торопились объять необъятный смысл, который в них хотела заложить моя рука. Я грустила: вот и ещё один искатель истины сошёл с моей дистанции. Что-то незримо для меня кипело под крышечкой, не находя реализации, а я даже не заметила. Хотя и университет он окончил, и работа у него была не из рядовых. Правда, что всё относительно. Если проанализировать праславянское *svěstьje*, то получится *сь* – «хороший» и *цѣсть* «часть» – хороший удел, что соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости полнотой и осмысленностью своей жизни. Выходит, мой друг этой своей жизнью совсем не был удовлетворён.

А ведь припоминаю. Его лицо и носило на себе лёгкий отпечаток трагичности. Такое я иногда наблюдала у неудавшихся самоубийц. И этим он мне не нравился. Он и сам себя, наверное, не устраивал, потому что когда мы с ним бродили по городу, он разглядывал своё отражение во всех витринах. А что они могли показать? Красивого молодого человека – в молодости каждый хорош собой. Стекло не отражает многочисленных внутренних изломов.

Не одно десятилетие удерживающая первое место по количеству самоубийств, вполне благополучная Швеция насчитывает тысячи подобных молодых людей. И наоборот, у нас, несмотря ни на что, такое случается редко. Ну, разве что в последние годы появилось. С повышением уровня комфорта. Теперь ведь даже бомжи не едят суп из картофельных очистков – в «альфатерах» найдёшь и приличную одежду, и консервы, выброшенные то ли за ненадобностью, то ли по истечению срока годности. Не говоря о хлебе насущном, на который уж как-нибудь да хватит даже самой крохотной пенсии. О голоде, чтоб умирали даже домашние животные, а не только измождённые старики, как-то не слышать. Чаще это происходит



из-за пьянства да вошедших в моду наркотиков. И материнский капитал дамы получают исправно, хотя некоторые из них своими детьми в жизни не занимались. А вот, к примеру, мама после моего рождения вышла на работу уже через две недели. Вообще без всяких пособий. Не платили. Она просто обменивала свои шубы на мясо и хлеб. Да ещё подрабатывала швейной иглой. Тоже за продукты. Ни её, ни папиной зарплаты, конечно, не хватало. Ведь в послевоенной стране не было промышленности. Зато какое счастье было, когда её наградили отрезом шевииота!!! По этому поводу собрались все родственники. А в середине стола, как хозяин, возвышался огромный пузатый самовар, который папа раздувал сапогом. И в блюдечке лежала голубоватая головка сахара, которую надо было колоть ножом – чай тогда пили вприкуску. И дядя Юра вручил мне большой печатный пряник, на котором был выдавлен глазированный мишка. И бабушка принесла кутью с настоящим изюмом – был сочельник. И в зале снова пахло мандарином и ёлкой. И жизнь была просто замечательная!

Выходит, вопрос относительности существовал всегда. Только материальное переплеталось в нём с нематериальным так тесно, что не найдёшь, где начало, а где конец. Хотя восхитительный Гауди, например, заверял, что «исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях... и возникнет образ рая».

Я это к чему? Я это к тому, что у каждого в голове свой дворец. Постоянная планка координаты неопределима, и у каждого она своя. И только тот, кто у руля, тот и задаёт обществу центробежную силу. И касается это всегда отдельно взятой личности. Или группы лиц. А уж каков её удельный вес, не всегда зависит от нашего хотенья – слишком мало мы знаем и слишком непостижим человек. Так что, если смотреть шире, получится, что, не желая играть по установленным правилам и не имея чёткого представления о собственном пути, человечество само себя и загоняет в туник.

Взять хотя бы майские события 1968 года в Париже. Как весело и дружно сваливали тогда блистательного героя Франции генерала де Голля. Студентам казалось, что генерал слишком авторитарен, несовременен, да и вообще: после трёх десятилетий непрерывного экономического роста, став одним из самых высоких в мире, уровень жизни во Франции вдруг остановился. Как так? И поднялись вокруг Сорбонны баррикады, начались поджоги автомобилей. 13 мая на грандиозную демонстрацию с лозунгами «Де Голль – в архив!», «Пора уходить, Шарль!» и даже «Алкоголь убивает – принимайте ЛСД» вышли в поддержку студентов профсоюзы. И хоть последовавшие в конце июня выборы принесли генералу около 74% голосов, участь его была предрешена. Мятеж не утих, беспорядки ширились, и вечером 27 апреля 1969 года с заявлением «Я прекращаю исполнение обязанностей президента Республики» легендарный герой Франции генерал де Голль ушёл в отставку. А вскоре Франция овдовела...

Что мы видим сегодня? Теракты, уличные бунты иммигрантских меньшинств, беспорядок. Протекающие стены Лувра, метро, пропахшее мочой, в Париже не увидишь француза. Если не считать, конечно, французами арабов и африканцев, запрудивших Елисейские поля, Риволи, Вожирар и улицу Роз... В жизни как в шахматах: не удержал королеву – наслаждайся пешками. Личности, подобные де Голлю, рождаются не каждое столетие.

И повели отсчёт нули «цветных» и «бархатных» революций. Которые если что-то меняли, то лишь в худшую сторону или только перевешивали вывески, потому что те, кто шёл на баррикады, понятия не имели, что хотят и не очень-то знали, как это сделать. А передав руль из собственных рук в руки тех, кто кричал с трибуны громче всех, уже через какое-то время с изумлением обнаружили: вот вроде умирали, сражались, а побеждённые, в отличие от победителя, опять в числе лидеров по экономике. Что случилось после развала СССР. За пару десятков лет бюджет висит на трубе, цены на уголь и металл вообще обвалились. Не говоря о том, что понятие «прирост населения» давно стало архаизмом. А первое место в мире разве что по детскому алкоголизму и уровню смертности...

– И чего ты всё нагнетаешь и нагнетаешь? – возмутилась дочь, прочитав мою рукопись. – Вечный у тебя апокалипсис. Девяностые вообще были лучшими годами, масса новой информации и новых возможностей, в нулевые я весь мир увидела, и сейчас, когда приезжаю домой, эти месяцы в моей жизни самые яркие.

Ещё одно доказательство относительности. Потому что когда мы, вместо того чтобы строить, таскаем друг друга за чубы в угоду очередным кукловодам, она, живя за океаном все эти годы, знает: светлые дни бывают только на родине. Где и новогодний Дед Мороз блесит бородой ярче Санта Клауса, и свежий хлеб ароматнее. А о картошке и говорить не приходится. Картошка настоящая, без ГМО. Человек, как теплогенератор, сам вырабатывает целительную сакральную энергию. Пройдёт время, и даже в серой вате, скрывшей уродливую треногу под синтетической ёлкой, воображение найдёт блёстки настоящего снега. Энергоизбыток молодости трансформируется в грёзу, которая поддержит и старость.

Ах, не достигли мы прекрасных замков, хотя шли к ним истою, как к линии горизонта. А она всё так же отодвигалась дальше и дальше. И то, к чему мы приходили, оказывалось вовсе не похожим на то,



что виделось издали. Но мы шли и на этом пути что-то понимали, чему-то изумлялись, о чём-то задумывались. Потому что много раз ошибались, забредая не туда, куда хотели, и в попутчики брали не того, кого бы стоило. Впрочем, говорят же: не важно, куда ступить. Главное – вовремя оттуда выступить. Может, в этом и есть смысл пути?

Через много лет я случайно узнала, как сложилась судьба моего приятеля. Он уже двадцать лет, как не Васька, а отец Василий, уважаемый протоиерей одного из храмов Беларуси. Рукоположен, имеет право носить булаву.

– Счастье? – переспросил высокий старец со знакомыми тёмными глазами, в которых (наконец-то!) я видела покой и смирение.

– Счастье – это служение Богу, – сказал он строго.

Я не стала переспрашивать, что он имеет в виду под служением: чтение молитв, исполнение церковных обрядов или бесконечное делание себя. Главное, в его лице больше не читалось страдания.

Знания о мире – чёрный ящик. В абсолюте знания находится источник всякого опыта. А опыт – проявление того, что мы есть. Молодости необходимо утверждаться и тысячи истин подвергать сомнению. Это и гонит в приключения, авантюры, в пробы себя на разных поприщах. На пути гибнут тысячи. Вместе с тысячами испытанных и отброшенных истин, которые кто-то потом подымет и будет трактовать уже по своему. Материя – лишь этап в цепи бесконечных трансформаций и у каждой свой старт. Может, и необязательно прудовому мальку знать о существовании Кремниевой долины, хотя она существует и даже каким-то образом влияет на всё живущее. Мальку, пока он малёк, необходимо реализовать собственную программу и, как говорят, не лезть поперёд бабки в пекло. Каждому – своё. Этот афоризм восходит ещё к античной древности. А на самом простом, на нашем житейском уровне счастье заключается, наверное, всего-то в том, что когда мы, чтобы сварить кофе, вскакиваем утром пораньше, кто-то этот кофе нам уже сварил...

---

<sup>1</sup> Я сказал! (лат.)



# ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

## ИГРАТЬ ОЗОРНЫЕ РОЛИ

\*\*\*

ты выводишь пальцами по телу  
заклинаний ласковую вязь  
странно, ведь я даже не хотела,  
чтобы начиналась эта связь

жёлтый лист кружится за балконом,  
плавно опускается в траву  
на душе становится спокойно,  
но приходит чувство дежавю:

словно две таинственных скрижали  
в вечной тишине библиотек  
сколько раз мы так уже лежали,  
до рассвета не смыкая век

сколько душ привязанных друг к другу  
говорят во сне и наяву...  
новый лист срывается по кругу,  
чтобы плавно падать на траву

\*\*\*

какую волну ты слушаешь сейчас в полумраке душевной комнаты?

когда-то мы настраивались на одну частоту и слушали треск. он казался нам волшебной музыкой...  
музыкой, которая отведёт нас на глубину, где никто не достанет,  
где никому не придёт в голову беспокоить нас, искать нас.  
а если и придёт,  
то голодная пучина тут же защитит нас, проглотив суету и невежество

что ты видишь сейчас? десяток пиджаков на покосившейся вешалке обнимают выводок рубашек разного цвета и породы. ты представляешь, как они всем семейством отправляются на прогулку в ближайший сквер и смеются, воображая выражения лиц случайных прохожих. без меня.

а может быть, твой взгляд обращён сейчас внутрь, где темно и страшно. там только боль и разочарование, сырость и бесконечные потери. там звучит музыка, но она никогда не может ни согреть, ни усыпить. кто обнимает тебя, кто делит темноту твоей детской пополам, чтобы через пару часов ты мог просто сидеть за столом в кухне с чашкой чая?

о чём ты думаешь сейчас? что там, куда ты направляешься, тебе не понадобится ничего из этого, потому что дорога твоя вечна и цель твоя высока?

я стою у кромки прибоя и смотрю на горизонт. волны мерно плещутся, им совершенно не интересно, когда мы вернёмся...



\*\*\*

последний пароход отправится с причала,  
очертят облака его далёкий курс  
останутся лишь те, которых укачало,  
пока сквозь сон слюна во рту меняла вкус

спипаются глаза под тяжестью одеяла,  
застенчивый дымок ползёт от камелька,  
но утром как всегда их выведет из зала  
не знающая сна дарителя рука

лежать на берегу красавица невеста  
останется одна в растерзанной фате,  
останутся стоять старинные поместья  
порталами эпох, убийцами людей

последние лучи сбегут из колыбели,  
и память уплывёт за ржавый горизонт  
останется туман и жёсткое похмелье  
закончится резон  
закончится сезон

\*\*\*

срывается печать  
и время отвечать,  
как шёлковый платок,  
сползающий с плеча,  
и надо бы причал,  
и некуда молчать,  
но хочется начал,  
и просится матчасть.  
и хочется не мчать,  
как хочется не мчать...  
последняя сестра  
отправилась в санчасть...  
но сколь не горяча  
привычка посвящать –  
прощаться и прощать,  
прощаться и прощать.  
и пусть не перечить  
по осени курчат –  
прощаться и прощать,  
прощаться и прощать

\*\*\*

ещё осталось по полста  
на дне столичной,  
ещё осталось полпуста –  
всё так циклично

как кириллическая вязь  
в тетрадной клетке,  
звезда горячая зажглась,  
пророчит лето



на бортовой панели дня  
горит тревога,  
пилот запутался в ремнях,  
взывает к богу

и по спидометру несёт  
ядро рассвета,  
но вот беда – слепой пилот  
не видит это

\*\*\*

*... Чем ближе мы подходим к тайне,  
тем легче мы проходим мимо.*

В. Павлова

окурок, падающий в воду  
кипит последней струйкой дыма  
вот так же и любовь уходит  
из нами некогда любимых

очередная сигарета,  
зажечь трясущуюся спичку  
пока ещё в разгаре лето  
и шелест трав, и гомон птичий

пока ты смотришь, не мигая,  
сквозь аметистовые клубы  
как я хмельная и нагая  
в дыму тебя целую в губы

как я, не стряхивая пепла,  
тебе всю ночь стихи читаю  
как наши чувства только крепнут...  
а сигарета тает. тает

#### СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ

было бы два сердца у меня: одно из стекла, другое... пусть из металла  
и как в анекдоте про русского и два шара –  
я бы одно разбила, другое бы потеряла.  
и никому бы это в общем-то не мешало  
было бы две жизни у меня – два ежедневника без календарных знаков,  
я бы исполосовала их, исписала  
и посвятила бы оба тебе, однако  
черновики уже взрываются под одеялом  
утро смеётся, вытряхивает из головы опилки,  
напоминает, что все мы здесь – лишь попутчики  
я посвящаю тебе очередную бутылку  
только я её не осилю – допьёшь при случае?



\*\*\*

никто никому ничего – ни до... ни после  
прости, но сегодня со мною ложатся мысли  
узорчатой памяти дряхлый печальный ослик  
отослан из города, изгнан, забыт, отчислен

прости эту хворь, что нещадно съедает время  
прости эту хтонь, эту ноту всегда смурную  
вот брошу курить, образумлюсь, уеду в Бремен.  
и там лишь пойму как бешено ты ревнуешь

никто ничего не скажет, и это важно  
мы будем и дальше играть озорные роли  
мы встретимся вновь и закрутим с тобой однажды  
узорчатой памяти грустный видеоролик

\*\*\*

он нормально не спит ночами –  
просыпается каждый час  
переполненный ржавый чайник  
задыхается на плечах

а её не поднять хоть тресни,  
канонадой не растолкать  
ей бы где-нибудь в тихом месте:  
книги, музыка да кровать

в мясорубке людского шума,  
под надзором ночных огней  
он и близко не мог подумать  
что увидится скоро с ней

и она под гудок трамвая  
доедает десятый сон,  
а потом целый день гадает,  
из какого явился он?

а бессонница ломит тело,  
заставляя лежать пластом  
дело плохо, но он несмело  
умостится с пером за стол

в каплях воздуха между строчек,  
в аромате сырого мха  
ей неясный приснится почерк,  
призывающий сквозь века

возвращаясь домой отважно  
напрямик через старый парк,  
он бы встретил её однажды  
со знакомой книгой в руках

но прошёл бы, как будто призрак,  
не рискуя поднять глаза...  
романтическая реприза  
не способна заполнить зал



и опять не уснуть, светает  
до обеда опять не встать  
нет, она его не читает  
нет, не стал бы он ей писать

### СКВОЗНОЕ

назови меня морем –  
я волны оставлю в залог  
приходи на меня посмотреть,  
надышаться прохладой  
назови меня морем  
и мой  
неразборчивый  
слог  
донесёт до тебя  
позабывтые ухом рулады  
назови себя солнцем –  
ведь это простая игра,  
и пока мы играем в неё –  
ничего не случится...  
засыпать с Посейдоном,  
проснуться в объятиях Ра  
на немыслимой скорости  
в мчащейся колеснице...  
не посмеив погрузить  
в полусонное тело воды  
свои жёлтые пальцы,  
не веруя в силу заката,  
на рассвете ты выйдешь,  
оставив серебряный дым,  
обожжённым осколком,  
диктующим сроки и даты

# ВЛАДИСЛАВ КИТИК

---

## ...ЛУЧШЕЕ СБЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС

\*\*\*

Послушай город, словно отчий зов,  
Крадущуюся поступь сквозняков  
В его подъездах, сочное арго  
Базаров, криминальное танго  
Листвы, вшитавшей горечь октябрей  
И горловое пенье сизарей.  
Послушай город, облечённый в смог  
Истории, её высокий слог  
На мостовых с улыбками подков,  
Порт, что пыгает мускулы бортов,  
Нетрезвый шепоток смуглявых нищ.  
Как собиратель звуков ты – услышь  
Кардиограмму лестниц и шагов  
По лестнице. Молчание мостов,  
Кариатид, что держат край луны,  
Шум в сердце тех, кто родиной больны,  
И отголоски давних голосов  
В гербарии сменённых адресов.  
И муку тех, кто там, в чужом краю  
Услышь как город и как боль свою.  
Чем больше лет, тем ближе нам они.  
К витку ракушки охровой прильни:  
Там эксцентрично свернута в спираль  
До хруста в пальцевых костяшках даль  
Кварталов детства, скверов и округ.  
Ты слышишь? Каждый звук – любимый звук.

\*\*\*

Всё, что выше нас – это высь.  
Были б наши глаза открыты,  
Мы бы знали, как там срослись  
Наши чаянья и орбиты.

Чужестранцы в раю земном –  
Ловим ветер над пепелищем  
И друг друга не узнаём.  
И пока не узнаем – ищем!

Что застигнутым здесь вдвоём,  
Нам присудит закон незримый:  
То ли вышлют за окоём,  
То ли в небо опять низринут?



\*\*\*

Что имеешь – то и носи,  
 На плече натирая кожу.  
 По-кошачьи урчат такси.  
 Ветру лужица корчит рожи.

Замыкает трамвай маршрут,  
 И глаза у рассвета мокнут.  
 Если могут, любовь не ждут,  
 Или следуют... если могут.

Альтер эго, фатум, фантом, –  
 И не в том она, и не в этом,  
 Открываясь и в этом, и в том.  
 Раздарив обещанья лету,

Переулки водицу пьют,  
 Гулят над конопатым просом.  
 Если могут, любовь дают.  
 Если могут – её не просят.

\*\*\*

Почтовые ящики нам заменил интернет.  
 Ужасся словарь, и почти не осталось газет,  
 Разбросаны камни, и для созиданья – камней  
 Почти не осталось.  
 Как тени в театре теней,  
 Слова потеряли значенье, отбились от строк,  
 Отправились по миру, сделались сыпью дорог.  
 А жгучесть глагола, питавшего, как молоко,  
 Забылась легко. Но о ней вспоминать нелегко.  
 Свобода грешит лобовым откровеньем курка,  
 Чтоб был ты всегда наготове свалить дурака,  
 Прикленить улыбку, сплясать на плацу торжества.  
 Слова не казнят, но прессуют потом – за слова.  
 То тесно, то зябко им в разноголосой стране.  
 Коня бы! Но нет его. Как теперь быть на коне?  
 Скакать бы, найти свято место... А там – пустота.  
 И мог бы искать, и не можешь другие места.

\*\*\*

Тучка сверху, крыша снизу,  
 Свист крылатый в синеве,  
 Между ними голубь сизый,  
 День вчерашний в рукаве.

Волны лодочку колышут,  
 По воде идут круги.  
 Писем более не пишут,  
 Как от сердца, – от руки.



Торг ведёт быльём старушка:  
 Как в музее, у неё  
 Покупаю непрольюшку<sup>1</sup> –  
 Трёхгрошовое старьё.

Что забыто – то не мило,  
 Счастье помнится само.  
 Обмакну перо в чернила  
 Напишу тебе письмо.

Вышла в сторону заката,  
 Номер дома – вся земля,  
 Ведь письмо без адресата,  
 Словно лодка без руля.

Может, встретимся однажды, –  
 Не на век, так на часок.  
 Ты на краешке бумажном  
 Черкани мне адресок.

<sup>1</sup> непрольюшка – чернильница.

## ХАДЖИБЕЙ

### 1.

Спит на боку разошедший баркас...  
 А больше ничего не происходит.  
 Лишь солнце, раскалив пустой лабаз,  
 Издержки жизни, как чернила, сводит  
 В амбарной книге.

Лишь с кормы баклан  
 Глядит в зенит, как часовой погоды,  
 И потерял от лености лиман  
 Счёт датам и волнам.

Рыжебородый  
 Мыс направляет очевидцу в глаз  
 Цветной стекляшкой отражённый лучик. –  
 Или подковой, что носил Пегас? –  
 Всё лучшее сбывается сейчас.  
 И незачем печалиться о лучшем.

### 2.

К лиману солнце катит скарабей,  
 И отражают зыбкие скрижали  
 И непрочтённый подлинник степей,  
 И свод небес, исчерканный стрижами,

И то, что все мы – в челноке одном,  
 Чего не скрыть из добрых побуждений.  
 Как рыбаверху брюхом –верху дном  
 Всплыл омут лет для новых воплощений.

Как ощутить воды зелёной сонь  
 Без верной лодки в мареве солёном,  
 Что мокрым носом тычется в ладонь,  
 Как на крыльце кутёнок несмышлёный?





Я знаю, жить не может красота,  
Не прибавляя к радости печали,  
Сангиной сентябрю сводя с куста  
Дни, что прошли и нас не подождали.

Уже не жалко: было и прошло,  
Как память до десятого колена.  
Уже не жарко: тихо и тепло.  
И, несмотря на всё, – проникновенно.

\*\*\*

Как фото просроченной ксивы,  
Теряющей сходство с владельцем,  
Обшарпанный дом, но красивый.  
Амурчика пухлое тельце  
С отбитой кудряшкой из гипса  
Над стенкой, заигранной в жмурки.  
Раскрошены осени чипсы,  
Отпав шелухой штукатурки.  
Он ждёт возвращения хозяйки.  
Сквозь время он выстрелит точно,  
Сквозь двор, где кальсоны и майки,  
Закрыли гобой водосточный,  
Сквозь дым пережаренных перцев.  
...Когда-то я здесь для прикола  
Стрелу нацарапал и сердце  
Обломком, подобранным с пола.

\*\*\*

В соломенном селе Тузоры,  
Где к молоку рассвет подмешан,  
Где виделись холмы, как горы,  
Я с домовым дружил и с лешим,

Завидовал шатру Алеко,  
Хотел сбегать в дымы преданий.  
А на луку, согнав телеги,  
Стояли табором цыгане.

Сводя печаль, как бородавку,  
Беззубая гадалка Аза  
Дала мне медную булавку  
От наговоров и от глаза.

Я потерял её, мне поздно  
Сбегать, завидовать Алеко.  
А детство делает репосты  
И катит на меня телегу.



\*\*\*

Жизнь, как уставшее море, смягчилась,  
 Но навсегда мне осталось в наследство  
 Всё, что случилось и что не случилось,  
 Бремя разлуки и оторопь детства.  
 Вера в наивный оракул кукушки,  
 Прежних привычек своих отрицанье,  
 Сказочный блеск новогодней игрушки,  
 Небу моление, метели мерцанье,  
 Круг, завершавший, что было вначале,  
 Шкаф, по которому сохнут скелеты,  
 Вместо премудрости – больше печали,  
 Чтоб ощутить свои многая лета,  
 Мною не дигтая мировая  
 С мыслью благой оставаться смиренным.  
 Так по утрам каждый раз обрываю  
 С календаря день рожденья Вселенной.

### СЕНТЯБРИ

Тропа с повадкою бродяжьей  
 Ведёт к тому, о чём не чаял.  
 Рассеивает пух лебяжий  
 Небесный город за плечами.

Разбередив мирское лоно,  
 Как лес, кресты стоят рядами,  
 И, покосившись, бьют поклоны  
 Мечте венчаться с куполами.

Вдыхаю землю, как впервые,  
 И взгляд, сверлящий небо, долог,  
 И входят в точки болевые  
 Травинки сотнями иголок.

Свет литургии...  
 В летаргию,  
 За грань младенчества впадаю,  
 Откуда сентябри златые  
 Восходят, зёрна слёз глотая.

И этот синь привносит в списки  
 Оконных лужиц светлооких,  
 Далёкое поверив близким,  
 Чтоб *не* быть близкому далёким.

Так надо мной они кружатся  
 За то, что их не покидаю,  
 В серп, истончающийся жатвой,  
 Свою растягивая стаю.

# ИННА КВАСИВКА

---

## С ИСКУСНОЙ ЛЁГКОСТЬЮ СОВЫ

### ЗИМА И ЧАЙКА

Холодный берег голодно кричит,  
у водной кромки густо оперившись,  
не чайка замирает на перилах  
пустого пирса, словно за крючки  
дурных воспоминаний зацепилась,  
но ты; искала море – и мерило  
людского сожаления нашла.

За свежий мякиш вольные на шаг  
стремительней становятся и ближе,  
так пылко волны птицам лапки лижут,  
что кажется: и буря здесь нежна,  
и мёртвые медузы больше слизи,  
и я себя чуть меньше ненавижу  
за то, что так отчаянно бела.

Загаданная вьюга не сбылась,  
но вместо снежных – птичьи карусели  
вокруг меня замкнулись и взлетели  
к огню, где поднимаются хлеба  
горячих облаков и карамелью  
стекает солнце; милая, смелее –  
давай вкушать с насущным и рассвет!

Да не нарушит мрачная завет  
воды со светом в явной благодати  
первоначальных таинств, не заглядит  
свою вину и волны льдом, а ведь  
морозы ей ко времени и к стати,  
но заклинаю небом: Бога ради –  
не кисни, будто южная зима!

Пусть море чайкам служит, как слезам  
служила ты, – давая плеск и волю,  
пусть берег слышит нас, когда мы молим  
впопалосу о помощи, слизав  
песчинки с мокрых губ и привкус соли,  
и воскресает шторм – не всё равно ли  
не верящим в спасительный покой?

Не искушить уныние скупой  
улыбкой февралю, невыносимо  
смотреть на птиц, платящих серым зимам  
за крошки белой роскошью, какой  
и в первом снеге нет; пока по силам  
тебе дышать, бескрылая, во имя  
моей зимы, прошу: ещё живи.



## ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Здесь и сейчас каждый праздный почти поэт,  
 всякому богомольцу своя невеста,  
 новым гулякой расшит мой Господь, распет,  
 дитятком не судим – на груди повесят.

От Рождества до Пасхи и даже после  
 день искушаем ночью, как Пётр апостол,  
 солнце, с крюка срываясь, уходит в муках  
 и воскресает – только протянешь руку.

Здесь и сейчас я не славию ничьих побед,  
 в жертву которым – зуб или око, снова  
 вместо Саула за попранный им обет  
 волей-неволей платят сыны Иова.

От синагог до храмов многоголосых  
 братьев земля прощает, как сам Иосиф,  
 нищие духом кротко ложатся в ямы –  
 и обретают царство над облаками.

Здесь и сейчас на скамейке и под скамьёй,  
 волхв получает дар без Христовой меры,  
 не оттого ли ты, сжавшееся комком,  
 иглы топорщишь, веруешь и не веришь?

От искушённых миром – жрецы – до смирных  
 жаждут священной власти, как идол Симон,  
 крыльями мантий чёрные херувимы  
 губят чистосердечных, да не судимы!

Здесь и сейчас я –  
 всего лишь недопоэт,  
 мёртвая зыбь на холодном «ни да, ни нет»,  
 свежая кожа для камуфляжных ножен,  
 ноль, пустота –  
 не поделишь и не умножишь.

\*\*\*

Как бы слабо сердце не стучало –  
 это (вопреки первопричине)  
 не конец и даже не начало  
 твоего пути, пока не кинут  
 на спину последний вьюк.  
 Ручаюсь –  
 лучше быть верблюдом,  
 чем пустыней,  
 корольком под крыльями орла,  
 нежели раздетой догола,  
 взятой и униженной вершиной.



\*\*\*

Скорее станешь перегноем,  
чем самого себя простишь,  
но каждый нерв, который ноет,  
как одиночество в изгое,  
излечишь верой;

Прост и тих  
твой век. Тебе ли быть голодным  
до жизни? То не облака  
плывут по небу – в белых лодках –  
все те, у чьих портретов кротко  
слова роняешь.

Обласкав  
родную боль, срастёшься с ней и,  
как могильный сторож-крест,  
расправишь плечи и коленом  
вожмёшься в землю, не жалея  
себя и времени.

Проест  
весна пуховые папахи  
сутробов через п-дцать дней  
и ты, как выросший из праха  
цветок, опять получишь право  
на жизнь и торжество над ней.

#### ВЕРШИНЫ, ВПАДИНЫ, ХОЛМЫ

Вершины, впадины, холмы...  
Читай рисунок  
сердцебиения лесов по горизонту.  
Туманный кокон проломив,  
покинув сумрак,  
гора воткнула жало в небо.

У озёрных  
глубин ли амфоры с вином,  
подобным илу,  
вбирай рассвет из чёрных глаз  
утрюмой птицы –  
она бесшумно как фантом  
соединила  
в полёте явное с иным.

Худые лица  
старушек-елей в бахrome  
платков зелёных  
ищи за облачной резьбой небесных ставен.  
Многообразием примет  
и сказок словно  
застлало утро тихий бор.



Как дышат камни  
в ловушках чудищ моховых,  
от безнадёги  
слезоточа ручьями пенистыми,  
слушай.  
С искусной лёгкостью совы  
к речным порогам  
вдруг повернуло солнце голову.

Пастушьим  
протяжным голосом молись,  
на зов трембиты  
таким же зовом безграничным  
откликаюсь.  
Над лутом, будто исполнил  
за миг до битвы,  
труба, ревя, приподнялась.

На гребне кайся.  
Во рваной мантии утёс  
под хлыстом ветра  
оцепенел, как цепенеет смертник  
только.  
Где глыбу каменную тёрн  
украсил цветом –  
там ты – и влага лепестка,  
и меч иголки.

#### СОЛГИ МНЕ, МОРЕ

Бескрыло небо.  
Море у причала  
стоит, набрав луны холодной в пасть.  
Но время начинает всё сначала  
и волны поворачивает вспять.  
Солги мне, Море, что твоё начало –  
в глазах монх, чтоб между берегов  
меня дорожка лунная качала  
и веки погружали в лунный ров;  
что тьма на дне зрачков и пальцам  
на ночь  
не нужно пить ресничную росу,  
что разорвался день порочный напрочь  
и я свой сон спасательный нес.

#### ОТ ОГНЯ И ВОДЫ

От огня и воды не зарекайся.  
Не боясь ни тюрьмы, ни сумы,  
воздают божки по вере каинам,  
ищут авелей для чумы.

Ты – китом проглоченный – не Иона:  
смерть во чреве предрешена.  
Жизнь равна большому аукциону,  
Лот ушёл, умерла жена.



И пророк бежит без оглядки, зная  
силу огненного дождя,  
но солдат волочит чужое знамя  
и стораёт не уходя.

Расцветают дети в садах Гоморры,  
их живьём на горе Содом  
в соляной обители похоронят –  
за паломническим столбом.

Чашу пепла выльет больная спичка –  
сотвори из неё ковчег,  
чтоб по морю мёртвых скользить по-птичьи  
и по-рыбьи молчать вовек.

### КОЛОКОЛА

Остуди, звонарь, колокола.  
Бьёт огонь во все моря, но вовсе  
не его плавучая зола  
делает из нас седоволосых.  
Пусть мы – одомашненная дичь,  
заживо проглоченная печью –  
не она терзает нас, почти  
обращая на чёрносердечных.  
Отбели, звонарь, своих овец.  
Обели прикормленного волка –  
чрево есть начало и конец  
в колокольне рёбер пустозвонких.  
Нам тонуть в аду, гореть в глазу.  
От ребра и до ребра ладони  
проходя свой путь, хромать на зуб,  
медью душ в руках твоих трезвонить.

### ШЕЛКОВИЦА

От манящей ягоды до кляксы –  
взмах крыла июльской шелковицы,  
там, где вечер жгуч и ветер ласков,  
кормит малых птиц большая птица.

Голова её склонилась набок,  
будто хочет веткой солнце клонуть –  
солнце в кутерьме чернильных лапок  
дарит сладкий сок чернильным клювам.

Расправляет птица зелень перьев  
и роняет ягодные слёзы,  
ты пройдёшь впервые, но не первым  
по земле запятнанной и скользкой.

И пером случайным голубиным  
от тоски чернила эти тронешь,  
словно те – небесные глубины,  
словно ты – трепещущая крона.



Но когда сторгят шелка заката  
над листвою плаксивой шелковицы –  
я уйду на небо безвозвратно,  
чтобы тоже птицей притвориться.

### РЖАВЧИНА

Ноябрьская ржавчина разъела  
последнюю листву плешивых клёнов –  
так искрой освящается бумага.  
Здесь осень, тёмнонёбый Азazelло,  
гнусавит с морем исподволь и вдоволь  
дождём плоёт за шиворот зевакам.

Недавно эти самые деревья  
качали звёзды, пальцы растопырив, –  
по зелени ладоней плыли звёзды!  
Мы верили их трепету, не веря  
хмельным запевам берега в порыве  
чужой весны – неизлечимо поздней.

Скажи мне, вездесущий Азazelло,  
чья скука обрывает маргаритки,  
когда искрятся винные закаты?  
Аллея рыжелистая разделась  
и мастером тепло её сокрыто  
в бутылочных глубинах безвозвратно.

Разбились на зеркальные осколки  
подсолнечные ливневые стены,  
но город смотрит зло из каждой лужи.  
Нам не за чем укрыться, разве только  
искать ночной приют, стекая тенью  
фонарного столба во тьму поглубже.

Волна котом лощёным чернохвостым  
запрыгнет на песочные колени –  
и мы её покоя не нарушим.  
Так смертью очищаются подмостки  
больной души, как ржавчиной болеют  
резные разлинованные души.

### ОСЕННЕЕ

Город несёт околесицу,  
дует в уши,  
лиственный зов  
опускается на скамейку.  
Сонное солнце колеблется  
на опушке  
шапки, сползает на бровь  
и опять – под веко.





«Неудержимая дрожь  
растревожит воду,  
освободив пруды  
от глухой дремоты.  
Где ты покой найдёшь?  
Осень за нос водит  
всех, кто собой судим  
и тоской измотан».

Ветер плывёт над кронами  
по-собачьи,  
жёлтые брызги  
падают на ботинки.  
«Письма следов нетронутых  
распечатай:  
ночь уже близко,  
жребий закатом кинут».

В ряд фонари  
раскрывают хвосты павлиньи –  
перьями света  
я обрастаю тоже.  
«Сон, повторись  
во мне и меня помилуй,  
чтобы лукавый ветер  
не растревожил».

\*\*\*

Я тебя – возлюбленного прежнего –  
искупила чревом навсегда.  
Вот кораблик губ твоих и режутся  
зубы цепью якорной. Вода  
тоненьких волос течёт размеренно  
по твоей песочной голове.  
Я тебе тогдашнему поверила,  
каждой мышцей веры отболев.  
Нынче я у ног твоих младенческих,  
ты опять у сердца моего –  
пуповиной намертво обвенчаны  
и омыты первым молоком.  
С карусельных рук сползая, вертись  
и жуешь губами «мА-мА-мА...»,  
обречённый мной же на бессмертие  
в той, кто нас не делит пополам.

# БОРИС БЕРЛИН

## КОТЁНОК ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЁМ рассказ

– Сердце – это ведь всего-навсего мышца, – произнёс профессор кафедры судебной медицины Ч. и прикрыл глаза.

Круглый такой, крепкий, с густым, седым ёжиком волос, запрятанным под белую накрахмаленную шапочку, и ангельским выражением лица, не оставлявшим сомнений в гнусности его натуры. Но Ч. в моём рассказе настолько незначительное место занимает, что не стоило бы о нём упоминать вовсе, если бы в этот сентябрьский день я впервые не заметил Сашеньку.

То есть я, разумеется, видел её и раньше, но обычно, внешним зрением, снаружи, а так, чтобы внутренним, когда раз и вздрогнёшь... И сердце, которое, оказывается, есть хоть и не более, чем мышца, вдруг замирает на одну крохотную, бесконечную секунду, и я даже не успеваю понять эту огромную, наставшую пустоту внутри, как оно снова бросается в погоню: бу-бум, бу-бум, бу-бум...

Такого не было никогда, клянусь.

Она, Сашенька, была самая младшая на курсе, потому что закончила школу экстерном, на два года раньше сверстников и, стало быть, ей к началу третьего курса не исполнилось даже полных восемнадцати лет. К тому же она была такая миниатюрная, розовощёкая и когда улыбалась, а улыбалась она всем и всегда, невольно хотелось улыбнуться в ответ – маленькая ведь совсем, можно сказать, ребёнок. А вот почему именно в тот день я на неё внимание обратил и увидел вдруг совершенно по-новому, не так увидел... Только сейчас, оглядываясь назад, понимаю: улыбки на её лице не было. И щёки её были не розовые, как обычно, а мраморные, а взгляд был обращён не на мир вокруг, а в себя, вовнутрь, на видимое только ей одной, да с таким затаённым отчаянием, что смотреть на это... Невозможно было на это смотреть.

В общем, после лекции подошёл я к ней, задал какой-то вопрос, она ответила невпопад, не глядя на меня, даже не посмотрев. Как можно, в другой раз обиделся бы на неё, а тогда, понимаете, просто жутко стало. Видно же: горе у человека. Смотрю, глазам не верю – она на этого Ч. уставилась, взгляд отвести не может, а ведь более незначительной фигуры для моего рассказа и выдумать невозможно. Это я, Ладо, вам говорю.

Но только это жизнь была, а не рассказ. Ч. быстро прошмыгнул от кафедры к выходу, на ходу запихивая бумаги в портфель, а она, Сашенька, вдруг кинулась ему наперерез и ломким таким голосом:

– Сергей Петрович...

А его уже и след простыл. Может, не услышал, а может, вид сделала.

Домой её в тот день я отвёл. Просто взял за руку и повёл, и она пошла. По лицу её текли огромные, как лесной орех, круглые молчаливые слёзы, на которые я, мужчина, старался не смотреть. Потому что не мог. Пришли домой, она с бабушкой жила, у которой комнату снимала, передал с рук на руки, а завтра, сам не знаю почему, ждал её утром около дома. Так мы и стали ходить вдвоём, можно сказать, дружить. Потому что маленькая она совсем была, а как же иначе?

Сначала она молчала больше, улыбалась редко, как раньше, вообще никогда. Ну, а потом куда деваться, стала привыкать ко мне, уже не стеснялась, не вздрагивала, когда я до неё дотрагивался или в щёчку её бархатную чмокал на прощание. Она для меня почти как младшая сестра была, понимаете? Почти. Да. А потом рассказала – всё, как было...

А было всё как раз обычно совсем, как всегда бывает с провинциальными девочками, приехавшими в столицу учиться. Да и сама она была обыкновенная, хотя об этом мне трудно судить. Уже трудно. И сейчас, когда думаю о ней, сердце колотится, а уж тогда... И ещё почему-то казалось, что дом этот, в котором она жила – наш с ней дом. Будто к двери подхожу, вставляю ключ с бороздкой по краю



в скважину и бесшумно так дверь открываю, а за дверью она, Сашенька, меня уже встречает и в глаза мне заглядывает: что, мол, соскучился? И ластится, и прижимается ко мне вся целиком, и подходим мы с ней друг к другу, как этот самый ключ с бороздкой к фигурной замочной скважине.

Сумасшествие, понимаете? Форменное сумасшествие.

– А почему ты вчера со второй пары ушла? Сказать можешь?

И сразу взгляд исподлобья, ощетиливается, как ёжик, а ведь только минуту назад шла рядом, только что не вприпрыжку, и щебетала.

– Надо было.

– Между прочим, через неделю зачёт.

– Знаю, не маленькая. Нечего меня опекать.

– Как не маленькая? Как раз маленькая ты, – я поворачиваю её лицом к зеркальной витрине магазина. – Девочка ещё совсем. Разве сама не видишь?

На нас смотрят из витрины худой долговязый парень с густыми чёрными волосами и она, Сашенька – мягкий рот, нежный овал лица и это покорное выражение глаз...

Она высвобождается движением плеч и смотрит на меня.

– Ты и вправду считаешь меня такой несмышлёной? – её нижняя губа дрожит от обиды – вот-вот заплачет. – На самом деле?

– Э-э-э... Что, пошутить даже нельзя? Сразу обижаешься, да? Знаю я, что ты на курсе самая умная, одну тебя в пятнадцать лет в институт приняли, больше никого, да? Знаю. Но волнуюсь я за тебя, я как бы за тебя отвечаю, понимаешь? Перед собой, перед тобой, перед всеми. Кто я тебе, скажи? Друг.

Сашенька послушно кивает и снова улыбается, а потом, через минуту уже, опять хмурится и задумывается.

– Сашенька, когда ты так смотришь, у меня появляется желание сделать харакири.

– Харакири – это у японцев, а ты грузин. И ты всё время надо мной смеешься.

– Честное слово, нет! Когда я над тобой смеялся? Если кто-нибудь посмеет над тобой смеяться, только скажи, я и ему харакири сделаю. Ты не думай, у меня кинжал есть, настоящий, мне его дедушка подарил, отец моего отца, когда мне двенадцать лет исполнилось. Очень красивый и очень острый.

– Ты такой хороший, Ладо. И что бы я без тебя делала, просто не знаю. Ты лучше всяких подружек. Как ты думаешь, я ему на самом деле нравлюсь, а? – она снова хмурится и указательным пальцем крутит локон.

– Са-а-а-ш-а-а! Опять?

– Опять, да, опять... Я, вообще-то, совсем не это спросить хотела. Чего сразу кричать-то?

– Не кричу я. Мужчины вообще не кричат, потому что мужчины. Спрашивай, ну?

– Ладо, – она морщит нос и задумывается, – я не знаю, как сказать... Ну вот, правда, что есть такие люди, которых обижать всё время хочется?

– Как это – всё время обижать? Не понимаю.

– Попробуй вспомнить, может, встречался тебе такой человек, не то, чтобы враг тебе или раздражал сильно – нет. Просто человек, обычный, слабее тебя, но неплохой, да, неплохой. А тебя вот так и тянет ему, ну не знаю... что-то плохое сделать, обидеть, насолить, понимаешь? Встречался, нет?

Я фыркаю и уже хочу ответить ей что-то резкое, но тут вспоминаю одноногого Гочу. Маленького одноногого Гочу из параллельного класса.

Он вместе с родителями приехал в наш город из какой-то горячей точки, у него не было половины левой ноги, вместо неё протез. Но не в этом дело. Станный был парень, то в друзья набивался, то враждовал со всеми сразу, никого не признавал. Очень был странный парень. Почему-то его всегда жалко было. Не из-за того, что одноногий, а просто. Жалко и всё тут. Может, потому, что сам он жалкий был, хоть и дрался с нами, и всё такое. А вот было в нём что-то... Как будто виноваты все перед ним, что ли. И когда за драку, в которой ему же больше всех и досталось, его исключили из школы, все вздохнули с облегчением. И я тоже. Потому что чужой. Хотя и жаль его было, конечно, но... не до конца, что ли.

И я рассказываю Сашеньке про Гочу, но она перебивает, мотает головой и слушать не хочет.

– Я совершенно не об этом! Не про «жалко не до конца». Про это всем известно, чужой – он чужой и есть. Я совсем про другое, – она останавливается и несколько секунд молчит, подыскивая слова. – Вот представь, идёшь ты по улице, холодно, дождливо, осень. И знаешь, что всего через несколько минут окажешься дома, в тепле и сытости, и про погоду эту мерзкую даже не вспомнишь. И вдруг видишь, как у стены дома, прижавшись к водосточной трубе, под проливным дождем сидит бездомный котёнок – голодный, замерзший и несчастный. И тебе его сразу же жалко. Инстинктивно, правда? Тебе его отогреть хочется, накормить, за пазуху посадить, так ведь?

– Ну?

– Я и говорю... Но даже если тебе всё равно – и так бывает – прошёл мимо и забыл, мало ли бездомных котят, всех ведь не отогреешь.

– Всех точно не отогреешь, правда.

– И тут, то ли оттого, что котёнок этот – создание божие, уж слишком жалобно на тебя глядит, то ли оттого, что ты знаешь – помочь ему всё равно не сможешь, вот тут ты этого самого котёнка со злости-то и пнёшь ногой: п-ш-ш-шёл вон, тварь бездомная. И вовсе не потому, что ты маньяк какой-то или по природе своей жестокий, нет. И не только потому, что чувствуешь своё бессилие, знаешь, что жизнь всё равно сильнее тебя. Нет, есть ещё что-то, понимаешь? Этот котёнок слишком уж жалок, слишком просящ, не трагедия, а словно карикатура на трагедию. Но и это ещё не всё. Есть в глазах у него, на самом дне, некая неприятная тебе мысль, чувство превосходства, вывернутое наизнанку: ага, вот ты идёшь весь из себя такой тёплый и всеми любимый, а я тут подохну у этой трубы, прямо здесь, и дворник утром меня дохлого подберёт и на помойку выбросит. И пусть, пусть – зато тебе мучиться этим воспоминанием всю жизнь. Не то, чтобы ночей не спать, но, как привкус такой неприятный во рту, или озноб – вдруг в жаркий день, если вспомнишь. И так тебе и надо, – она вздыхает. – И как тут ногой-то не пнуть, а? Скажи на милость?

– Ты... Ты что говоришь, вообще, а? Ты думаешь, я не понимаю, о чём ты? То есть я не знаю, о чём, но не о кошках, не о котятках. Немедленно рассказывай всё! Всё! Говори, слышишь!

Но тут Сашенька замолкает и улыбается, будто сама себе, будто что-то вспомнила, что одной только ей известно, и она никогда никому этого не расскажет.

Я ведь уже сказал, да, что было с ней всё совсем, как у всех: она влюбилась. По-детски влюбилась, безумно, то есть без ума. Правильно, в того самого Ч. – круглого, седого, хитроглазого. С точки зрения двадцатидвухлетнего грузинского парня, с моей точки зрения, в полное ничтожество. Сначала я даже верить не хотел, понять этого не мог, а потом... Потом я – Ладо – стал её охранять и оберегать, утешать тоже стал, кто скажет, почему? Я и сам не знаю, сам себе не могу ответить, как такое могло случиться. Это позже, много позже мне пришло в голову, что любил я её уже тогда. Впрочем, я и сам был мальчишкой, иначе всё могло закончиться совсем-совсем по-другому. Так по-другому, что вы бы ничего этого сейчас не читали, а Сашенька... Хотя нет, не буду я догадки строить. Что было бы, если бы... Не буду. Случилось то, что случилось, и так, как случилось.

Он был у неё первым. Первым мужчиной в её неполных восемнадцать лет. Я сейчас не об уголовном кодексе, разнице в возрасте – это ладно. Но она оказалась в полной его власти, абсолютной. Как он это сделал и почему она ему позволила... Не знаю, до сих пор не знаю, а только Сашенька буквально таяла от одного его мимолётного недовольного взгляда, только что руку не целовала. Хотя, может, и целовала. Какие секреты ему были известны, и что он сумел в ней увидеть и раскрыть? Я его ненавидел.

Он боялся всего: жены, начальства, Сашенькиного возраста – девочка же совсем, почти ребёнок – и делал всё тихо и незаметно. Один я иногда знал, где и когда они... Если она, Сашенька, просила её встретить и домой проводить. Да-да, такое тоже было, да. Говорю же: сам мальчишкой был.

Страшная штука любовь. Тогда я об этом не думал, ни о чём вообще не думал, только жалел, наверное, ну и ревновал, может, сам того не понимая. И мысли мне разные в голову приходили, ведь кинжал-то у меня в самом деле был, понимаете? И я мог его... Но и я молодой был, и Сашенька, которая уже хорошо научилась мысли мои читать, как-то раз сказала:

– Ладо, ты учти, пожалуйста... Ты единственный, кому я всё, почти всё рассказываю, потому что ты мне, как брат, и я тебя люблю. Но если ты ему что-нибудь сделаешь – не прощу. Не прощу, – и посмотрела так, как никогда раньше не смотрела. Глаза у неё почернели, честное слово. Я даже за неё испугался.

– Слушай, но ведь он изверг, зверь! Сама не видишь?

– Пусть. Значит, так тому и быть. Значит, заслужила. Ты всё равно не поймёшь, никто не поймёт и не надо.

В жизни всякое может быть. И хоть бы он умер, Ч. этот самый. Да, хоть бы он...

Утром прошёл слух, что привезли труп.

Для занятий по судебной медицине старые, профформалинные трупы не годятся, а свежие, да ещё если невыясненные обстоятельства смерти, в самый раз.

За ширмой, на прозекторском столе, лежит тело: старушка повесилась, видимо от тоски – одинокая, никому не нужная. Жизнь протекла мимо, и надоело ей жить, чтобы просто пищу пережёвывать. Повесилась.



Мы слушаем, как преподаватель объясняет про трангуляционную борозду, а я... А мне видится эта старушка. Сидит одна, глядит в окошко и думает: «Вот сейчас повешусь, а как же солнце? Ладно уж, бог с ним, пусть его светит дальше». Грустно мне стало от таких мыслей, смотрю на Сашеньку, а она... взгляды у неё такой невидящий, вовнутрь обращённый, в себя. Я к ней такой привык, уже даже и не спрашивал, о чём она думает, и так ясно было. Но вот она чувствует мой взгляд, поднимает голову и почти незаметно улыбаётся, но не мне, совсем не мне. Как же мне хочется ему...

Назавтра на лекциях её не было, вообще, в институте не было, и только вечером я узнал, что она пыталась покончить с собой. Наглotalась аспирин, еле откачали, хорошо ещё – бабушка эта, хозяйка её, вовремя вернулась и увидела, а так бы... Прибежал я к ней в больницу, она лежит в палате, лицо землистое такое, но улыбаётся и говорить уже может.

– Ладно, миленький, не бойся, всё уже хорошо. Правда, хорошо. Правда-правда.

– Какое хорошо? Откуда хорошо? Ты себя убить хотела – это хорошо?

– Я знаю, я всё знаю, что ты мне скажешь, и со всем согласна, честное слово. И что жизнь у меня ещё длинная впереди, и что детей рожать, и всё остальное. Это был просто аффект, всё уже прошло, ну поверь. Я не вру, у меня же здесь ближе тебя никого.

С трудом, но я всё-таки выпытал у неё, что произошло в тот вечер. Выпытал.

Рядом с ней и на самом деле никого ближе, чем я, не было, и пусть не сразу, она мне рассказала. А когда рассказала... В общем, случись с вами такое, и вы бы наглotalись – аспирин или чего другого, не знаю, не в этом дело. А её, Сашеньку, я не сужу, да...

В тот вечер Ч. пришёл не один, он ещё кого-то с собой привёл, какого-то знакомого, приятеля. Тот случайно однажды Сашеньку увидел, и очень она ему приглянулась. Можно сказать, всё случилось по общему согласию. Она просто неспособна была сказать ему – Ч. этому – нет. Так и лежала, глядя ему в глаза, пока не потеряла сознание от... Не знаю, как назвать, в моём языке таких слов нет, понимаете? Но, слава богу, что всё-таки потеряла.

Убивал я его медленно. Очень. Я с кинжалом с детства обращаться умею и крови не боюсь, я же с Кавказа.

Когда лезвие вошло ему под печень, он стал мне рассказывать, как всё случилось. Кинжал я так и оставил в теле, чтобы кровь вытекала медленно. Его рассказ длился почти восемь минут – столько он умирал. Он рассказал, что успел, и я, что успею, расскажу, потому что мне всё тяжелее дышать, уж больно сердце дёргается. Не бьётся, а дёргается, никогда такого не было. И душно.

– Я её... люблю. По глазам вижу: не веришь. А я люблю... Так, что даже умирать из-за этого не жаль. Ну почти. Она... Околдовала она меня... С первого взгляда, как увидел её случайно – она в деканат пришла... стипендию оформлять. И, ты снова не поверишь, знаю, но и она тоже... Она тоже... сразу. Я ничего не мог с собой поделаться, да и не хотел... Только вот ошибся, думал... просто ещё одно приключение, она же молоденькая совсем... Ты не представляешь, какое у неё... тело, и как же я его хотел. И получал... А главное: безропотность её. Я ведь, чего уж теперь, и ударить мог... По-всякому: и с любовью и без... Потому что в глаза ей заглядываю, а там, в чёрной глубине: убей меня... убей меня, только люби всегда... Я бил, обижал её, и словно легче становилось, понимаешь? Нет, конечно – куда тебе... Я потом ноги ей целовал, прощения просил... А она только смеялась и повторяла: «Ничего, до свадьбы заживет. Ведь свадьба нескоро».

И ещё. Я боялся, что надоем ей... Чего только не выдумывал, чтобы удивить, привязать к себе. Такое с ней вытворял... Лишь бы только насладить её, понимаешь? Насладить... Сделать сладко... Однажды она сказала, будто так меня сильно любит, что само удовольствие... Что оно ей уже и неважно – лишь бы мне хорошо было. А ей ничего уже и не надо... Будто и не любовь это, а другое чувство, неведомое ещё, какого и не бывает вовсе... Я, конечно, не поверил, подумал: значит, я уже не могу её удовлетворить. Старый я для неё, потому и выдумки эти... Ну и спросил: а если бы ещё мужика позвать – согласилась бы? Она поглядела так... прозрачно и говорит: «Всё, что ты хочешь. А ты хочешь всё, я знаю»... И я позвал Митьку. Хотел ей сюрприз, а вышло... вон как вышло... Потом, после всего, я её домой отвозил. Она всё время молчала, только, когда уже почти приехали, спросила:

«Ну как, любимый, тебе понравилось?»

«А тебе?»

«А я будто умерла на время, не было меня там. Но если ты так этого хочешь, зови его снова, я потерплю», – он вздыхает глубоко, не по-человечески уже, и добавляет: – Об одном... жалею: так и не понял я, неужели и правда есть такое чувство, чтобы даже умереть... хоть и на время. Может, я что-то пропустил в этой жизни?

Я сижу на привинченной к полу табуретке и сжимаю руками своё сердце. И качаюсь ему в такт: вперёд-назад, вперёд-назад. Иначе оно выпрыгнет. А уж если моё сердце выпрыгнет, значит всё – как у меня с Сашенькой. Обратного дороги нет. Да и бог с ней, с дорогой. И бог с ним, с сердцем, а вот кто теперь о Сашеньке позаботится?

Может, я зря его убил? Или нет?

### Часть вторая ЗА ПАЗУХОЙ

Я его не убил. Всё-таки не убил. Правда, соблазн был, очень большой был соблазн – ведь я с Кавказа. Именно поэтому мечты мои так... подробны, что ли. Потому что знаю точно: всё бы так именно и было. Но не убил... Встретил вечером, после занятий и сломал ему нос и ещё кое-что, чтобы совесть свою успокоить. А он меня даже не узнал, не успел, да.

После этого он в институте долго не появлялся, месяц, может, больше. Потом пришёл, как новенький, только с Сашенькой больше ни-ни. Ничего. Да и она с ним тоже – так она мне обещала. А иначе, сказал я ей, на самом деле зарежу. Без шуток.

И ещё дело в том, что и наши отношения с ней, с Сашенькой, изменились. С той самой минуты, как я понял, что девочка моя, Сашенька моя, прикосновенна. Понимаете, что я хочу сказать? Я вдруг осознал, что и мне тоже можно. Можно её. Можно её по-всякому. Была она девочка, бабочка была с цветными крылышками, и я ею любовался, а теперь... Нет, я не перестал ею любоваться, нет. Просто она из бабочки превратилась в куколку, и я понял, что могу взять эту самую куколку и сжать в кулаке. А если вдруг она дышать перестанет – пусть. Главное, чтобы никому другому не досталась.

Женщина без хитрости погибнет. Никуда ей без хитрости, это её природная сила.

А Сашенька... Она другая совсем, не как все. Я смотрю на неё, такая она слабая и покорная, как какой выжить? Её же всякий обидит, всякий с ней, что захочет, то и сделает. У мужчин жёсткие руки, иногда жестокие, и одной, без меня ей не выжить. Не выжить и всё, я знаю.

– Ладо, ты что такой грустный?

– Я не грустный, я задумчивый.

– И о чём же ты думаешь?

– О тебе.

– А что обо мне думать-то? Вот ещё, нашел занятие. Я самая обыкновенная, к тому же всегда рядом.

– Э-э-э... Обыкновенная – это да. А вот рядом, нет, не всегда.

– Да что ты? За то время, что мы вместе проводим, могли бы уже надоест друг другу.

– Но ведь не надоели?

– И что из этого? Хорошо же, правда?

– Хорошо, да не совсем.

– Это как? Я не понимаю.

– А так, Сашенька, что мало мне тебя. Хочу, чтобы ты у меня всегда под рукой была.

– Так ведь вот она я, под рукой. Можно даже потрогать, – она улыбается и ещё ничего не подозревает, не знает, что во мне проснулся зверь. А зверя надо кормить.

– Я потрогаю, да...

Я кладу руку ей на голову, ерошу солнечные пряди, пропускаю их между пальцев. Потом хватаюсь за них чуть крепче и тяну. Её лицо запрокидывается, на нём удивление и никакого страха, испуга, даже тени сомнения – ничего. А потом она откидывает голову ещё дальше назад и, смеясь, радостно мне сообщает, что с такими добрыми глазами я никого не смогу испугать, даже если захочу.

Ночью я не смог заснуть, даже глаз не сомкнул, а наутро пошёл в спортзал и качался там, пока совсем не сдох – ни дыхания, ни сил, ничего во мне не осталось. Только стук сердца отдавался в висках, а сердце у меня слабое, вернее, чувствительное. Ведь именно из-за него я тогда – уже давно-давно – к Сашеньке, к девочке моей прикипел, так что уж теперь-то? Ничего не знаю, только одно знаю точно: будет она моей. Будет и всё. И хорошо бы, лучше бы добром, потому что, если нет, залюблю я её до смерти, девочку мою маленькую. Как пить дать, не шучу.

Произошло это очень скоро. Конечно, не до смерти, но...

К летней сессии мы готовились вместе. То есть других вариантов не было. Просто не могло быть, понимаете?



Три недели, обложившись учебниками, конспектами и шпаргалками, мы зубрили, спали, ели вместе. Везде: в её комнате, за кухонным столом, на балконе, на диване.

Как раз на нём-то всё и случилось – на диване. Потом на кухонном столе, а ближе к ночи, когда уже почти стемнело, на балконе. И, если бы мне такое рассказали, я бы тоже не поверил, но одно только у меня в голове, в памяти, от нашей с ней близости и осталось: невероятная, просто чудовищная нежность. И ещё пальчики у неё на ногах, крохотные совсем, как у ребёнка.

Она свернулась калачиком у меня на груди, и, прежде чем уснула, я всё-таки успел шепнуть ей в самое ушко:

– Тебя попробовать, а потом и умереть не жалко.

И ещё я подумал: если что, теперь-то уж точно – убью...

Не трогать её, Сашеньку мою, было невозможно. Она вся, просто вся, была для этого создана. И, конечно, для меня. После сессии я просто увёз её в свой родной город – как украл.

Привести её домой к родителям я, сами понимаете, не мог. Пришлось поселить её в доме моей троюродной сестры и взять с неё клятву, что молчать будет. Я понимал, что рано или поздно все обо всём узнают. Но это потом, а пока я мог приходить к ней, к Сашеньке, каждую ночь и любить её, любить везде, хоть под открытым небом, на берегу моря. Вот он, берег, близко, очень близко. Ближе только её грудь в лунном свете. Знаете, каково это, всегда, всё время, жить с её вкусом на губах?

Кто ей рассказал про Тину, ума не приложу. Это невеста моя, уже давно. Мы с ней ещё совсем детьми были, когда наши родители решили породниться. Она очень хорошая девушка, Тина – чернбровая, стройная, тихая. Наша свадьба должна была состояться через два года, когда я закончу институт. Говорили мы с ней мало, да и наедине почти никогда не оставались, всегда кто-нибудь из её или моих родных был рядом. Так у нас принято, понимаете? Да и о чём нам с ней говорить? Ещё целая жизнь впереди, успеем наговориться. А из-за Сашеньки я про неё просто забыл. Забыл, что невеста, что через два года она и я... Всё забыл, совсем. Мне даже в голову не приходило, что, женившись на Тине, я могу Сашеньку потерять. Что я вообще могу её потерять. Неважно, почему. А когда приехал, увидел её и вспомнил...

Первая мысль: отменить свадьбу, послушаться родителей. Вторая: за что мне это всё, господи?

И я приходил к ней, к Сашеньке, утыкался в неё лицом, и всё вокруг просто исчезало, даже время. Пока однажды утром я не пришёл и не нашёл вместо неё записку, прижатую к столу старой глиняной плошкой:

«Ладо, милый, прости. Вчера я узнала про Тину – так её зовут, да? Здесь мне нет места, это ваш мир – твой и её, поэтому я уезжаю. То, что между нами, не может продолжаться так, как будто её нет. Это неправильно, и я не хочу. За меня не беспокойся, я прекрасно доберусь сама. И мы же всё равно увидимся. До встречи. Не скучай. С.»

Назавтра я уехал вслед за ней. Ни родители, ни родственники совсем ничего поняли, а Тина сказала на прощанье:

– Это совсем неважно для меня – кого ты хочешь. Но не меня. Я знаю кого, Ладо, – и отошла, опустив глаза.

Два августовских дня прошли через меня сутолокой на перронах, запахом абрикосов в бумажных пакетах и тепловозными гудками. Я был занят одним единственным делом: думал о ней, о Сашеньке. Я перебирал её запахи, её оттенки, её всю. Я хотел её на всю жизнь. Навсегда.

Мы встретились, как будто не расставались. Она даже не удивилась, что я, Ладо, бросился за ней следом как мальчишка. А может, ей было всё равно.

Она ничего не спрашивала, ничего не просила, ни на чём не настаивала – просто обняла меня за шею и молча пошла за мной. Потом... потом я лежал и гладил её по голове, по щекам и отчаянно думал, что того, что у меня внутри, хватает на нас двоих. С этого момента она стала во мне звучать. Не помню уже, от кого я впервые услышал это выражение: «голубая нота». Когда ты слышишь звук и понимаешь: вот оно – да! То, что всегда в унисон с тобой, с тобой всяким, в любую секунду. Ты меняешься, и она меняется тоже, с тобой вместе. Всегда созвучна. Сашенька стала моей голубой нотой, она была созвучна мне, не потому, что хотела, нет. У неё просто не получалось по-другому, вот в чём дело.

– Скажи, что ты делала без меня?

– Да разве я была без тебя? Всего-то один день.

– Пусть один. Так что?

– Ничего особенного, так, пустяки.

– А всё-таки?

– Я... Я была у Ч.

– Ты... Ты что?!!!

– Я... Понимаешь, я не была уверена, что ты вернёшься, а он вдруг позвонил. Совершенно неожиданно.

– Саша, повтори. Повтори, что ты сказала. Что ты сейчас сказала, ну?

– Как что? Правду. Я всегда говорю только правду, так вернее, не запутаешься.

– Дальше.

– Ты хочешь спросить, спала ли я с ним? А зачем? Зачем тебе это знать? Разве это что-то изменит?

Гораздо важнее другое.

– Что же, по-твоему, важнее? Ну!

– Важнее: хочу ли я встретиться с ним снова?

– А ты хочешь?

– Нет, – она замотала головой, – не хочу. Теперь уже не хочу.

– Ага. Теперь-ты-не-хочешь... – цезю я сквозь зубы.

– Да. Мы с ним не виделись почти полгода. И мне... Мне плохо было без него. Как без руки.

– Без руки...

– Да, без руки. А ты не понимаешь, ты совсем ничего не понимаешь! – она бросается лицом в подушку и плачет, плачет...

Кинжал тёплый. Он согревает мне ладонь и успокаивает сердце. Я в чём мать родила стою у окна, а за моей спиной, уткнувшись в подушку, лежит Сашенька и всхлипывает. Потом вдруг она оказывается рядом, я протягиваю к ней руку и пропускаю сквозь пальцы её золотистые, шелковые пряди, тяну за них всё сильнее и сильнее. Я смотрю в её запрокинутое лицо и знаю: ей больно. Но в глубине её глаз, на самом дне, бьётся беспомощно, как птенец: убей меня, ну. Убей, только люби всегда...

Не помню, как я её ударил, зато очень хорошо помню, что почувствовал после. Покой снизошёл на меня, потому что в ту самую секунду она стала моей – вся. Целиком.

Как-то я её спросил:

– Скажи, а зачем ты мне тогда соврала?

– Когда?

– Будто встречалась с Ч.?

– А как ты догадался?

– Неважно. Догадался и всё. Так зачем?

– Чтобы ты, наконец, ударил меня.

– А по правде?

– Так я по правде. Понимаешь, я не хотела тебя друга, любовника – я хотела тебя хозяина.

– Значит, я понял правильно. Но ты сумасшедшая. Мы оба сумасшедшие.

– Пусть, но тебе со мной хорошо. А цена... цена есть у всего на свете.

Она смотрит на меня тихо и радостно, и лишь на самом дне её глаз то самое превосходство наизнанку.

Иногда она исчезает. Всего на полдня, нечасто, несколько раз в год. Моя Сашенька, моя покорная и улыбчивая девочка, моя жена, моя любовь. Просто пройтись по магазинам, посидеть в кафе, поболтать с подругой. Она возвращается, и я не могу поймать её взгляд, он обращён вовнутрь, в себя, и так... прозрачен. И совсем, как тогда, миллион лет назад, в самом начале, моё сердце вдруг замирает на одну крохотную, бесконечную секунду, и я даже не успеваю понять эту огромную наставшую пустоту внутри, как оно снова бросается в погоню: бу-бум, бу-бум, бу-бум. Потом я ухожу к себе в кабинет, отпираю ящик письменного стола, открываю его и смотрю на лежащий поверх всего старый кинжал – очень красивый и очень острый. Просто смотрю. И сердце постепенно успокаивается и начинает тихо-тихо петь, и я слышу её, ту самую голубую ноту. А что же ещё может это измученное сердце, которое всего-навсего мышца, как говорил профессор судебной медицины Ч. – самая незначительная фигура моего рассказа.

«Теперь-то уж точно – убью».





## ПАГАНЕЛЬ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ

## рассказ

## 1. ДЕБЮТ

– Ты могла бы завести собаку.

– Уже. Кавалер-спаниель, бело-рыжий. Зовут Паганель. Страсть, какой любопытный и жутко умный, всё знает, всё понимает и молчать умеет – мужик. Красавец к тому же. Представляешь? Люблю ужасно. Хоть ему не надо ничего объяснять. Ещё дом новый, большой и красивый, аж сама не верю. Если бы мне лет двадцать назад кто-нибудь сказал, что такое возможно, не поверила бы. Так что, видишь... А ещё чуть ребёнка не родила. Вот была бы хоть на пару лет моложе – тогда точно. Ну, да ещё не вечер, в следующей жизни рожу, какие наши годы.

Она поворачивает голову и глядит в окно, а я вижу её затылок и нежный, детский завиток у самой шеи.

– Оля...

– Что? – её взгляд снова обращается ко мне и завиток прячется. – Ну, что?

– А ведь ты счастливая.

– Да я и сама знаю.

– Ничего ты не знаешь. Тебя же бог поцеловал в самую макушку.

Она смеётся тихо-тихо, почти про себя.

– Не в макушку, совсём в другое место и даже не в одно. Мне ещё в детстве бабушка про это рассказывала.

– Про то, куда поцеловал?

– Ну да. Что, если родинка, значит, тебя туда бог поцеловал. А у меня, представь, целых две. Одна вот здесь, – она касается ладонью груди, как раз там, где сердце, – а вторая...

– А вторая? – спрашиваю я.

– Неважно, – и снова смеётся, громко, беззаботно, совершенно по-детски.

Ну, наконец-то. Слава богу, хоть к вечеру разошлась. Совсем ведь недавно смотрела на меня огромными своими глазами, и мяла в руках платок – вот-вот заплачет.

Нет, я не психолог, боже упаси, просто жилетка для старой подруги, только и всего. К тому же обстоятельства помогли – большая часть моего семейства: муж, дети и Собакин благополучно отбыли в город, оставив главную добытчицу восстанавливаться после очередного выигранного турнира – гулять по лесу, слушать тишину и отсыпаться.

Не тут-то было.

Я бы, по правде говоря, лучше про лес рассказала, про июль, про запахи эти. Про полутона и полутени. Про то, как ёж повадился в наш малинник, топает, шуршит, даже, по-моему, бормочет что-то на своём языке, и никакого с ним сладу.

Ан нет, сижу со счастливой женщиной и слушаю, как она плачет и жалуется на своё счастье.

– Знаешь, Лгось, как я тебе завидую? Ты вся такая рациональная, правильная, спокойная, и жизнь твоя похожа на шахматную партию – всё продумано на много ходов вперёд. Сколько лет тебя знаю, а не припомню, чтобы ты хоть раз теряла голову. Или всё-таки было?

– Было-не было... Я просто такая, какая есть. А с шахматами мне и, правда, повезло. Если бы не они...

– Ага, в детстве ты ведь совсем бешеная была. Куда что девается?

– Как раз туда, в шахматы. Меня ведь в наших шахматных кругах, знаешь, как прозвали? Именно так – бешеная.

– Вот никогда бы не подумала. А на самом деле?

– Ну, как тебе сказать. Бывает...

– А я зато тихая была. Тихая и задумчивая – помнишь?

– Ещё бы. В тихом омуте...

Мы с Олей знакомы с детства, то есть давно, даже очень давно. Видимся, конечно, редко, особенно в последние лет десять. Понятно: у каждой своя жизнь, да и живём в разных концах мира, даже в разных полушариях, а земля, хоть и сильно уменьшилась в размерах, но...

Она просто позвонила из своего полушария и сказала, что очень нужно поговорить. Не по телефону.

– Приезжай, – ответила я, не задумываясь. – У меня тут лес, тишина и даже несколько дней совсем свободного времени – как раз для тебя.

В шахматы я действительно играю неплохо. Даже хорошо. Иногда даже больше, чем хорошо. Уже давно они просто моя жизнь в самом прямом смысле. Там мне интереснее, там я – я. Ещё, разумеется, семья и Собакин, остальное интересует меня весьма отдалённо, да и времени на это остальное при таком количестве турниров... Короче, лишних встреч я избегаю, и это не просто блажь. Она, Оля, конечно, подруга детства, но детство-то давно кончилось. Не знаю, почему я так легко, словно ждала этого её звонка, произнесла это самое слово: «Приезжай».

Произнесла и удивилась – сама себе.

## 2. МИТТЕЛЬШПИЛЬ

### Вечер первый

Первое, что она сделала, выйдя из душа, – плюхнулась в собственное Собакино кресло, окинула взглядом стол, стены и вид из окна, и сказала:

– Слушай, а есть что-нибудь покрепче? Чай с вареньем это прекрасно, плюшки – вообще улёт, только не виделась мы сколько? Надо же как-то... отметить.

Пока я ставила на стол вино и оливки, и сыр, пока доставала бокалы, она просто сидела и наблюдала за мной. Потом вдруг громко вздохнула.

– Я ведь чего прилетела-то? Мне позарез надо, чтобы ты меня выслушала. Просто выслушала и больше ничего, а под вино легче. И учти: я буду реветь. Не обращай внимания, поняла?

Она поставила на стол уже полупустой бокал и, прищурившись, спросила:

– Ты когда-нибудь испытывала оргазм? Только честно.

Я поперхнулась оливкой и с трудом откашлялась.

– Ты проехала полмира, чтобы спросить меня об этом?

– Не удивляйся, ладно? Я тебе всё-всё объясню. А пока просто ответь.

– Хм. Ну, хорошо, хотя... В общем, доводилось, да. И что из того?

– Детали я у тебя выяснять не собираюсь, не беспокойся. И вообще, это всего лишь термин, потому что надо же как-то назвать это состояние, чтобы ты поняла, о чём речь. Я ведь не о сексе, по крайней мере, не только и не столько.

– Уже легче, – усмехаюсь я. – Просто камень с души. Ну?

– Дело в том, что он у всех разный, но есть одно свойство, общее для всех его видов, подвидов и прочих разновидностей. Не догадываешься, какое?

– Не догадываюсь. Честно говоря, даже не и пытаюсь. Дальше.

– Я так и думала. Это всё твои шахматы. Выбрала... как это у вас называется... дебют, и ни налево, ни направо.

– А ты откуда про это знаешь? Тоже в шахматистки подалась или как?

– Или как, но это ничего не значит. У меня, между прочим, среди них даже любимые есть – целых три.

– Что? Среди дебютов? И какие же, позволь узнать?

– Пожалуйста: ферзевый гамбит – раз, итальянская партия – два, сицилианская защита – три.

Я подумала, что на этот раз вино подействовало как-то слишком быстро, а вслух спросила:

– И почему же именно они? Ты и объяснить можешь?

– Люсенька, милая моя, да легко. Ферзь – это королева, то есть, женщина и самая сильная фигура, без неё куда – как в жизни. А остальные два... ну я просто Италию люблю, вот и всё.

– Так, – кивнула я, – с точки зрения логики гениально и, в общем, понятно. Теперь давай обратно к нашим пирогам, вернее, к плюшкам. На чём мы там остановились?

Она забрасывает ноги на подлокотник, и я вижу, что у неё, оказывается, совсем детские коленки.

– На том, что есть нечто общее для всего, что принято называть оргазмом. Для архетипа, как такового, понимаешь?

– Это ясно, как простая гамма. Слушай, в тебе умер великий оратор или дипломат. Дизраэли, например. И не захочешь – заслушаешься. Это дар.

– Между прочим, всё очень серьёзно, напрасно ты...

– Это не я, это вино. Сама виновата. Ну, ладно, ладно, не дуйся, я в самом деле слушаю, ну?

– Ничего, у меня самолёт только через пять дней, привыкнешь. Так вот, это общее свойство: невозможность выдержать его – оргазм – дольше, чем... чем это возможно, понимаешь? Как счастье. Невыносимо быть счастливым долго в самом прямом смысле – сердце лопнет, крыша улетит, мозг взорвётся. Ведь правда?



А у неё на самом деле глаза женщины, которую любят. И не просто любят, а хотят, даже вожделяют. Чего уж там – счастливые глаза. Такие нечасто увидишь, скорее, исчезающе редко. У меня самой такие – да были ли вообще? Нет, не из-за призов и чемпионских званий, а вот, как у неё, у Оли?

– А теперь представь, что ты угодила в ураган, в шторм, не знаю, как сказать... Короче, вот в такой оргазм, в самую середину. И он всё не кончается, словно время отменили, всё длится и длится, и так тебе хорошо, что даже и не пытаешься удержать последние остатки своей уже и так улетевшей крышки. Люсь, ну ты куда? Ты меня не слушаешь совсем.

Я и правда отвлеклась, вспомнила тот вечер и то утро. И восторг, и ветер, и звёзды – полный набор, прямо, как в романах. И надо же, столько лет прошло, а всё равно так остро, словно вчера. Ах, Оля, Оля, лучше бы она остановилась, не продолжала, потому что скоро мне неизбежно станет скучно. Всё сведётся к заурядному адюльтеру или лёгкому флирту, а то и просто виртуальному знакомству – без встреч, без букетов, но и без разочарований. Чудес не бывает, по крайней мере, я в них уже давно не верю. Это просто издержки её эвристического мышления и такого же характера – не она первая, не она последняя. В шахматах, слава богу, всё совсем иначе.

– Слушаю и очень внимательно. Время отменили, крыша улетела и тебе хорошо. Так?

– Ты поскучилась как-то, потухла, а зря! Я ведь самого главного ещё не сказала. Понимаешь, я не могу так больше жить. Физически не могу. Это как передоз: когда слишком хорошо и слишком долго, можно умереть, без шуток. Я же вижу, ты думаешь, что я прилетела сюда к тебе, чтобы все пять дней только и делать, что рассказывать о своей сумасшедшей любви – вовсе нет.

– Тогда для чего же?

– Да просто убежала, удрала.

– От чего? Или от кого?

Она поворачивается к окну.

– Смотри, будто кровь разлилась над лесом. Красиво как и жутко.

– Оля, это закат. Так для чего убежала?

– Просто, чтобы убежать. Только это всё равно бесполезно, никуда мне от него не деться и от себя тоже.

– Вам что, действительно так хорошо вместе?

– Не то слово. Только я не об этом, об этом всё равно не получится. Любить человека долго – годы, страстно, взаимно и с каждым днем всё сильнее – я знаю, так не бывает, но именно так всё и есть. И выходит, что любовь, это бесконечная величина: чем дольше длится счастливое сегодня, тем дольше не наступает завтра, то есть время останавливается. А значит, наступает смерть, – она тянется к бокалу, замирает на секунду и делает глоток: – Люсь, понимаешь, я умираю от счастливой любви. Чтобы этого не случилось, надо убежать. Вот я и пытаюсь – изо всех сил.

Я-то думала, что это возможно только в шахматах: нажимаешь кнопку на часах, и останавливаешь время, а оказывается, и в жизни тоже. Во всяком случае, она этому, похоже, научилась. Только вот жизнь не шахматы и не игра, вообще. А впрочем, кто знает? Да и какая разница, если больно?

Солнце, опускаясь, проникает в дом, перетекает через подоконник, заливает собой деревянный пол, скучно ему там, на небе. Вечер проходит сквозь нас, словно нож. Оля, наконец, начинает плакать. Немного вина на дне бокала – оно почему-то качается и никак не хочет успокоиться. Скоро утро.

## Вечер второй

Она заснула в слезах прямо там же, в Собакином кресле, а проснулась весёлая и беззаботная в нашей с мужем постели, куда я перетаскала её лично, почти взвалив на себя. Перед этим я убрала со стола и повесила в шкаф всю её верхнюю одежду из чемодана, который она так и не удосужилась открыть. Было там, кстати, десять весёлых, цветастых, летних сарафанов, только и всего. На всякий случай я решила запомнить, что следует брать с собой, убегая от счастливой любви, а вдруг понадобится? Остальной день мы провели беззаботно, празднично и праздно – на то он и июль.

Но вечер всё-таки наступил и, как ни в чём не бывало, уселся с нами на веранде пить чай. Честно говоря, вёл он себя на этот раз довольно смирно, лишь временами шептал что-то себе под нос, словно удивляясь – ну, что же это они тянут с продолжением?

Мы просто болтали, пока я не заметила, что плечи её вдруг поникли. Луна глядела на нас сверху и тоже ждала.

– Слушай, – сказала я, – а почему бы тебе не рассказать обо всём по порядку? Раз уж ты здесь, и вечер, и июль, и луна, а?

– Ты что, на самом деле, хочешь знать? Всё-всё?

– Конечно, хочу.  
– Мне вот показалось, что ты как раз не слишком любопытна, что ли.  
– Это не любопытство и не его отсутствие. Это... Представь, что ты увидела цветок, который никогда не видела раньше. И тебе хочется его коснуться, ощутить его запах, потрогать лепестки.  
– От тебя и про лепестки? Странно, – она посмотрела на меня как-то очень по-взрослому. Покачала головой, вздохнула. – Никак не ожидала. Хорошо, расскажу, и про лепестки тоже...

– Я человек с инстинктами. Я чувствую опасность ещё до того, как опасность почувствует меня, поэтому неудивительно, что наше первое «настоящее» свидание с Володей – так его зовут... В общем, когда ко мне вернулось сознание, и я снова смогла дышать, моими первыми словами были: «Володенька, а ведь ты страшный человек». Он ничего мне не ответил, только улыбнулся, и я поняла, что он меня может погубить. И испугалась, но не этого, а того, что не смогу убежать, ведь то, что я испытала... Дело вовсе не в том, как нам было в первый раз, а в том, что это «было» не кончается, и я без него уже не могу. Но и это не всё, потому что главное – его полная, безраздельная власть надо мной. У меня ведь и раньше были мужчины, про некоторых ты даже знаешь, про других нет, неважно. Они, конечно, были разные, но всё же такие одинаковые. И само собой, ни малейшей зависимости от них, никакой их власти надо мной – ни сном, ни духом. Как только они начинали занимать слишком много места в моей жизни, я их оставляла. Потому что – инстинкты. А тут... Он только взглянет на меня, и я сразу понимаю любое, веришь ли, любое его желание. И выполняю, – она устала в сумерки вокруг, замолчала, но почти тут же заговорила снова:

– Мы встретились случайно, оказались за одним столиком на какой-то вечеринке, и как же давно это было, господи. Знаешь, даже стыдно рассказывать. Я ещё ничего про него не знала, ни кто он, ни как зовут. А он просто посмотрел на меня, и я... почувствовала себя голой и то, что мне это нравится. Ну, а когда мы, наконец, разделись на самом деле... Это продолжается до сих пор. Лавина, из которой не вырваться, летишь всё быстрее, и конца этому нет. И страшно, и молишься, чтобы дальше, дальше, дальше – неважно куда, лишь бы не прекращалось, лишь бы вместе. Вот говорят: найти своего мужчину. Может быть, то, что происходит, как раз и есть вот это самое: найти своего мужчину. Потому что, если нет, то что это тогда, вообще? Наверное, никто не сможет понять меня до конца или почти никто, может, единицы, не знаю. Испытать – нет, испытывать такое, – Оля перевела дыхание. Взяла чашку с остывшим чаем, подержала и поставила обратно на блюде.

– Понимаешь, мне надо во всём разобраться. Сама я не смогу, здесь нужен человек с холодным сердцем и рассудком, способный, если не отбросить эмоции, то, по крайней мере, зажать их в кулак, не дать одержать верх. Я перебрала всех, кого только могла и остановилась на тебе. Потому что шахматы. Потому что логика. Потому что воля, наконец. А ещё ты не станешь притворяться, что знаешь всё лучше меня, не станешь успокаивать и убеждать, что я не первая и не последняя, и он, Володя, такой же, как все – задурил мне голову. Или станешь?

– Вообще-то, я именно так пока и думаю, но говорю об этом только потому, что ты спросила. Увершить, уговаривать тебя я не буду, не беспокойся. Да и кто знает, может, ты заставишь меня думать по-другому? Так что рассказывай, не бойся.

– Ага. Ну хорошо. И, представь, несколько месяцев он меня не трогал, так же, как и я его. Ты пойми, ему не надо было меня завоевывать, и мне его тоже, это было ясно с первой секунды. Но мы мучили друг друга – фантазиями, мечтами, недоговорённостями – совсем, как дети, хотя оба знали, что всё уже случилось, и это непоправимо. Зато потом... – её лицо розовеет, и я уже знаю, почему, и вдруг завидую – мучительно и остро.

– Тогда-то я и произнесла ту самую фразу про страшного человека. С тех пор я боюсь себя – незнакомой, той, которая родилась и которой всё больше и больше. Я не знаю, что с ней делать, если вообще надо что-то делать. Но... – в её глазах почти отчаяние, – я ведь действительно теряю сознание, а когда прихожу в себя, оказывается, что на самом деле нет. Я прихожу не в себя, понимаешь? И, пожалуйста, не смотри на меня так, я не сошла с ума, я просто из него вышла... – она вздрагивает и умолкает.

Небо сверкнуло зарницей, потом ещё, ещё. Вечер поднялся из-за стола и вышел. Шум листвы отовсюду. Ветер. Ночь.

Вот-вот начнётся гроза.

### Вечер третий

Утром всё ещё шёл дождь. Мы провалялись в кровати почти до полудня – пили кофе, болтали, смотрели старые фотографии. Тучи разошлись только после обеда, и мы наконец вышли из дома. Пахло прелой землей и лесом, с деревьев падали последние тяжёлые капли. В малиннике все нижние ветки были голыми, ни одной ягоды.



- Неужели твой ёж слопал?
- Как пить дать. Отъедается перед спячкой.
- А может, он не один, а с подругой?
- Нет, они поодиночке живут, я читала. Самцы и самки сходятся только, чтобы произвести потомство и сразу разбегаются.
- Всё-таки насколько природа умнее нас: никаких страданий, душевных мук, сбегались-разбегались. Вот бы и мне так.
- У тебя для этого колючек маловато. Но сходство всё же есть – малину ты любишь не меньше.
- Ага, – она срывает ягоду и отправляет в рот, – очень. А насчёт колючек ты не беспокойся, ещё неизвестно, у кого больше.
- Я усмехаюсь.
- Говори, говори...
- А я что делаю? Это, между прочим, совсем непросто – говорить, рассказывать, пусть даже тебе – моей старой подружке.
- Разве ты здесь не для этого? Сама захотела, сама позвонила, сама прилетела.
- Люсь, неужели ты так и не поняла? Какое там «захотела»? Я же погибаю! Я спастись прилетела к тебе. Я вообще не думала, что когда-нибудь с кем-нибудь об этом...
- А с ним?
- С кем? С Володей? – Оля вздыхает. – В том-то и беда, что с ним я говорю обо всем. Обо всём абсолютно. У меня не остаётся ничего для себя, никакого личного пространства, никакой, даже самой интимной мелочи или потаённого желания. Ничего, понимаешь? Я – как крышечка без крышки или без дна, или без того и другого вместе.
- Без дна и крышки, милая моя Оля, это просто дырка. А ты... тогда уж, скорее, артефакт.
- Она смотрит на меня удивлённо и долго, молча шевелит губами, наконец, я слышу:
- Ух ты, а ведь и правда. Какая же ты всё-таки умная, Люсь, вот так вот взяла и сразу всё по полочкам.
- Если бы всё. По твоим словам у вас тянется уже довольно долго, и он всё ещё тебя любит, более того, хочет. То есть, ты продолжаешь его удивлять, оставаться для него новой, иначе мне трудно представить мужчину, способного на такое постоянство. Конечно, может быть, привычка, но она всегда основана на быте, а у вас, насколько я понимаю, этого самого быта кот наплакал. Я не ошибаюсь?
- А ты на это способна? Знаешь, как-то раз мы сняли домик на озере, целых четыре дня, представляешь? Я приготовила ему солянку.
- Мясную или сборную? – смеюсь я.
- У тебя вместо мозгов компьютер, – смеётся она в ответ. – Не ту и не другую – мою собственную.
- И как, что-то изменилось?
- И да и нет. Это очень трудно объяснить, потому что всего лишь оттенки, а они заметны только нам и больше никому.
- Ну, это понятно.
- А мне непонятно, и чем дальше, тем больше. Мы ужасно много времени проводим вместе: или встречаемся, или говорим по телефону – каждый божий день. Иногда часами. На целую жизнь хватит и не на одну, и представляешь, нам всё ещё мало. Я просто не знаю, что с этим делать, ни одного одинакового дня, ни одной одинаковой минуты, и это притом, что мы знаем друг друга до последней... до последней родинки.
- Ну да, до той самой, я так и думала.
- Смейся, смейся, я ведь ещё про секс даже слова не сказала.
- Так скажи.
- И скажу. Хотя про это вообще страшно.
- Да что же у тебя за страсти за такие? Про секс страшно, про любовь вообще смертельно. Так просто не бывает, разве что, в книгах, в реальной жизни нет. Я, во всяком случае, не встречала.
- Ага, все так думают, вот и ты тоже. Да я и сама, честно говоря, пока не влипла. По полной, – она поднимает на меня глаза, и я вижу, что взгляд у неё в самом деле растерянный.
- А как иначе? Ты ведь не в кунсткамере живёшь, не в музее. Ты работаешь, и я могу себе представить, как работаешь, потому что знаю кем, и как ты к этому пришла. Семейно твою я знаю тоже, правда, давно не видела, но всё равно. Кстати, как там они – Олег, дети? Я имею в виду, во всей этой ситуации?
- Дети, слава богу, выросли, хотя живём вместе, но это ничего, дом большой, пусть. Бывает, по несколько дней не видимся, так что сама понимаешь. А Олег... Короче, мы с ним на разных этажах.
- То есть, как? – я делаю большие глаза. – Вы разошлись, что ли? И ты всё это время молчала?
- Вот говорю. Нельзя же сразу всё, тебе, по-моему, и так хватало. Нет?
- Хватало-не хватало, ох... И давно вы по разным этажам... разбегались, разошлись, не знаю, как сказать? Значит, он догадался, да? Поэтому?



– Не совсем. Он не догадался, он догадывался. Пока я сама ему всё не рассказала.

– Но зачем? Ты что, маленькая?

– Нет, но иногда ужасно хочется его быть. Он, Володя, слишком меня избаловал, в этом всё дело. С ним я чувствую себя ребёнком, и не просто, а его ребёнком. Даже когда мы... когда у нас вот это самое, понимаешь?

– Оля, послушай, а тебе не кажется, что всё это здорово смахивает на патологию?

– Ещё как! Я же с самого начала об этом тебе и толкую! Именно, что патология – как врач тебе говорю. С тех пор, как мы с Володей вместе, я сама не своя. Я совершаю странные поступки, я думаю странные мысли, я уже вроде бы и не я. Вот и Олегу рассказала всё как раз поэтому, словно затмение какое-то, дитя и дитя – что с него возьмёшь.

– Тогда в чём дело? Ты же хирург от бога. Кому, как не тебе знать – если невозможно вылечить, надо удалить. Хотя, – я провожаю глазами очередную ягоду, которую она вполне беззаботно отправляет в рот, – мне, честно говоря, непонятно, если Олег всё равно уже знает, и вы с ним... на разных этажах, почему вы с Володей твоим до сих пор не вместе? Насколько я понимаю, он свободен, ничем особо не обременен. В чём проблема-то?

– Да ты что? Упаси бог! Упаси бог нас обоих! И больше не смей меня так пугать, слышишь? Значит, ты забыла всё, о чем мы говорили, если предлагаешь такое. С чего мы начали наш разговор три дня назад? Помнишь?

– Ты спросила... спросила, испытывала ли я оргазм.

– Вот именно. И ты, между прочим, ответила утвердительно.

– Да, и что?

– А то, что нет никакой проблемы, нет и всё. Есть оргазм – непрекращающийся, и конца ему не видно. Да и не хотим мы, чтобы он заканчивался, потому что счастье. Мы стали наркоманами от любви – вот. Оба.

– Так я и говорю, если вам так хорошо вместе, почему не попробовать, хотя бы попробовать, вместе жить?

– Очень просто. Пока мы врозь, у каждого из нас остается хоть немного обычной жизни – чтобы на работу ходить или по магазинам, иногда встречаться с друзьями, функционировать на растительном уровне, что ли. А если мы посвятим друг другу всё своё время... – она вздрагивает и поводит плечами, как от озноба.

– Ну и что тогда? Говори.

– Мы просто убьём друг друга, вот и всё. Залюбим до смерти...

### Вечер четвёртый

Следующий вечер начался прямо с утра. Он, собственно говоря, не прекращался вообще, и ночью тоже – сон мне снился всё время один и тот же и совершенно дурацкий. Представьте: мой собственный обожаемый Собакин, улыбаясь и что есть силы виляя хвостом, Олиным голосом проникновенно изрекает: «Залюблю до смерти». Проснулась я с головной болью.

За завтраком, глядя, как она, устремив взгляд в окно, задумчиво прихлёбывает кофе и временами тихо улыбается в себя, я не удержалась.

– Ну и чему ты улыбаешься? Мне всё это кажется довольно мрачным, да и тебе, думаю, тоже. Зависимость – это ведь ужасно тяжело.

– Не знаю. Мне не мрачно и вовсе не тяжело. Но у меня инстинкты и они мне говорят, что я должна с этим что-то сделать. Вот и всё.

– Тогда делай, уже пора.

– Делаю, Люся, делаю. Вот к тебе приехала, собаку завела.

– Так ты поэтому её завела?

– Конечно, чтобы было, с кем поговорить. Ведь кому ещё такое расскажешь? Он, между прочим, всё-всё понимает и вообще чудо. Только, знаешь, странно, он меня любит, даже боготворит, ревнует ко всем, а когда я прихожу от Володи, после... этого, он не бросается ко мне, как обычно, а робко так подходит, как будто с опаской, как будто к чужой. Словно чувствует, что это уже не совсем я, а может, совсем не я, понимаешь? И только после того, как обнюхает, снова признает.

– Оля...

– Что?

– А, может, оставить всё, как есть? Сама же говоришь – счастье...

– А всё и останется, как есть, – она зябко поводит плечами, обхватывает их, смотрит в окно. – Скорее всего. Всё, кроме меня.



– Что ты имеешь в виду?

– Что в один прекрасный день возьму и не проснусь. Или проснусь, но уже не собой. Со временем не шутят. Там, где нет его, не может быть и нас. Только дело в том, что мне всё равно, потому что моё сегодня того стоит. Страшно другое: та, которой я стану – не окажется ли она такой же, как все?

– А что в этом плохого?

– Наверное, ничего, только время снова станет ко мне-к ней безжалостно.

– Да. Но ведь это происходит со всеми.

– И что, от этого должно быть легче? Нет. А ещё, – глаза её набухают слезами, – вдруг она-я-та предаст Володю? И как же он тогда? Я точно знаю, ему без меня не...

### Вечер пятый

Больше не было у нас разговоров про любовь, оргазм, жизнь и смерть. После обеда вернулось, наконец, остальное семейство с Собакиным вместе, в доме стало шумно, многолюдно и даже весело. Правда, Собакин повёл себя как-то странно. Обычно он вполне с чужими приветлив и вежлив, и хвостом по-виляет, и погладить позволит, если уж очень, а тут... Он вёл себя так, словно её, Оли, нет и никогда не было. Пустое место. Он её просто в упор не видел, отворачивался даже, но старался держаться по-дальше. К креслу своему подошёл, понюхал и отошёл, ничего не говоря. Только через месяц или два забрал его себе снова.

Оля уехала наутро. Слова были сказаны, слезы – те, что были – выплаканы, сарафаны сложены. Последний наш с ней поцелуй и...

– Вспоминай меня, ладно? Или не забывай. Пожалуйста, а то мне иногда в самом деле кажется, что меня нет – кончилась. В общем, ты всё уже слышала, – она вздохнула. – А психиатр мне не нужен, ты ведь об этом подумала вчера? Психиатры счастливым без надобности.

Она весело махала нам – и людям и собакам – пока такси не скрылось за поворотом. Я постояла немного и пошла в дом, к компьютеру и шахматам, до следующего турнира оставалось всего три недели, и было необходимо срочно проверить одно интересное и абсолютно новое продолжение ферзевого гамбита, пришедшее мне в голову накануне, завершающееся невероятно острой и красивой жертвой ферзя.

Может, и случайно, кто знает?

### 3. ЭНДШИЛЬ

Я шла по зелёному коридору к залу прилёта, надеясь, что организаторы не подвели, и меня встречают. До города было далеко, брать такси совсем не улыбалось, да ещё пробки. И вдруг (ну, а как еще) услышала совсем рядом:

– Ой, Люся! Неужели?

Это в самом деле была она. Оказывается, мы прилетели почти одновременно, оказывается, бывает и так.

Мы обнялись. Платье на ней было зелёное с синеватым отливом, как змеиная кожа или кожура неведомого фрукта. Она была ослепительна – в самом прямом смысле.

– Привет! Ты в Лондон по делам? Опять турнир, да? Надо же, вот так просто взять и встретиться. Я ужасно рада тебя видеть.

– Я тоже. Конечно, турнир, а что же ещё может быть? Я редко уезжаю из дома просто так, ты же меня знаешь. Слушай, а как это – путешествовать в таком виде? Удобно?

– Вполне. Когда летишь первым классом, это почти не имеет значения. И времени нет переодеться, до начала всего два часа, пока доедешь по этим пробкам...

– До начала чего?

– У нас заказана ложа в опере. Там сегодня «Травиата», одни звёзды. Представляешь, пришлось билеты за полгода заказывать. Ты здесь надолго? Мы ведь бог знает сколько не виделись, целых два года, с ума сойти.

– Даже больше. Ты была у меня в июле, а сейчас начало октября.

– Ну вот, даже больше. Давай завтра встретимся и спокойно обо всем поговорим, хорошо?

– Нет, Оля, я не смогу, у меня завтра первый игровой день. Турниры начинаются вовремя и при любой погоде. Так что...

– Нет, ну невозможно так разойтись и всё. Давай хоть здесь где-нибудь посидим, кофе выпьем, что ли? Хотя несколько минут, а?

– Понимаешь, меня встречают, у меня трансфер, я не могу.



– Подождёт твой трансфер, Лёничка сейчас всё устроит. Кстати, вот он, познакомься, – и я только сейчас замечаю благообразного, хорошо одетого мужчину с седыми висками. Он стоит рядом, смотрит то на Олю, то на меня и вежливо улыбается. Через руку перекинут женский плащ. Я киваю ему и улыбаюсь тоже:

– Очень приятно.

Оля смеётся:

– Да он по-русски почти ни слова не понимает, сколько ни бьюсь, бесполезно.

Она что-то быстро говорит ему по-французски, он улыбается ещё шире и... у него оказывается довольно приятный голос:

– Enchanté, madame! Ne vous inquiétez pas.<sup>1</sup>

Он уходит, а я задаю ей совершенно дурацкий вопрос:

– Ты же сказала: Лёничка?

– Ну да, – смеётся она. – Потому что Леонидас. Он грек, но очень давно живёт во Франции. Я его так зову. По-моему, довольно мило. Он договорится с твоим трансфером, не беспокойся, доседешь в лучшем виде. Пойдём, вон там кафе, видишь?

– Ну, расскажи, как дела? Как ты, как муж, как дети? Как Собакин?

– Да всё, как всегда, как обычно. Как-то и рассказывать особо нечего, даже Собакин всё в том же кресле – ничего нового. Вот у тебя, я вижу, кое-что в самом деле изменилось. Я права?

– Конечно, господи! Прежде всего, я уже не оперирую, да и из больницы ушла. И знаешь, не жалею. Ты ведь помнишь, я когда-то мечтала о медицине и, смею думать, кое-чего добилась.

– Конечно, помню, ещё бы. Ты молодец, всегда им была. Ты сильная, Оля.

– Была бы слабая, не смогла бы ни из больницы уйти, ни жизнь новую начать.

– И что же это за жизнь? Расскажи, хотя бы в двух словах.

– Перешла в университет, преподаю, иногда консультирую, но нечасто. Когда-нибудь стану профессором и пришлю тебе монографию с надписью: бешеной Люське от автора с любовью.

– А что, – отвечаю я, – давай, присылай. И про бешеную ведь не забыла, а?

Мы смеёмся.

– А вот и Лёничка вернулся, – они снова говорят по-французски, и Оля переводит: – Ну вот, я же тебе обещала. У нас есть ещё время, немного, но есть, твой трансфер подождёт. Лёничке это на раз.

– Спасибо, – говорю я. – Слушай, он, конечно, ничего мужчины, импозантный, а как же... Володя, кажется, да? Из-за которого ты тогда приезжала? Я ведь так ничего и не знаю, как там у вас?

Она смотрит на меня с недоумением, с удивлением даже, и после паузы произносит:

– Люся, ты о чём? Какой Володя? Я к тебе приезжала потому, что соскучилась. Ну и отдохнуть немного заодно. И что?

– Погоди, так ты что, ничего не помнишь? Ни вина, ни грозы, ни твоих весёлых сарафанов? А малину, малину помнишь? Слова свои, те самые, помнишь?

– Да бог с тобой, Люсенька! Какая малина? Я её с детства терпеть не могу, у меня на неё вообще аллергия, если хочешь знать. Слова... Да мало ли я их тебе говорила? А что говорила-то?

– Я не сошла с ума, я просто из него вышла, вот как ты говорила. Про свой страх, про вашу с Володей ненасытность – неужели не помнишь?

В её глазах лед, и я понимаю, что перешла черту, что пора прощаться, и чем скорее, тем лучше. Но Оля делает это первой.

– Я думаю, мы сможем договорить в другой раз, как-нибудь... Хорошо? Сейчас нам в самом деле пора. Прости, времени уже почти совсем не осталось. Да и тебе, наверное, тоже, трансфер и всё такое. Так здорово было тебя увидеть, ты не представляешь. Ну...

Мы обнимаемся снова, улыбчивые глаза её спутника, лёгкий поклон, вот и всё. Неужели ничего, совсем ничего не осталось? И я делаю последнюю отчаянную попытку – прямо в её уходящую спину:

– Оля! Оля, подожди!

Она оборачивается, и мой звенящий голос:

– А Паганель? Он теперь всегда тебя узнает?

Последнее, что я успеваю увидеть: её искривленный гримасой, готовый заплакать рот, дрожащие губы и набухшие слезами глаза, точно, как тогда – и ухожу быстро и не оглядываясь. Завтра первый игровой день, а шахматные турниры всегда начинаются вовремя и при любой погоде.

Они не только начинаются, но и заканчиваются тоже – всё и всегда. Правда, по-разному, я имею в виду, для участников. Этот и для меня оказался удачным невероятно: первое место и топ-десятка мирового рейтинга. Но больше всего грел душу приз за самую красивую партию – я впервые применила в ней





то самое продолжение ферзевого гамбита – я назвала его Паганель – про себя, и чтобы никто раньше времени не догадался, что это такое вообще.

Эта партия... Каждый ход, каждый оттенок, каждая мысль были так совершенны, что хотелось остановить время. Больше всего на свете я хотела, чтобы это продолжалось вечно, если бы не заключительная – страшная и прекрасная – жертва ферзя. Противник покачал головой и остановил часы.

Зал аплодировал мне стоя.

Совсем не прийти на заключительный банкет я, разумеется, не могла, но после официальной части, поздравлений, восторгов и прочего постаралась уйти как можно быстрее и незаметнее, как раз по-английски. Две с половиной недели такого напряжения даром не проходят. Ужасно хотелось домой – к семье, к Собакину, в лес...

Всё так и было, как всегда, как обычно, кроме малины и ежа – октябрь. Скоро, совсем скоро уже и зима. Прошло не более четверти часа с момента моего приезда, как мой взгляд абсолютно рефлекторно остановился на шахматном столике со стоящими на нём фигурами. И столик и фигуры были самые обычные во всем, кроме одного – это был мой первый, ещё детский приз, полученный, страшно сказать, сколько лет тому назад.

Одной фигуры не хватало – белого ферзя.

– Дети, взрослые и собаки, кто трогал шахматы? Куда фигуру задевали? Даже ненадолго нельзя уехать, сразу вещи пропадают. А ну-ка, признавайтесь, быстро! Она дорога вашей маме, как память. Ну?

Увы, мы так и не смогли её найти. Я, конечно, не собиралась делать из этого бог знает что, но всё же...

Ближе к ночи я согнала Собакина с места, чтобы перед сном поправить ему подстилку. Между подушками кресла моя рука наткнулась на что-то твёрдое. Это был именно он – обглоданный и изгрызанный белый ферзь, вернее то, что от него осталось. Мне отчего-то стало грустно. Вдруг вспомнилось Олино лицо там, в аэропорту – когда она оглянулась. Вот тебе и Паганель, вот тебе и жертва ферзя. Собакин тихо зарычал – ему не нравилось чувствовать себя виноватым.

– Ну, успокойся, – сказала я, потрепав его по голове. – Успокойся. От тебя-то уж точно ничего не зависело.

Первый раз я увидела в его в глазах слёзы – то ли от любви ко мне, то ли...

А может, мне это только показалось?

<sup>1</sup> Enchanté, madame! Ne vous inquiétez pas (*фр.*) – Очень приятно, мадам. Не беспокойтесь.

# ВИКТОР КУСТОВ

## ТОНКИЙ МИР рассказ

– Драматургия Шекспира – для тех, кто обуреваем низменными страстями, кто сам подвержен зависти, лицемерию, жажде владения. Таких людей немало в нашем мире, поэтому спрос на Шекспира вечен.

Профессор окинул аудиторию взглядом: поняли ли его эти, сидящие перед ним, уже не дети, но ещё и не взрослые. Сверили ли сейчас собственные мысли с Шекспиром? Кто из них настолько подвержен порочным страстям, что готов состязаться с признанным классиком, а кто будет верен бескорыстию и создавать образы светлые, непорочные...

– Гений Шекспира заключается в том, что он перевёл тонкие движения бессмертной души в грубый мир смертных, – добавил он, не давая опомниться, осмыслить прежнюю формулу.

И взял драматургическую паузу.

Просто сидел за столом и смотрел в окно.

За окном были первые осенние дни, видимые верхушки деревьев уже пожелтели, настраиваясь на падение и увядание. Так, собственно, и человек: прежде настраивается и лишь затем уходит... Туда, где нет страстей и грубого мира... Впрочем, это им ещё рано знать, как и трудно постичь бессмертную гениальность смертного драматурга. Они скорее примут автора похожим на его персонажей, низведя до своего уровня.

И опять обвёл взглядом немногочисленных юных талантов: кто из этой дюжины действительно создаст что-то стоящее и увековечит своё имя, никто, кроме Господа, не знает. Даже он, мастер, может ошибиться, как уже и случалось в прошлом, когда не разглядел, отнёс к графоманам упёртого, образованного на уровне школьных знаний, сибиряка. А тот вдруг, спустя годы, возьми и начни писать так, что диву дался – откуда это глубинное и пронзительное понимание драматургии жизни... И, признаться, только тогда впервые и усомнился в собственном таланте.

– Ромео погибает, а Джульетта решает отравиться, чтобы не разлучаться с любимым. Непреодолимая, до самоуничтожения, страсть обладания чем-либо или подростковая психология непонимания конечности бытия?.. А может, знание о бессмертии там, в загробном мире?.. Гамлет мучается нравственным падением близких ему людей, изменой, он жаждет мести и, в то же время, страдает оттого, что осознаёт порочность, греховность этого желания. Отчего? Оттого, что он не утратил связи с тонким миром, в котором каждому воздается по добродетелям и по грехам. В отличие от прочих он это знает. Или не забыл.

«Вот и мне воздается в своё время», отвлекла неуместная мысль.

– А мы не в тонком, мы живём в этом, осязаемом всеми нашими чувствами, мире.

Сказано негромко, твёрдо и с убеждённостью.

Это Кирилов.

Может быть, на сегодня самый талантливый его ученик. У него уже есть пьеса, написанная по всем законам драматургии. И, вроде, с каким-то театром он договорился о постановке.

Этот пробьёт...

А может, самый бесталанней, по одной пьесе не угадаешь.

– Да мы живём в этом матерьяльном мире, и в этом болезном теле...

Сказал и окинул взглядом фигуру Кирилова: далеко не субтильная неопределённого пола, как у многих нынешних, и не атлетическая, но поджарая, с крепкими плечами и мускулистыми, привыкшими к физическому труду руками. Кирилов из семьи знатных шахтёров: дед – орденосец, передовик советской страны; отец – передовик нынешней, в которой ордена заменили деньги. Молодым он стучал каской по столичному бульжнику против старой власти, за что был своим отцом обвинён в продаже страны капиталистам и проклят. Если верить тексту пьесы, тот умер, так и не сняв проклятия с сына.

Сам Кирилов год работал в шахте, в первый раз не набрал проходной балл.

– Но не старайтесь писать, как Шекспир, он – представитель другого мира, другой культуры, иного менталитета, – вставил модное нынче словцо. – Тем более, что гении, способных объять мир, в наше время нет и долго ещё не будет.



И опять замолчал надолго, глядя на печально покачивающуюся желтизну на фоне наливающихся синевой облаков. Это покорное покачивание под слабым ветерком настраивало на медитацию.

В юности он медитировал под мысли о далёком и радостном будущем; в зрелости – размышляя над решением задач ближайших или сочиняя истории, так и не воплотившиеся в поставленные пьесы; теперь же, в такие мгновения, предпочитал ни о чём не думать, уносясь туда, где время перестаёт повелевать...

– Почему вы так уверены?

Это опять Кирилов.

– В чём?

Сделал вид, что не понял.

– Что нет и не будет гениев.

Не стал торопиться с ответом – так трудно было вернуться обратно в суетный мир.

– Лимит на гениев человечеством исчерпан.

Подумал, что слишком категорично и бездоказательно, но пускаться в долгие рассуждения не хотелось. Тем более, зная дотошность Кирилова. Он основателен во всём. Ум не быстрый, но вьедливый. Но не обижать же, вон как глаза сузились.

– Учитесь у Чехова. Чехов – русская душа. Как и Гончаров. Обломов – это мужская славянская душа, а Душечка – Ольга Семёновна Племянникова – женская.

– А почему не Анна Каренина и Андрей Болконский?

Это Перегудина.

Самая внимательная его слушательница.

Она всегда садится напротив и слушает так, словно он объясняется ей в любви.

Под широкими нарисованными бровями – длинные чёрные ресницы и синие глаза. По-видимому, линзы. Фигурные губы – то кроваво-красные, то коричневые, а сегодня фиолетовые – приоткрыты. Волосы тоже она красит каждый месяц в другой цвет, сейчас рыжие... или каштановые. Вот и пойми, где своё, настоящее.

Но время такое.

Поколение такое... внуки...

Кроме своего изменчивого образа она ещё ничего не создала, и не очень верится, что создаст. Хотя нынешнее засилье женской прозы и телесериалов неизбежно заразит и драматургию. И будут тогда на сценах страны, нет, мира, сплетничать, лицемерить, закатывать истерики и говорить о мужчинах свысока.

– Видишь ли, Лев Николаевич совершенно не разбирался в женской психологии. Что, впрочем, замечательно, иначе не было бы того Толстого-писателя, которого мы знаем. Его Анна Каренина – это офицер-холерик в юбке. Такие обязательно должны стреляться на дуэли. Ну, а в данном случае вместо пули – поезд... А Чехов хорошо понимал женскую психологию, иначе он не написал бы «Трёх сестёр». Да и «Вишнёвый сад», «Чайку»... Что же касается Болконского, то он не русский... Или русский французского воспитания. Отчего Лев Николаевич и не позволяет ему долго прожить. Он отдаёт непрожитые им годы Безухову, который хоть и иностранец по воспитанию, но с русской, правда спящей, душой. Иное дело Обломов. Вот она русская душа в своём естественном состоянии созерцания мира, понимания его естественного, не изуродованного человеком, очарования. Штольц – оболочка без души, искуситель, свратитель, завистник. Ибо ему не дано постичь тех тайн, что постигает Обломов. Иностранцам не дано понять нас. – И закончил почти шёпотом, стараясь не смотреть на Перегудину, не сомневаясь, что она ничего не поняла. – Как нам не дано постичь гениальность Шекспира.

И стал ждать реплики Кирилова.

Но, к своему удивлению, услышал голос Перегудиной. Приятный, надо сказать, голос. Ему такой тембр нравился. С притягательной манкостью и в то же время с нотками чувственной искренности.

– Я не согласна с вами. У Карениной не было выхода, потому что она любила Вронского даже больше своего сына. Лев Николаевич очень хорошо знал женскую психологию. А Обломов – лентяй, бесцельная личность, ни на что не способная. Даже на любовь.

– Почему же, он очень даже способен и он любит. Но он любит свою мечту, иллюзию, идеал. А узнав реальную женщину – с её капризами, эгоцентризмом, нарциссизмом, желанием диктовать, – разочаровывается, – опередил его Кирилов.

«Ого, он обижен на женщин. За что, интересно?» – подумал про себя профессор и с любопытством взглянул на Кирилова.

– Это кто из нас жаждет диктовать? – Перегудина окинула Кирилова взглядом, по которому можно было понять, что их связывает неведомая другим тайна.

– Женщина да убоится мужа своего, – буркнул Кирилов, явно не желая вступать в спор прилюдно.

И Перегудина не стала раскрывать тайну, хотя уже было очевидно, что там, в тонком мире между этими двумя, существует связь. Окрепнет ли она до состояния совместного существования в мире реальном

или же растает, осев в памяти, где постепенно будет либо подниматься до идеализации, либо опускаться до отрицания и изгнания, об этом не знают ни они, ни он, мастер, их учитель. Хотя вполне может описать их будущее, исходя из собственных догадок или же фантазий. Но что он желает? Чтобы они были вместе?..

Подумал и ощутил укол ревности. Того, что является жадой владения, собственности, пороком, грехом, о котором так любил размышлять Шекспир. Но он не Шекспир, и он не напишет, как гений, а тогда стоит ли писать.

– Сегодня многим надо брать пример со Штольца. Штолец – настоящий мужчина, за ним как за каменной стеной, – продекларировала Перегудина.

И сама поняла, что сморозила глупость. Но исправляться не стала.

«Чего же она от тебя хочет? Ты ведь вроде парень пробивной, – мысленно спросил профессор Кирилова, наблюдая за незримым сражением мужской и женской душ. – Вероятно, завышенные требования. Тривиальный белый „мерседес“ и беззаботная пустая жизнь. Выхолащивающая душу идеализация быта. Или забота о возможности воспроизводить потомство без страха за своё и будущее детей?..»

– Любовь – это постижение бессмертия. Поэтому для истинно влюблённых рай и в шалаше. Он выделал голосом «истинно».

Сам немало раз увлекался в молодости. Да и потом... Но вот так и не довелось влюбиться «до шалаша».

Или всё же было, но не распознал...

...Он тогда был в фольклорной экспедиции в местах, далёких от современной цивилизации, где непорочно было всё: и говор, и мифы, и люди, и природа. Как непорочны были они, юные студенты. Что тогда свело их вместе, он не помнил, хотя заметил её сразу – филологиню из Ленинграда: карие глаза, соломенные волосы, ямочки на щёчках, стремительная, словно летящая, походка и губы, улыбающиеся всему вокруг... Всем парням – правда, их было всего четверо – она нравилась, все хотели понравиться ей. Он был пятым и не хотел конкурировать. Она сама подошла к нему.

Они до утра проговорили у тлеющего костра, пересидев всех, и на следующий день пошли гулять по окрестностям. Говорили невесть о чём, не замечая ни времени, ни приближающейся грозы, и когда та вдруг разразилась, взявшись за руки, побежали под дождём. И было языческое соединение где-то там: в грозовой вышине, в блеске молний, раскатах грома, водопаде дождя, – их сути, их душ..., необъяснимо-непередаваемый восторг их тел... Что-то уже было между ними в прошлом, до этого бытия, и будет, несомненно, будет в будущем...

Всё это время он помнил её имя, её образ, хотя после этого их пути разошлись.

– ...вы противоречите сами себе.

Что-то ещё говорила Перегудина, но он услышал это. И согласился. Что поделаешь, противоречий хватает: на каждом плече по наставнику, и каждый свою истину нащёптывает...

Можно, конечно, изобразить мудреца. Завести в словесные дебри, не сознаваясь в своём невежестве.

Может быть, так и поступил бы, но пара закончилась. Будущие таланты, по прежней, советской формулировке – инженеры человеческих душ – неторопливо покидали аудиторию. Только Перегудина медлила.

Наконец они остались одни и он понял, что она задержалась неслучайно.

– Ну, говори.

Он улыбнулся, чувствуя свою власть над этой молодой женщиной, одновременно наслаждаясь и стыдясь этого возвышения.

«Всё-таки, мы очень разные, мужчины и женщины», – ещё раз утвердился в мысли, которая оформилась после распада второго брака.

– Я написала пьесу. – Она решительно шагнула к столу, положила перед ним тоненькую стопку листов. – Одноактную.

Он взял стопку в руки, развернул веером и снова свернул.

– Прочитаю.

– Про любовь... – добавила она, и он понял, что вся её вызывающая уверенность в себе – бравада. Защита.

– Я догадываюсь.

– Только вы не думайте, что я с кого-то это списала, – отчего-то сказала она, ожидая согласия.

Но он не стал соглашаться.

– Писатель всегда списывает. Человек не способен выдумывать. Он способен считывать невидимое и непонятое другими.

– Пусть так... – покорилась она. – Я пойду?

– А чего ты спрашиваешь. Лекция закончена.

Помедлила. Явно хотела что-то сказать, но потом повернулась, заскользила в больших белых кроссовках, подчёркивающих изящество длинных ног, к выходу.

Он нацепил очки, пробежал первую страницу, не ожидая никаких открытий, но всё же на что-то надеясь...



В пьесе было два действующих лица: старик и девушка. Они просто говорили на берегу моря.

«Почему обязательно моря? – подумал он. – Ах, да, потому что горизонт одинаково далёк и для остроглазой молодости и для подслеповатой старости».

Говорили о том, что было интересно девушке. Потому что она ещё не нажила свой опыт. И совсем неинтересно старику, который уже обладал знанием будущего и умением предсказывать. Это было банально, но он продолжал читать пьесу, надеясь открыть что-то для себя, что несёт в себе новое поколение. Но диалоги были шаблонны, драматургии – то есть раскрытия многообразия характеров, столкновений душ там, в тонком мире – не было. Было описание соблазна.

Он вспомнил о соблазне...

...После пятого курса его женатый друг ушёл в армию, поручив ему опекать молодую жену, присматривать за ней. На правах друга семьи он часто приходил к ней. И однажды остался ночевать. Постель была одна, и они лежали на ней вдвоём, отгородившись свёрнутым в рулон одеялом, и пытались отогнать соблазн доступной близости разговорами о друге-муже, о знакомых, о студенческих заботах, – она училась на пятом курсе. Но соблазн всё более сближал их и только то, что он твердил без устали, что она жена его друга, сдерживало его. Они проговорили всю зимнюю ночь до рассвета, так и не сомкнув глаз. Но и не согрешив...

Сейчас почти все молодые стараются описать, показать на сцене свой соблазн, не поднимаясь выше, не постигая высоты Шекспира.

Нет, это не будущее, это падение в далёкое прошлое...

Он перевернул последнюю страницу.

Увидел Перегудину. Без макияжа, красок, маски прилежной ученицы. Такой, какой она бывает наедине с собой.

Даст ли Бог этой молодой женщине познать, что такое любовь?

И тут же усомнился в своём праве судить.

Дал ли Он ему?..

Если дал, то только тот, один-единственный день, когда их губы учились вместе ловить капли дождя, а души познали друг друга...

# НАТАЛЬЯ ГРИНБЕРГ

## РОМАН МИХЕЕНКОВ

### ПЛАСТИНКА НА КОСТЯХ

пьеса

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЛЕНА: 40+, начальник лаборатории парфюмерной корпорации. Одета для многочасового перелёта, но всё равно элегантно и женственно.

ТАПЁР: 40+, мужчина, играющий на фортепьяно в Центральном парке Нью-Йорка. В отдельных эпизодах он становится Даней – главным героем истории Лены. В этих эпизодах он именуется ДАНЯ. Если в театре нет профессионально играющего на фортепиано актёра, можно использовать фонограмму импровизаций, расположив инструмент таким образом, чтобы зрители не видели рук актёра. Темы импровизаций либо указываются в ремарках, либо выбираются в процессе постановки.

*Осень. На сцене скамейка в сквере Центрального Парка Манхэттена. Виден мемориал Джона Леннона – чёрно-белый круг, внутри которого написано «IMAGINE». По линии круга, аккуратно, чтобы не закрыть буквы, выложены розы, ромашки и красные гвоздики. Рядом с мемориалом стоит пианино. Перед ним – стул для пианиста. Лена выходит на сцену, разговаривая по мобильному телефону. Она катит большой чемодан. На плече дамская сумочка. Она останавливается и опускает сумочку на скамейку.*

ЛЕНА. ...А я волнуюсь, что ты волнуешься... Во Франкфурте самолёт долго чинили, а потом вообще другой дали. Прилетела в Нью-Йорк только утром, но сна ни в одном глазу. ...Да я вообще не пошла сегодня на работу. Справятся. ...Я не шучу... муж в командировке в Атланте, а я из аэропорта приехала в Центральный Парк. Как дура, с чемоданом. Сижу на Клубничных Полянах. Их иногда на русский переводят, как земляничные. Чего только не придумают. Я сфоткаю и пришлю... Как грустно... Расставаться грустно... И я тебя... А я больше. *(Нажимает кнопку на телефоне, потом делает им несколько фотографий сквера. Убирает телефон в сумку.)*

Как там у Пушкина? «Мне грустно и легко»... А вот мне грустно и тошно.

*Подходит к пианино. Пока она открывает крышку и одним пальцем, не совсем верно наигрывает мелодию песни Джона Леннона «Imagine», на сцену выходит Тапёр. Звонит его мобильный телефон. Он проверяет, кто звонит, и с раздражением сбрасывает звонок.*

*Тапёр подходит к пианино. Смотрит на Лену, качает головой.*

ЛЕНА *(Тапёру)*. Мимо нот, я знаю. Что вы хотите от химика?

ТАПЁР. Музыка – тоже химия. Она же о любви.

ЛЕНА *(Отходит от пианино)*. Может быть, вы играете?.. А я вот только сочиняю о любви.

ТАПЁР. Вы – химик-композитор?

ЛЕНА. Композитор... ароматов. Бывает абсолютный слух, а у меня абсолютный нюх. *(Приближается к тапёру. Глубоко вдыхает.)* Часа два назад вы нанесли на кожу одеколон. Начальные ноты уже выветрились. Теперь уже трудно сказать, что в них было, что привлекло вас в этом одеколоне. Сейчас играет «сердце» композиции: розмарин, шалфей и герань.

ТАПЁР. Точно! Два часа назад я собирался на... *(Машет рукой.)* Лучше не вспоминать. А что останется после сердца?

ЛЕНА. Это станет понятно чуть позже. Я, конечно, не газовый спектрометр...

ТАПЁР. Хм?

ЛЕНА. Аппарат типа рентгена для ароматов... Так, всё-таки, вы играете?

ТАПЁР. Играл когда-то в университетском джазе.

ЛЕНА. Тогда, пожалуйста, похимичьте что-нибудь для меня. Пожалуйста...



*Тапёр садится за пианино, наигрывает импровизацию на мелодию «Imagine». Лена слушает музыку.*

ЛЕНА. Представьте, представьте себе... Невозможно поверить в цепочку событий, которая привела меня сегодня в Центральный парк на Манхэттене. Можно только представить. Всё началось...

ТАПЁР (*Начинает играть «Yesterday»*). Вчера?

ЛЕНА. Гораздо раньше.

ТАПЁР. Во времена Монтекки и Капулетти?

ЛЕНА (*Усмехается*). Что-то вроде того.

ТАПЁР. Я что угодно могу сыграть.

ЛЕНА. Тогда что-нибудь ностальгическое.

*Снова звонит мобильный телефон тапёра. Он проверяет, кто звонит, и через паузу нажимает кнопку.*

ТАПЁР. Я просил тебя больше не звонить. (*Сбрасывает звонок, кладёт телефон на верхнюю крышку пианино.*) Итак, ностальгическое... Одному музыка нужна, чтобы вспомнить, другому – чтобы забыть.

ЛЕНА. Догадываюсь, к какой категории относитесь вы.

ТАПЁР. Хвост лучше рубить сразу под корень, а не по частям.

ЛЕНА. Думаете? А если ошибётесь?

ТАПЁР. Кто не ошибается, тот не живёт. (*Играет пассаж на пианино.*) Я вас перебил. Так когда же всё началось?

ЛЕНА. Всё началось, когда я ещё жила с родителями в городе N-ске. Я возвращалась с учёбы в Политехе. Ключи от почтового ящика забыла дома и пыталась разглядеть содержимое через три вертикальных щёлки в дверце. Рядом с газетой «Советский N-ск» лежит конверт. Так... Елене Михайловне Гуревич. Это мне. За все свои семнадцать лет я получила, может, три письма. От кого бы это? (*Наклоняет голову в разные стороны, морщит нос, шурит.*) И-р-и-на Бо-г-дан-чук. Ирина Богданчук?

Просовываю карандаш в щель, и кончиком толкаю конверт к верхнему отверстию. Долго ли, умеючи. (*Достает конверт из кармана или берёт со стола, вынимает из него тетрадный листок. Читает.*) Бессмыслица какая-то. Вы только послушайте, что она пишет! Кто она? Понятия не имею, какая-то девушка. Она обвиняет меня в «намеренном охмурении» её парня. Намеренном! «Мы встречались два года без туч на горизонте, но, возвратившись с картошки две недели назад, он стал сам не свой и рассказал мне о тебе. Но ты же его не слишком любишь. Отпусти его. Он мой!». Не слишком любишь? Но кого я не слишком люблю? Ёшкин кот, кто же её ухажёр? Она так и не назвала его. В меня по уши влюбился парень, в которого по уши влюблена другая девчонка, так, что не постеснялась написать и требовать его обратно! (*Слышно сердцебиение.*) Послушайте, как забилось моё сердце. (*Взгляд Лены падает на руку, держащую письмо, и она внимательно изучает свои ногти.*) Чёрные края. Это от фосфора в лаборатории, но он же подумает, что я грязнуля. Быстрее домой делать маникюр. Нет, сначала к Ирке Тогинской за лаком. Она хвалилась, что её мама достала импортный. Какой-то особенный цвет, к тому же перламутровый...

По дороге к Тогинской перебираю в уме парней из нашего Политехнического техникума, всех, в кого я влюблялась за три курса. Они так вдохновенно флиртовали со мной... и с десятком других девчонок. А мой секретный поклонник ведь должен быть застенчивым.

На следующее утро исподтишка наблюдаю за молодыми людьми в Политехе. Какая интрига! Пытаюсь поймать на себе пристальный взгляд своего секретного поклонника, заставить его покраснеть. Предвкушаю, как его глаза блеснут смущением, или надеждой, или желанием выдать себя. Ведь должен же он хотеть, чтобы я о нём узнала. Что толку скрываться? Но он упорный... Целое утро его выслеживаю. Устала от неизвестности и проголодалась. Иду обедать с друзьями в кафе неподалёку; днём там дешёвые комплексные обеды.

Студенты толпятся в просторном холле, норовят влезть вне очереди. Здесь нужен глаз да глаз. Пропускаем вперед пару. Что поделаешь. Нам нужен большой стол. Нас пятеро друзей: три девушки и два парня, Дания и Сергей.

На последней картошке мы пятером работали на кухне.

*Тапёр начинает играть импровизацию на песню «Back in the USSR».*

ЛЕНА (*Тапёру*). Не сейчас.

ТАПЁР (*останавливается*). Почему?

ЛЕНА. Эта песня ещё пригодится. Не тратьте зря. (*Зрителям*) Итак, на последней картошке мы пятером работали на кухне. Кого студентом не посылали на уборку урожая в колхоз, тот и не подозревает о «пре-лестях» кратковременного рабства.

*Танёр играет импровизацию на тему «Magical mystery tour».*

ЛЕНА (*Танёру*). Да, вы правы. Волшебное магическое путешествие. (*Зрителям*) Колхоз. Картошка. Кухня. Поди накорми сотню студентов. Они притащатся, еле живые, с поля, голодные, грязные от ползания по борозде в поисках картошки. Ногти у них чёрные, уже не от фосфора, а от копания в земле. А мы на кухне, встаём в полшестого утра, чистим вёдра картошки, таскаем гигантские кастрюли гречневой каши, вымываем горы алюминиевых мисок. Спим на тонких матрасах, брошенных прямо на пол в столовой. Работа и постоянное соседство сплотили нас. Мы так привыкли друг к другу, как будто одна семья. (*Глубоко вдыхает несколько раз, анализирует ароматы*). Грибной суп. Пожарские котлеты. Картофельное пюре. Умираю как хочу есть. Мой желудок предательски урчит.

Даня говорит:

– У меня есть шоколадная конфета. Хочешь?

ДАНЯ. У меня есть шоколадная конфета. Хочешь?

ЛЕНА (*Удивляется, потом принимает новые правила игры*). Какая?

ДАНЯ. Твоя любимая, «Белочка».

*ДАНЯ протягивает Лене конфету, завернутую в хрустящий фантик. Лена берёт конфету, разглядывает.*

ДАНЯ. Есть ещё, если захочешь.

*Танёр возвращается к исполнению, устранив от разговора.*

ЛЕНА. Я беру конфету и поднимаю голову, чтобы увидеть его лицо. Рисковый парень. Отрастил свои золотисто-коричневые волосы до плеч. Учителя презирают длинноволосых студентов. Мол, ума нет, так патлы не помогут. Даня, как всегда, чисто выбрит. Его кожа кажется мягкой и гладкой. Так и хочется провести пальцами по его щеке.

Он добродушно обнимает меня за плечи, и я чувствую себя полностью защищённой. Пусть кто-нибудь попытается меня обидеть или пролезть без очереди. Даня им покажет. Я заглядываю ему в глаза. Пытаюсь прочесть в них его секреты. Должны же они у него быть. У каждого есть. А он смотрит на меня и не отводит взгляд, и вовсе не краснеет. Что бы это значило? По-дружески не стесняется меня или, наоборот, посылает мне какой-то сигнал? Ёшкин кот!

*Лена подходит к Танёру, пытается втянуть в разговор.*

ЛЕНА. У тебя есть девушка?

*Танёр не отвечает.*

ЛЕНА. В нашей «кухонной» компании мы такие вещи не обсуждаем. Вроде ни у кого на нашем курсе нет серьёзных отношений. Больше дружим стайками и безобидно флиртуем. Вот мой секретный поклонник, он – особенный! Он встречается с девушкой аж целых два года!

ЛЕНА. Даня, у тебя есть девушка?

ДАНЯ. У меня? Девушка?

ЛЕНА. У тебя. Её зовут Ирина?

Его рука движется вверх, пальцы дотрагиваются до моей шеи и чуть подрагивают, будто передают сигнал ещё раз взглянуть в его глаза. Голубые, как у сибирского хаски. Они завораживающе мерцают. Он долго не моргает, и молочный туман наших утренних кухонных часов окутывает меня.

ДАНЯ. Хочешь ещё одну «Белочку»?

ЛЕНА. Я не могу выдать ни слова. Слепая! Мы работали с ним бок о бок целый месяц. Разливали борщ в миски из огромного чана. Нарезали бесконечные буханки хлеба. Болтали вечерами напролёт, лёжа на соседних матрасах. Как я могла ничего не видеть? Помню, когда я обожгла руку кипятком (*показывает*) вот здесь, он делал мне примочки ледяной водой из колодца и заговаривал мне боль: «Ленка-пенка, колбаса, на верёвочке оса». А по субботам, когда показывали кино в сельском клубе, он всегда занимал для меня место получше. В полумраке я иногда замечала, что он смотрел на меня.

Ёшкин кот! Парни должны что-то делать, как-то заявлять о своих чувствах. Ведь правда? Поцеловать, нежно дотронуться, обнять, что ли. Но Даня никогда не переходил за рамки дружбы.

Я смотрю на него с новым интересом. Противоречие меня интригует: он одновременно исключительно





внимателен и по-джентльменски сдержан. Он убирает руку от моей шеи и начинает рыться в кармане своих брюк, потом вручает каждой из наших девушек по «Белочке». Вот и поди разбери его. Я ждалась внутри. Нет, я ошиблась. Он просто мил ко всем, не только ко мне. Я делаю вид, что ищу что-то в своей сумочке. Мой взгляд падает на его широкие брюки клёш. Они не подметают пол, как положено по моде, а еле дотрагиваются до обуви. Смотри, смотри, приказываю я себе, будто уговариваю выпить противное лекарство от внезапно накрывшего меня чувства: у этого мальчишки короткие штанишки.

*ДАНЯ подходит к Лене, протягивает конфету.*

ДАНЯ. Хочешь ещё конфетку?

ЛЕНА. А я слышу: «Хочешь меня?». Да... я хочу сказать, но отрицательно мотаю головой. Ну как тут не запутаться в его словах и поступках.

*Танёр играет импровизацию на фортепьяно.*

Мой старший брат, Оська, готовится к зимним экзаменам в гостиной. Лежит на диване. Ночью он на нём спит. Я занимаюсь за столом в спальне, которую делю с родителями. Между их кроватями-одинарками стоит ночной столик. Изголовье моей кровати упирается в боковую стенку шкафа, скрывая ночью меня от родителей, а их от меня. Вся квартира – метров сорок. Так живут счастливицы, да ещё с бабушками и дедушками. Правда, в нашей семье всё старшее поколение погибло во время войны.

Позвонили в дверь. Оська открыл и проорал из прихожей: «Это к тебе!».

– Кто? – ору я обратно.

– Ирина!

Моя однокурсница Ирка Тогинская.

– Я в спальне, – кричу, надеясь, что она не застрянет с Оськой в коридоре. Он мастак на небылицы и всем моим подругам вешает лапшу на уши.

Оборачиваюсь сказать привет Тогинской, но обнаруживаю перед собой незнакомку. Девушка моего возраста и роста рассматривает меня близкосопряженными глазами. Её волосы висят жирными сосульками. Если бы не странно посаженные глаза, её лицо и запомнить трудно. Платье в мелкий цветочек, без претензий на моду, без макияжа. У нас в Политехе таких нет. Кто это? Ирина из письма? Она громко дышит, потом шипит:

– Я просто хотела увидеть твои бесстыжие глаза.

Это она, без сомнения. Неважно, что сейчас произойдёт, что и как она скажет, главное – она назовет имя своего парня. Боже, сделай так, чтобы это был Дания!

Ирина упирается кулаками в бока:

– Оставь нас в покое!

– Кого «нас»? И, вообще, я влюблена в другого. Что он тебе наговорил?

– Ты его только мучаешь. Мразь! Все вы такие!

– Кто «все»?

Она выкрикивает слово на буквы «жи». О нет! В моём круту такого себе никто не позволяет. Я-то представляла, что девушка моего секретного поклонника мне ровня, а передо мной топает ногами какая-то дунька. Фи... Если он мог влюбиться в такую, то и сам птица невысокого полёта. Не хочу и знать даже, как его зовут.

Ирина всхлипывает и трёт пальцем под носом. Я быстро остываю. Как я могла даже подумать влюбиться в её парня? Как я могла потерять голову? Зачем мне воровать любовь, когда у меня самой много завидных вариантов – Славик Симоновский, например. У него такие пепельно-белые кудри, и... классные зелёные глаза, узкий орлиный нос. Он живёт на одной лестничной площадке с моей подружкой Соней, и мы оба уже приглашены к ней на встречу Нового Года.

– Дания – моё всё, – опять начинает Ирина. – Оставь его в покое!

Дания! Всё-таки Дания! Ожидала и надеялась, что это окажется он, но имя всё равно резануло. Месяцами быть таким глупым и нерешительным, не обмолвиться ни словом о том, что влюбился в меня. Почему? Благородство по отношению к Ирине или трусость? А, может, она всё придумала или сделала из мухи слона. Она бросается вперёд, протягивая руки к моей голове.

– Оська! – я ору, пытаясь предупредить таскание за волосы. Она останавливается. Я выбираю холодный тон английской леди и даже перехожу на «вы», как в кино про викторианскую эпоху:

– У меня нет абсолютно никакого, ни малейшего интереса к вашему Дане. Выкиньте это из головы. Он мне не нужен. Понимаете, не нужен. Я с ним не встречалась, не встречаюсь и встречаться не собираюсь. Заверните его в кулёчек и носите в авоське. А сейчас мой брат проводит вас до двери. Удачи вам и прощайте.

*Танёр прекращает играть, встаёт.*

ДАНИЯ (*Зрителям*). Это же надо было придумать!.. Требовать меня обратно. Я что, переходящее красное знамя? Выдумала, что я с ней встречаюсь. У родственников на свадьбе два года назад за столом сидели рядом, а потом на волне общего веселья поцеловались. Один раз! Я даже не её конкретно целовал, а ту, что была под рукой. Они для меня все были хороши. Тогда же и пригласил её в кино. Сходили через неделю. Неудобно было не пойти. Говорить нам было не о чём. Проводил до подъезда и вежливо попрощался. А месяц назад встретил её на улице. Поболтали, как старые знакомые. И это всё. Один поцелуй, а она себе возомнила, что я с ней встречаюсь. Поджидает у дома, звонит каждый день. Вот что мне теперь делать? Лене даже в глаза стыдно посмотреть.

*Танёр возвращается к инструменту, начинает играть.*

ЛЕНА. Ёлка у Сони стоит, как никогда, высокая и пышная. Сверкает стеклянными шарами, гирляндами и раскрашенными немецкими игрушками. Они считаются лучшими, потому что импортные. ГДР – почти запад, а запад – это «нельзя, но очень хочется». Запах хвои и салата «Оливье» вызывает у меня праздничное настроение. Новый Год, как-никак: обязательно должно случиться что-то замечательное, что-то необыкновенное. Здесь собралась наша еврейская стайка, и можно болтать о том, о чём в других местах как-то неудобно говорить. Кажется, что свои поймут лучше, с полуслова, им не надо рассказывать всю историю от Адама до сегодняшнего дня.

После полуночного выстрела шампанского, тостов и поздравлений, я выхожу в другую комнату и по пути нарочно дотрагиваюсь коленом до Славика. Свет не включаю. И так светло от ёлочных огней в доме напротив. Праздник! Стою возле окна, люблюсь.

– Аа-а, ты здесь, а я не знал.

Это вошёл Славик. Он подходит к окну и тоже начинает смотреть на свечение соседских ёлок. От него исходит резкий запах одеколona. Я поправляю себя: не резкий, а мужественный. Спрашиваю:

– Правда, красиво? – а сама думаю: интересно, как долго он будет притворяться, что ничего интереснее вида за окном не существует? – Ах..., – я театрально вздыхаю, и тогда, наконец, он кладёт мне руку на плечо, но всё равно как-то неопределённо, почти невесомо.

Он шепчет:

– Да, светящиеся ёлки... – и замирает. Тишина и неподвижность грозят затянуться. Я шевелюсь, чтобы напомнить о себе. Обнаждённый, он приближает своё лицо к моему и целует в губы, долго, дольше, чем в фильмах. Он целует меня, обдавая запахом селедки под шубой и чёрного хлеба, потом резко и сильно прижимает к себе и, неожиданно, раздвигает мои губы языком и засовывает его дальше... Это что, тоже поцелуй? Ну, Ленка, ты даёшь! Неужели это ты обнимаешься в тёмной комнате с красавцем, его кудри ласкают твоё лицо, его язык переплетается с твоим? Наконец-то, тебя целуют по-настоящему... Шарят под юбкой. Ой!.. И под бюстгалтером. Ой-йо-йой... Целуют и целуют... Целуют и целуют... Целуют и целуют... Ну, сколько можно целоваться! (*Морщится.*) Ничего во мне не зажигается. Разве от селедки под шубой что-то может зажечься? Я разыгрываю романтическую сцену, но... (*Пожимает плечами.*)

Боже, как мне становится скучно. Терпеть больше мочи нет. Я освобождаюсь из объятий Славика и тащу его к остальным гостям, а он:

– Ну, Ленка, куда ты? Ведь так хорошо.

– Хорошего понемногу, – отвечаю я и ухожу в гостиную.

При встрече на лекции после зимних каникул я делаю вид, что между нами ничего не произошло. Вот так: здравствуй, Славик, и прощай.

*Танёр останавливается, встаёт.*

ДАНИЯ (*Зрителям*). Вот вы спросите: почему Лена? Она... (*руками очерчивает женскую фигуру в воздухе*) такая и... (*очерчивает глаза и лицо в воздухе*) такая. Понятно? Это главное, но не главное.

Идём мы как-то компанией из Политеха. Соревнуемся, кто смешнее изобразит нашего комсорга. У него была манера переходить на дискант во фразе «всё прогрессивное человечество». И тут Лена предлагает:

– Играем в выбор из двух? Хотели бы вы родиться кошкой или собакой?

Кто замыкал, а я гавкнул. Все покатались со смеху. Лена твякнула и мило покрутила носиком. Еле удержался, чтобы не погладить её, как пёсика, а она задала следующий вопрос:

– Вы можете переместиться на десять минут в прошлое или будущее. Куда вы отправитесь?

«В прошлом у нас политинформация», – сказал я. – «Только вперед!». Другие тоже выбрали будущее. – «Лен, так нечестно. Все отвечают, а ты нет».



А она:

– Я бы отправилась в прошлое. Будущее ведь всё равно случится, а прошлое можно исправить, если что не так.

Все замолкли. И в этом вся Лена. Думает о таких вещах. Теперь и я об этом думаю.

*Танёр возвращается к инструменту.*

ЛЕНА. В начале следующего учебного года, перед отъездом на очередную картошку, наша пятёрка собирается в парке для обсуждения стратегии.

Опять хотим все вместе попасть на кухню. Хотя там рабочий день чуть ли не вдвое дольше, чем полевой, нам нравится его разнообразие.

– Наше преимущество – опыт и качество, – настаиваю я. – Наш борщ и драники помнят все.

Ребята аплодируют, но Дания воздерживается. Ложка дёгтя – его:

– Но гарантии, что выберут нас, нет.

А я не сдаюсь:

– Вот поэтому нам нужно держаться уверенно и сплочённо. У меня всё.

Потом Сергей с девчонками направляются в ГУМ за тетрадами. Может, там на прилавки выбросили и что-то более интересное – никогда не знаешь, как мы говорим, что день грядущий Гум готовит. Мы с Даней идём по Ленинскому Проспекту, мимо кинотеатра «Победа». Он живёт недалеко. Я никогда у него не была, и меня разбирает любопытство. Замедляю шаг в надежде, что он позовёт меня к себе.

Он говорит:

– Хочешь? У меня есть пластинка Джона Леннона из Битлз.

ДАНИЯ. Хочешь?

ЛЕНА (*Зрителям*). Я оглядываюсь. Вокруг пешеходы, а он громко говорит о Битлз, как о хоре Пятницкого. Ведь люди услышат! У властей своя логика: сегодня ты носишь брюки клёш, отрициваешь патлы и слушаешь Битлз, а завтра, того и гляди, станешь диссидентом или шпионом. Перестраховщица я. (*Дане*) А мне такая музыка не нравится. (*Зрителям*) Дания добродушно улыбается. Искренне, абсолютно не врубаясь в ситуацию.

ДАНИЯ. Понравится! Он же из Битлз! Джон Леннон! Во какой чувак, и музыка клёвая. Идём ко мне, послушаем.

ЛЕНА (*Зрителям*). Я быстро перевожу разговор от «греха» подальше. (*Дане*) Знаешь, как мы выйдем на расстоянии? Как вилака с чайной ложечкой.

ДАНИЯ. Ну ты и придумаешь. Ложечка...

ЛЕНА (*Дане*). Чайная. (*Зрителям*) Он живёт с родителями в двухкомнатной квартире в довоенном доме. Поднимаемся на второй этаж. Внутри какой-то серо-буро-малиновый беспорядок, разрозненная мебель с просиженными сидениями и потёртой обивкой. Есть на что сесть и на чём спать – уже хорошо. Дания говорит, что родители переехали из села до войны, ещё школьниками. Работают на радиозаводе.

Я вожу взглядом по гостиной и всё что-то ищу. Чего-то не хватает... Хм... Не хватает корешков романов, научных томов и машинописных текстов, стопками лежащих повсюду у нас дома. Здесь и газеты не видно. У меня всё сжимается внутри.

Воздух затхлый. Наверное, давно не открывали окон, а, может, это запах рыжей кошки, развалившейся на крышке проигрывателя.

– А ну, брысь! – Дания сгоняет её с насиженного места, открывает проигрыватель и достаёт из шкафа рентгеновский снимок. Смотрит сквозь него на окно – я замечаю на снимке силуэт позвоночника.

ЛЕНА (*Дане*). Дания, что это?

ДАНИЯ. Битлы на костях. Это пластинка. Всю запрещённую музыку так записывают.

*ДАНИЯ кладёт рентген позвоночника на проигрыватель, стоящий на крышке пианино, и очень аккуратно ставит на него иглу.*

ДАНИЯ. Батя ругается, что я трачу время и деньги на эту дребедень. Сукин сын – так он «ласково» называет меня – в армии из тебя сделают человека. Ждёт не дожждётся, когда меня призовут.

ЛЕНА (*Зрителям*). Как странно: мои родители, наоборот, опасаются Оськиного призыва. Говорят о де-довщине, но Оська не боится и занимается боксом.

*Танёр играет импровизацию на тему «Imagine».*



ЛЕНА. Сидя на стуле рядом с проигрывателем, я стараюсь не вслушиваться в звуки Леннона. Преданность граждан на букву «е» и так под сомнением. Лучше быть настроже. Мама любит повторять:

– Бережёного бог бережёт.

Только дома и в стайке подруги Сони я позволяю себе сбросить личину образцовой советской комсомолки. Вот и сейчас у Дани, я сижу, ни дать ни взять, пионер-герой, защитник отечества от пагубного иностранного влияния: на пластинку не гляжу, губы поджала, руки на коленях, но хочется закрыть ими уши. Всё боюсь, что западная музыка развяжет мне язык, и я ляпну что-нибудь диссидентское, услышанное дома. Дания устраивается на коврик у моих ног и с закрытыми глазами раскачивается в такт песни. Я в немецкой группе, а он в английской. Он переводит мне несколько фраз:

ДАНИЯ. Если бы не было государств и религий, мы бы все жили в мире.

ЛЕНА (*Дане*). При чём тут религия? Мы и так все научные атеисты. Я в синагоге ни разу не была, даже не знаю, как она выглядит. Ты в церкви тоже не бывал. (*Зрителям*) А про себя думаю: то, что у нас есть люди на «е» и все остальные, не должно иметь значения. Между нами должен быть мир. Он и есть, но в этом мирном омуте черти водятся.

Песня закончилась. Дания открывает глаза и смотрит на меня с такой тоской, что меня в дрожь бросает.

ДАНИЯ. Как тебе может не нравиться Леннон?

ЛЕНА (*Зрителям*). А я слышу: «Как ты можешь не любить меня?». Мы бросаемся друг к другу, наши губы сливаются, наши руки цепляются друг в друга. Как будто мы взлетели. Сила нашего объятия удерживает нас от падения. Наши тела и языки переплетены. Клубком мы вращаемся вокруг земли или какой-то другой планеты. Так будет всегда. Мы – вечность. Мы – одно.

Вдруг Дания берёт моё лицо в ладони и шепчет скороговоркой:

ДАНИЯ. Я понимаю, понимаю, что недостоин тебя. Кто я по сравнению с тобой? Ты заслуживаешь лучшего. Ты заслуживаешь большего. Ты такая...

ЛЕНА (*Зрителям*). Он делает шаг назад, втягивает голову в плечи и смотрит на меня, как на статую на пьедестале.

ДАНИЯ. Я ноль по сравнению с тобой. Ты поступишь в институт, станешь доктором наук, совершишь открытия. Ты умная. Ты блестящая. Когда ты станешь...

ЛЕНА. Дания! Что ты несёшь!

ДАНИЯ. Я не такой умный. Перед началом эксперимента ты уже знаешь результат. У тебя ответы всплывают, как лампочки, а я просто брожу в темноте. Куда мне до тебя!

ЛЕНА. Неправда!

ДАНИЯ. Правда, правда! Ты видишь яблоко и сразу знаешь, что оно червивое. Ты смотришь на меня и спрашиваешь: «Ну, как такого можно любить! Он барахло!».

ЛЕНА. Зачем ты на себя наговариваешь? Ты добрый! Ты заботливый! Ты умный! (*Зрителям*) Мои правильные слова повисают в воздухе, но не пробивают броню его самоунижения. Высоченный, он выглядит маленьким и жалким. Губы дрожат; он сдерживается, чтобы не заплакать.

Я молчу в растерянности. Кошка запрыгивает на стол рядом с проигрывателем и тоже застывает, выпучившись на Данию. Меня окатывает волна... какой-то неуютности. Я снова вижу себя в незнакомой, затхлой комнате. Думаю: вот представлю я Данию маме с папой, а они зададут свой вечный коварный вопрос: где были его родители во время войны. А ответ ведь непредсказуем. Мои бежали из гетто и воевали в партизанском отряде. Их родителей расстреляли и закопали в Яме прямо в центре N-ска. На этой почве у моих был бзик, доходивший до истерик. Нет, надо бежать из этого дома, немедленно бежать! (*Дане*) На самом деле я поступила некрасиво. Я ведь влюблена в другого.

Дания вдыхает и забывает выдохнуть. Брови нависают тучами над потухшими глазами. Затихшее перед бурей длится несколько секунд, потом он вздрагивает, срывает рентгеновский снимок с проигрывателя, пытается порвать, но у него ничего не получается. Тогда он сминает его в шелестящий комок и приговаривает:

ДАНИЯ. Видишь! А я был прав. Ты нашла себе лучшего, потому что я барахло!

ЛЕНА (*Зрителям*). Сердце у меня сжимается от жалости к нему. Что это я ему сказала? Кто меня за язык дёрнул? Чёрт, что ли, вылез из омута? Мы оба временно сошли с ума и наговорили друг другу глупостей! От потрясения, возбуждения, желания, табу. – Дания, Дания! – кричу я, пытаясь остановить его, но он отворачивается и делает вид, что меня нет. На мгновение я даже думаю, может, это и к лучшему. Отрезать, отвыкнуть, забыть, но от этой мысли меня охватывает смертельный ужас, как будто я только что отвергла не только Данину любовь, но и всё своё будущее.

Была бы я опытной, подождала бы минуту и потом нежностью растопила бы его и свою глупость. Милые бранятся, только тешатся. Но молодость, но гордость! Как же – он на меня даже не смотрит, а я его начну уговаривать. Я хватаю свою сумочку и выбегаю вон.

*Танёр играет импровизацию на фортепьяно.*



На картошке Дания не присоединился к кухонной команде, просто не сделал шаг вперёд, когда руководитель группы вызвал волонтёров. В этот день я всё пыталась с ним поговорить, но он не только избегал быть со мной наедине, но даже и смотреть в мою сторону не хотел.

Второй день картошки, а он всё злится. Это понятно. Значит, я ему не безразлична. Завтра или послезавтра он не устоит и посмотрит мне в глаза. Вот тогда я и признаюсь ему в глупом вранье про несуществующего другого парня, и всё это мы будем потом вспоминать со смехом, как недоразумение.

На ужин Дания появляется в компании с длинноногой Светой Кричевской. Она поступила в техникум с рабочим стажем и старше всех нас на три года. Они занимают место в дальнем углу столовой. Дания не сводит с неё взгляда и, время от времени, берёт её руку в свою. Но как это так! Он же мой!

*Танёр останавливается, поворачивается к зрителям.*

ДАНИЯ (*Зрителям*). Клин клином... Решил – сделал. Получилось даже лучше, чем ожидал. Ни тебе вздохов годами напролёт, ни подбирания каждого слова, ни постоянного ожидания, что вот она обернётся и посмотрит на меня. Сколько времени потратил на эту романтическую чушь! Любит другого – на здоровье! Я тоже буду любить другую. Глаза, наконец, открылись. Желаящих – каждая вторая, а то и все. Свистнул. Пришла Светка. Дала. Взял. А с этой... полжизни истратишь, пока до постели дойдёшь. Нет уж! Клин клином. Решил – сделал. Дала – взял. Главное – не смотреть Лене в глаза и разговаривать, как с посторонней. Она тебе больше никто. Она тебе даже хуже, чем никто. Клин клином.

ЛЕНА. Я стою на раздаче второго блюда. Кусочки баранины в гречке. Дания встал в очередь, но часто оборачивается и кивает Кричевской. Говорит мне безразлично:

– Нам две порции.

– Как ты? – я кладу половник каши с верхом на его тарелку и выдавливаю улыбку.

Он бросает на меня презрительный взгляд сверху вниз, как бы пытаюсь разглядеть букашку, на которую чуть не наступил:

– Это не твоё дело.

Ёшкин кот. Как же так! Он мне отомстил, и я поняла свою вину, а теперь мы должны были помириться. Не мог же он на самом деле влюбиться в Светку за один день.

Я отдаю поварёшку Тогинской и выскакиваю на улицу в тонкой рабочей рубашке. Холод пронизывает меня до костей. Я стою и смотрю в одну точку, а в голове у меня кружится кино про новых влюблённых, Данию и Светку. В груди болит так, как будто по ней ударили молотком. Где бы взять лекарство или зелье, чтобы забыться и забыть.

На следующий день я просыпаюсь с температурой и насморком. Кости ломит ужасно. В общем, типичный грипп. Деревенская фельдшерница заботливо ставит мне банки. Ну и пусть. Естественно, что единственным результатом лечения является узор из жареных кружков на спине. Меня отпускают домой до выздоровления. Всю неделю в N-ске я мечтаю об объяснении с Данией и, в то же время, боюсь, что он не станет выслушивать мои доводы и извинения. И правда, когда я возвращаюсь в деревню, он до конца картошки избегает тет-а-тетов со мной. Что ж – заслужила. Поделом!

*Танёр играет импровизацию на фортепьяно.*

После окончания техникума, я поступила на химический факультет Ленинградского университета. Благодаря красному диплому и связям моей тётки, работавшей там секретаршей ректора. Не без этого. На вечеринке на первом курсе я встретила Илюшу Фридмана, тоже из N-ска. Он схватил меня железной хваткой и смешил без остановки. Вот это парень что надо, без комплексов. Через шесть месяцев он сделал мне предложение, и я его приняла.

За неделю до свадьбы я всё ещё живу в общежитии. Выхожу я из своей комнаты, в халате и тапочках, со сковородой картошки в руке, и направляюсь на общую кухню в конце длинного и тускло освещённого коридора. Сзади скрипит дверь. Оборачиваюсь посмотреть, кто вышел из комнаты Васильевой. Она поменяла уже трёх ухажёров за семестр, и мы, первокурсники, считали её девушкой уж очень свободных нравов. Навстречу мне шагнул обритый наголо мускулистый гигант, одетый в белую майку, солдатские галифе и сапоги. Дания? Он так заматерел и смотрел на меня свысока так беспардонно, что я засомневалась. Может, просто похожий на него солдат в увольнительной? Вышел в коридор, а тут я. Вот он и смотрит. Почему бы и нет? Ведь так же может быть! (*Топает.*) А я говорю, может! ... Нет. Не может... Но как он попал в общежитие? Вахтёрши посторонних не пускали без сопровождающих студентов, а он здесь никого не знал, кроме меня. Как он вышел на Васильеву, как узнал, на каком я живу этаже и когда выйду из комнаты? А может, это случайность, и я здесь ни при чём?

ЛЕНА (*Даня*). Даня? (*Зрителям*) Он засовывает большие пальцы за бляху своего армейского ремня и прищуривается. Опять я чувствую себя букашкой.

ДАНЯ. Кто?

ЛЕНА. Хватит шутить. Как ты здесь очутился? Я слышала, что ты служишь под Москвой. (*Зрителям*) Он подходит вплотную. От него несёт перегаром и потом.

ДАНЯ. Какое это имеет значение? Как я понимаю – тебя можно поздравить?

ЛЕНА. А как насчёт тебя и Кричевской? Она тебя ждёт?

ДАНЯ. Светка? Да откуда я знаю? Светка, Лерка, Танька – да какая разница.

ЛЕНА (*Зрителям*). Он щёлкает каблуками и отдаёт мне честь:

ДАНЯ. Пока, ложечка... чайная.

ЛЕНА. Его пальцы упираются в висок. Лицо застывает в маске безразличия. Подожди, подожди, ещё десять, двадцать секунд. Ты потеряешь самообладание и бросишься мне на шею. Проходит секунда тридцать. А мы всё стоим и смотрим друг на друга. Выжидаем. Он медленно разворачивается и вразвалочку идёт в комнату Васильевой. Вразвалочку! Ешкин кот! Что-то со звоном падает на пол. Смотрю, а это моя сковородка. Картошка разлетается по полу.

*Даня садится за пианино и бьётся головой о клавиши, извлекая громкие диссонансы. Поворачивается к зрителям.*

ДАНЯ (*Зрителям*). Как... Господи, как... Господи, как больно. Да выкинь ты её из головы. Была Лена и сплыла. Любила другого, а теперь любит другого другого. (*Резко встаёт, руки по швам.*) Рядовой Якуш, слушай мою команду: Лену из головы выкинуть и приготовиться трахать, как её... (*расслабляется*) чёрт, фамилию помню, Васильева... Какая-то родственница Васильеву из моей роты. Я всё искал зацепку в этой общаге, так он вспомнил, что она... Тома, что ли... в ЛГУ занимается. (*Выпрямляется, руки по швам.*) Трахать Васильеву Тамару, а всё остальное выбросить из головы. Выполнять приказ! (*Приставляет пальцы к виску.*) Слушаюсь, товарищ командир. (*Отпускает руку.*) Вольно. (*Расслабляется.*) Начинаю выполнять приказ. Лену из головы выкинуть. Раз. Приготовиться трахать Васильеву. Два. Лену из головы выкинуть. Раз... А она здесь рядом, в соседней комнате. Там она читает, спит, зубы чистит, жареную картошку ест. Надевает и снимает бюстгальтер, причёсывает волосы, продевает серёжки в уши... Лена... Лена... Ложечка чайная... (*Воет.*) К чёрту, к чёрту и раз и два. Пойти к ней, встать на колени, прижаться головой к её коленям и... Это последний шанс. Хватит придуриваться. Хватит трахаться абы с кем. Иди к Лене. Ну... (*Идёт к воображаемой двери. Внезапно замирает.*) Кто я и кто она! На смех поднимет. Она замуж выходит, а ты, как идиот... (*Садится за пианино и фроняет голову на клавиши.*)

*Пауза. Тапёр поднимает голову, начинает играть.*

ЛЕНА. У каждого свой путь в эмиграцию, свои причины. Вот вхожу я в наш манхэттенский Центральный Парк и слышу вокруг себя привычное гудение акцентов и иностранных языков. Вначале было странно, что чуть ли не каждый второй ньюйоркец – эмигрант. Интересно, что было последней каплей их терпения, выплеснувшей их с родины? У меня была не одна капля, а целое ведро этих капель.

По окончании университета мы с Ильёй вернулись в Н-ск. У нас родились сын и дочь. Как назвали сына? Вы ещё спрашиваете? Даня. А сладкой нашей пампушке дали имя на «и», Ира, в честь её погибшей прабабушки Иды и моей лучшей подруги Иры Тогинской. Мы успешно работали по специальности, но безуспешно пытались продвинуться по службе, вернее, топтались на месте. Тормоз для таких, как мы, нажали до упора, и будущее на нашем горизонте рисовалось большой дыркой от бублика. Вспоминая страшные времена войны и Дела Врачей, мама приговаривала: «Не гневите бога! Не сажают, не стреляют, не увольняют – и за это спасибо». И мама была права. Когда в конце 70-х по Белоруссии прошла волна еврейской эмиграции, мне ещё не было так страшно, чтобы бросить всё и бежать, куда примут.

Созрела я после Чернобыля, когда по Н-ску пролетел ветер радиации. На работе у меня был дозиметр, и в первое время после взрыва я проверяла им все продукты. Потом забросила это бессмысленное занятие. Люди начали умирать чаще, чем обычно. За год в нашем подъезде на каждом этаже кто-то умер: от рака, от инфаркта, от инсульта и чёрт знает от чего ещё. На нашем этаже умерли двое: мои родители. Выезжали мы в эмиграцию через Брест. В зале ожидания Оська с женой, мой муж и другие отъезжающие обсуждают устройство мира и профессии, востребованные на западе. Иришка уснула на сиденье рядом с мужем, а я с сыном вышла на улицу подышать свежим воздухом. Раньше я думала: какие мы неудачливые – живём в Н-ске дольше, чем европейцы в Америке, а всё чужие, но теперь, наблюдая за вереницей местных пассажиров, навьюченных, как верблюды, сумками и чемоданами, мне становится за них ужасно обидно. Их никуда не выпускают. Даже туристами в Польшу, вот она, рядом, но поехать могут единицы исключительно благонадежных граждан.



Я глубоко вдыхаю – запомнить и в эмиграции вспоминать «дым отечества». Воздух наполнен запахом смеси креозота, угля и мазута с железнодорожных путей и ароматом пончиков с повидлом. Они продаются в киоске неподалёку. И попробовать не нужно – я знаю, что тесто будет чёрствое, а повидла – кот заплакал. Прямо на меня несётся высокий мужчина. Я отступаю на шаг, чтобы не столкнуться. Он протягивает руки, поддержать меня. Его длинные пальцы больно сжимают мои предплечья и не отпускают. О боже, это – Дания! Откуда? Как? Он коротко подстрижен и одет в помятый костюм и несвежую рубашку. Его голубые глаза налиты кровью, как у сильно подгулявшего командировочного, вырвавшегося из-под надзора жены. С его лица сошла юношеская пухлость, и оно стало отточенным и потому ещё более завораживающим. Ему бы протрезветь, побриться, одеться в чистое, был бы мужчина на радость и загляденье. Он осматривает моего сына, треплет его волосы, и, всё ещё не сказав мне ни единого слова, предлагает ему «Белочку».

Сын смотрит на меня:

– Мама, можно взять у дяди конфету?

Я киваю:

– Этот дядя очень хороший. У него можно.

После нашей встречи в общежитии я часто думала о Дане, но со временем память и боль начали угасать. Иногда наши однокурсники напоминали мне о его существовании, рассказывали, что он быстро женился на какой-то новой девушке после демобилизации, чуть ли не в три дня, и уехал жить к ней в Ярославль. Новость меня кольнула, но мы ведь никогда толком и не встречались. Поцеловались раз, и пути наши разошлись. Я вышла замуж, и он имел право жениться.

ДАНИЯ (*Кривится*). Я – хороший дядя? Никак нет... Ты даже не представляешь, какая твоя мама умница! Она сразу догадалась, что я – барахло. Поняла, что я за фрукт. Меня изнутри червяк точит. Я червивое яблоко! (*Оскаливается и гогочет, как клоун.*)

ЛЕНА. Дания, прекрати этот спектакль! Что с тобой?

ДАНИЯ (*Распахивает руки*). Всё!

ЛЕНА (*Зрителям*). Нет, это не может опять быть совпадением. Его появление на этом вокзале требовало умопомрачительного планирования. Такое впечатление, что каждый раз он выжидает до самого конца, как будто жаждет поражения. (*Дане.*) Дания, ты заболел? Где у тебя болит?

ДАНИЯ (*Показывает на сердце*). Только здесь.

ЛЕНА (*Зрителям*). Кто знает, разыгрывает ли он мелодраму по пьянке или говорит правду. Пытаюсь перевести разговор в бытовое русло, чтобы не пугать сына. (*Дане.*) Где ты живёшь? Где работаешь? Женат? Дети?

ДАНИЯ (*Разводит руками и смотрит на Лену с испепеляющим укором*). Тебе всё рассказать прямо сейчас? Где ты была все эти годы? А сейчас уже слишком поздно. Я пропал. Это конец!

ЛЕНА. Он взмахивает рукой и разрубает воздух между нами, потом, не оглядываясь несётся прочь. Дания! – я кричу ему вслепую. Нет, я не оставляю позади запах мазута и чёрствые пончики. Я не оставляю позади СССР или город N-ск. Я оставляю позади Данию. Может, моя родина и есть он?

*Слышен монотонный стук колёс поезда.*

ЛЕНА (*Громко выдыхает*). Теперь можно спокойно дышать! Мы пересекли границу! Мы на свободе! Пружина страха разжалась. Страх, что в последнюю минуту могли снять с поезда – о таких случаях мы слышали – или найти что-то нелегальное в чемодане с книгами по химии. У Оськиного тестя при досмотре отобрали военные медали, но, слава богу, не арестовали. Я расслабилась... минут на пять, а потом в голову полезли новые страхи. Началось другое времяисчисление: первый день эмиграции, подобие смерти, когда неизвестно, попадёшь в ад или в рай, но точно никогда уже не вернёшься. В то время власти никого не пускали обратно, даже в гости.

Чем мне было тяжелее в первые годы эмиграции, тем больше я мечтала о Дане. Стою на работе в третий сверхурочный час, глаза слипаются, боюсь, что ошибусь с пропорцией ингредиентов, а в ушах стоит шелест обёртки от «Белочки», и представляется Дания, протягивающий конфету. Взбалтываю смесь в пробирке, а чувствую, как его ладонь гладит мою щеку, пальцы дотрагиваются до мочки уха, скользят по моим волосам, касаются шеи. Засыпая, я мечтала, чтобы он мне приснился. В снах он появлялся Данией картофельного периода: с улыбкой, излучающей доброту.

Чем больше я о нём думала, тем больше я хотела о нём думать, пока он не заполнил все мои дни и ночи такой острой тоской, от которой я не могла, да и не хотела избавиться. У меня не было его адреса, и, даже если бы я и смогла его разыскать через друзей, что бы я ему написала? Привет. Извини, что я тебя обидела. Нас обидела. Ну и что дальше?

Я восхищалась упорством и успехами мужа. Когда мы приземлились в Нью-Йорке, он с трудом мог сказать связное предложение по-английски, а уже через два года его назначили главным технологом фабрики



пенопластовых изделий. Ради своей семьи я бы в горящую хату вошла и остановила табун диких мустангов. Я любила каждую ресничку и ямочку своих детей. И, в то же время, бесцельные и беспрерывные фантазии о Дане бродили привидениями в моей голове.

Между работой и домашними делами времени на новости у меня особенно не было, и мой муж часто служил живой радиостанцией.

*Раскрывает газету на русском языке.*

Вот он держит в руках эмигрантскую газету «Новое русское слово»:

– Лен, никогда не поверишь! Смотри, они рекламируют билеты в Москву, Минск и Киев. Оказывается, уже можно приезжать с визитами. Ха, размечтались! Я раньше эту землю грызть начну, чем добровольно ступлю ногой на ту.

– В той земле мои родители похоронены. Не хочешь, я съезжу сама.

Я выхватываю у него газету и читаю объявление. Это мой пропуск в прошлое, обратно на картошку с Даней.

*Звук посадки самолёта и шума в аэропорту. Татёр исполняет импровизацию на тему песни «Back in the USSR».*

ЛЕНА (*Татёр*). Теперь вовремя. (*Зрителям*) После пересадок, сначала во Франкфурте, потом в Москве, я, наконец, прилетела в N-ск. Дорогой из аэропорта я вглядывалась в знакомые места. Дома казались меньше, расстояния короче, люди на улицах грустнее, и одеты хуже, чем я помнила. Ну, и пусть: мал золотник, да дорог. В провинции есть свои прелести. Здесь живут мои друзья.

Тогинская переехала в новую девятиэтажку в центре N-ска. Мы провели уже час, разбирая мои подарки. Её спальня обложена женскими свитерами и блузами, детскими комбинезонами и мужскими шарфами.

Тогинская то и дело всплёскивает руками и примеряет обновки. Говорит:

– Боже, какая прелесть! А это в самом деле Днепр? И это?

Второй чемодан я не открываю. В нём лежит куртка и флакон одеколona для Дани. Я потратила несколько недель мотаясь в перерывах по магазинам в поиске мягкого кожаного бомбера на шёлковой подкладке. После работы я оставалась в лаборатории сочинять его персональный одеколон. Возбуждающий бергамот в сочетании с пряно-сосновым элини – дуновение юности в увертюре. В середине – плотские ноты атласского кедра. Сначала они зашкаливали и я их обласкала нежным ароматом кашемирового дерева. В финале часами будет шептать сексуальный мускат. И ещё восемьдесят ингредиентов. На этикетке лаконично написала «ТЬ». Такой подарок и без слов скажет Дане, как много он значит для меня.

– Сергей придёт? – я начинаю издали. В письме я просила Тогинскую организовать встречу однокурсников.

– Да, с женой, – она отвечает и перечисляет весь список, но в нём нет самого главного.

– А Дания?

– Знаешь, чем он сейчас занимается? Не поверишь. Он – мясник!

Я представляю его в белом фартуке, вымазанном кровью, в уродливой шляпе, надвинутой на лоб. В руках он сжимает топорик и жахнет им ритмично по туше барашка. Жах, жах... Тогинская читает шок в моих глазах и спешит добавить:

– У мясников всегда водится мясо. Как говорится: «Что охраняю, то и имею». В магазинах шаром покати, так что мясник сейчас очень даже престижная профессия.

– Так он придёт?

– Сказал, что возможно, если раньше освободится.

Чтобы не вызвать подозрение, я оставляю расспросы и провожу остаток дня в ожидании.

Встреча с однокурсниками оказывается немного грустной. Они-то пересекаются друг с другом чаще и привыкли к изменениям, а я вижу всё сразу, в один присест. Я скрываю удивление за широкой улыбкой, но на душе скребут кошки: наши мальчики начали лысеть и обростать животиками. У девчонок морщинки у глаз. С каждым звонком в дверь может войти Дания. Я жду и делаю вид, что участвую в разговоре. Мы начали в семь. В восемь ещё есть шанс. Даже в девять и в девять тридцать. Только когда все расходятся, я теряю надежду.

Ни на следующий день, ни в следующие пять он не позвонил. Ну, что делать – нет, так нет. И, вообще, что толку было бы в нашей встрече. У каждого своя жизнь, работа, семья, да ещё на разных континентах. Так, ради любопытства... Может, и хорошо, что он не появился. Но, с другой стороны, уговаривать себя можно сколько угодно, но тоску... тоску уговорами не утолишь.

В аэропорту я периодически обвожу взглядом провожающих, рассматривая всех мужчин Даниного роста. В конце я вручаю Тогинской пластиковый мешок с кожаной курткой-бомбером:

– Это сюрприз твоему мужу, – говорю и направляюсь в таможенный досмотр. Только вхожу в зону, недоступную для провожающих, меня бросает в жар. Неужели я зря приехала? Конечно, нет: повидала Тогин-





скую, сходила на кладбище к родителям, договорилась об уборке их могил, но всё равно внутри – пустота. Я чувствую на себе взгляд и оборачиваюсь. В самом дальнем углу зала среди провожающих стоит Дания. Я даже рассмотреть его лицо толком не могу. Он скрестил руки на груди и смотрит на меня. Просто смотрит, не делая попытки подбежать ближе или что-то крикнуть. Я тоже скрещиваю руки на груди, удерживая себя от безрассудства. Так и стоим мы долго, долго. Вот и повидались мы с ним.

*Танёр играет импровизацию на фортепьяно.*

ЛЕНА. Есть поговорка: изменчива, как луна, но моя Луна не менялась. У моей Луны был лик Дани. Я спала под луной Дани. Её сероватое мерцание пробивалось днём через сияние солнца, а на земле шла обыкновенная эмигрантская жизнь: меня назначили начальником лаборатории парфюмерной корпорации, муж стал партнёром владельцев пенопластовой фабрики, мы приобрели дом в Бруклине, дети занимались музыкой, шахматами, и математикой. Всё, как у людей.

Пока моя жизнь становилась цветущим лунным садом, жизнь в N-ске после распада Советского Союза стремительно увядала. Так писали газеты и Тогинская. Я не спрашивала её про Данию, и она не упоминала его. Потом, как-то в конце 90-х, она рассказала мне по телефону, что столкнулась с ним. Пьяный и дружелюбный, он долго стоял с ней на улице, вспоминая об этом и о том. Он развёлся и снова женился, у него было трое детей.

– Пьянь, но хорошо! – сказала она. – Неужели ты никогда не была влюблена в него? Никогда, никогда? Не представляю, как можно было не повестись на зов его голубых глаз. Не поверишь, но он смотрел на меня, как грустный голодный пёс. Всё ждал, что вот-вот я брошу ему мозговую косточку. Чудак...

После этого разговора мне снились яркие цветные сны. Мне снился мягкий тёплый ветер. Мы с Даней, сплетённые в клубок. Ветер подхватил нас и унёс высоко в небо, плавно, как воздушный шар, мы летим над землей. Под нами прямоугольники и круги полей разных оттенков зелёного сменялись кобальтом и бирюзой океанов. Я не чувствовала своего тела, но чувствовала наше общее тело. Как нам хорошо парить... А утром я выпадала из сладостного объятия и возвращалась к своим будням, замечательным, но будням. Кто ж может сравниться с Луной...

*Лена танцует, постепенно вовлекает в танец танёра. Звучит фонограмма.*

ЛЕНА. Прошло лет десять. Наверное, десять... Потому что это было уже после 11-сентября. Раньше мы отсчитывали время «до и после эмиграции», а теперь «до и после 11-го сентября». Сажу я в своём кабинете на перерыве и гуляю всякую всячину. Билеты на бродвейское шоу, телефон оценщика недвижимости. Мы собираемся продать дом и купить что-нибудь получше. Пальцы сами собой отстукивают на клавиатуре Daniil Yakush, Данино имя на английском. Нажимаю «ввод» и боюсьдохнуть. Ноль результатов. Пробую варьировать написание латиницей и кириллицей. А вдруг найду ниточку? У Тогинской же появился имейл. Может и виртуальный Дания тоже существует где-то на просторах интернета. Восемнадцатилетний вратарь из футбольной команды N-ского университета не может быть Даней, но я всё равно трачу полчаса на чтение о его достижениях, а вдруг это Данин сын. Наконец, мне везёт: я правильно формулирую запрос и попадаю на телефонный справочник N-ска. Из девяти Якушей у одного полное совпадение с моим. Я чувствую, что выиграла джек-пот в игральном автомате. На каждой высыпавшейся блестящей монете выбито «Якуш, Даниил Николаевич».

*Набирает номер на телефоне. Ответы собеседника звучат в фонограмме.*

ГОЛОС. Алё.

ЛЕНА. Я разыскиваю Данию Якуша. Он окончил Политехнический техникум.

ГОЛОС. Батя мой. Так он здесь больше не живёт.

ЛЕНА. Я его однокурсница. А где его можно найти?

ГОЛОС. С его новой женой. А ты чего хочешь?

*Лена вздрагивает и морщится.*

ЛЕНА (*Зрителям*). Этот вульгарный тип может и матом послать.

*Она щиплет себя за локоть.*

Была не была: я бросаю свой козырь: *(в микрофон мобильного телефона)* Я из Америки звоню. Мне необходимо немедленно найти вашего отца. Я прилетаю в N-ск по делам. *(Зрителям)* Я бессовестно вру, а что остаётся делать?

ГОЛОС. Из Америки? Реально? Да ты что! Конечно! У меня есть его телефон для экстренных случаев. Сейчас дам.

ЛЕНА *(Набирает номер на телефоне и одновременно рассказывает)*. Естественно, я немедленно набираю новый номер, даже и не надеясь, что он сразу ответит. Придётся, наверное, звонить и звонить, и поэтому его неожиданное «да» застаёт меня врасплох.

*Слышны монотонные механические удары и шипящий индустриальный шум.*

– Да, – доносится с другого конца света. – Подожди, я выйду в тихое место.

Пока он идёт, я решаю, что ему сказать. Всё-таки с нашего последнего безмолвного свидания в аэропорту прошло десять лет. Например: «Привет, это Лена, твоя давняя подруга. Помнишь меня?». Нет, это банально. Лучше: «Привет, Даня, сколько лет, сколько зим! Ещё не забыл свою кухонную партнёршу?» *(Кривит лицо)*. Глупо, глупо. Или: «Даня, почему ты не подошёл ко мне в аэропорту? Тысячу лет назад, я дуру сболтнула глупость, а ты сразу в кусты. Почему не боролся за меня?.. Ты счастлив?».

А если он задаст мне такой же вопрос? Счастлива ли я? Да. И нет. И то, и другое правда. Я не знаю! Слова застревают в гортани. Ёшкин кот, я прямо сейчас должна что-то сказать настоящему Дане, а не лицу на луне моего воображения. Меня бросает в жар, я встаю из-за стола и расстегиваю воротник блузы. Боже, какая дура! Зачем звоню? Прошлое не вернёшь. Я слышу его тяжёлое дыхание в трубке. Он ведь не знает, что это я. Ещё не поздно положить трубку, но моя рука отказывается повиноваться. Связки тоже не работают, и я не могу произнести ни слова.

ДАНЯ. Это ты! Я знал, что ты позвонишь.

ЛЕНА *(Зрителям)*. Ну, теперь я уже окончательно немею. Он ожидал чьего-то звонка, а тут я.

ДАНЯ. Ложечка... чайная, я знаю, что это ты! Скажи что-нибудь! Не молчи...

ЛЕНА. Откуда?

ДАНЯ. Откуда я знаю? Я просто всё время жду и жду, что ты позвонишь.

ЛЕНА. Ты ждёшь и ждёшь? Ждёшь, пока мы умрём? *(Зрителям)* Пока он долго не отвечает, я борюсь с желанием выложить ему всё, как на духу, о своих снах и мечтах.

ДАНЯ. Ты скоро приедешь? Приезжай, Ложечка, приезжай! Приедешь? Помнишь, как мы спали на соседних матрасах на кухонном полу? Это было самое счастливое время в моей жизни. Я мог быть с тобой день и ночь, молчать или болтать и не чувствовать себя виноватым.

ЛЕНА. Виноватым? Обожди, обожди... Виноватым в чём? Даня, не молчи. В чём ты чувствовал себя виноватым? В том, что сразу переметнулся к Кричевской?

ДАНЯ. При чём тут Кричевская?

ЛЕНА. Так в чём?

ДАНЯ. Не будем об этом. Это была такая глупость. Всю жизнь себя корю, что дал запудрить себе мозги.

ЛЕНА. Я тебе запудрила мозги?

ДАНЯ. Да не ты. Забудь об этом. Так... Вылетело. Лучше приезжай побыстрей.

ЛЕНА *(Зрителям)*. Я никогда не говорила ему, что мои родители не одобрили бы его. Может, со временем и смирились бы, а может, и никогда. Лебедь с лебедем, шука со шукой, любила говорить мама. Все хорошие, относиться с симпатией нужно ко всем, но когда молодые чересчур разные, всё равно разбегутся, как только спадёт пелена. Может, Даня скрывал от меня похожий секрет? Может, его мама пела ему такую же песню, а его угодило влюбиться в меня, особу на букву... Вот он и запутался. И я с ним...

ДАНЯ. А я всё женюсь и женюсь. Легко нахожу – легко теряю. Всё ищу такую, как ты. А таких больше нет. Я хочу быть только с тобой. Помнишь, как мы целовались? Я бы всё отдал, только поцеловать тебя ещё раз. Тогда и умереть не страшно. Ложечка, так ты приедешь? Билеты купила? Встретимся у Тогинской. Я работаю день и ночь, да ещё новая семья. Короче... Когда ты приедешь, Ложечка? Когда?

ЛЕНА *(Зрителям)*. Я чувствую, что начинаю плавиться. Скоро потеку ручьями. Они соберутся в озеро под столом и затопят сначала весь мой офис, а потом и целый этаж.

*Тапёр начинает исполнять песню «Back in the USSR».*

ЛЕНА. Кхе... опять «Back in the USSR». Вы повторяетесь. И СССР давно уже, слава богу, нет.

ТАПЁР. Сорри, не знал.

ЛЕНА. Не переживайте, они там тоже не все об этом знают.

ТАПЁР. Что сыграть?



ЛЕНА. Не знаю. Что-нибудь...

ТАПЁР: Сад осьминога?

ЛЕНА. А такой бывает?

ТАПЁР. Вы прямо как с луны свалились.

ЛЕНА (*Грустно*). Угадали. С луны.

*Тапёр играет импровизацию на фортепьяно.*

ЛЕНА (*Кашляет один раз*). Простите. Это аллергия. Появилась уже в первый день моего визита в N-ск. Может, это реакция на новые обои в квартире Тогинской? Начало октября здесь больше похоже на Нью-Йоркскую зиму. В эмиграции я и забыла, как здесь холодно и серо большую часть года. В шесть вечера начинается юбилей нашего Политеха. По слухам, должны все наши прийти.

Я звоню Дане на мобильник и оставляю сообщения. Раз десять уже звонила. Я от него ничего не хочу. Какой там поцелуй... Так, встретиться за кофе перед общим сбором. В глаза посмотреть. Помолчать... Он, наверное, сейчас на работе, рубит мясные туши и в шуме не слышит моих звонков. Проверит сообщения и перезвонит.

*Даня приводит в порядок предметы, лежащие на фортепьяно, закрывает крышку, забирается на стул пианиста и как будто распахивает окно. Слышен звук ветра и движения машин. Даня ёжится и смотрит вниз.*

ДАНЯ (*Горько усмехается. Зрителям*). Пока долечу с восьмого этажа, не успею замёрзнуть. А там... не холодно. (*Шарит по карманам. Находит ручку и продолжает шарить по карманам.*) Надо написать письмо. Что-нибудь типа «прошу никого не винить».

*Берёт чистый лист бумаги с верхней крышки пианино, садится на стул.*

ДАНЯ (*Пишет и говорит*). В моей смерти прошу никого не винить. Я просто устал... устал. (*Зрителям*.) Вся жизнь в двух предложениях. (*Рвёт бумагу, сминает обрывки в комок, бросает. Берёт новый лист. Пишет и говорит*) Лена, ложечка чайная... Прости меня, дурака. Просто так получилось. Я ждал тебя, думал о тебе каждую секунду, представлял встречу. После твоего звонка я снова начал жить. Даже пить перестал. Ну, почти... Что только надежда не делает с человеком! А сегодня проснулся и как кипятком обдало: кто ты и кто она? Штаны, рубашка, куртка и дырки вместо зубов – вот всё моё состояние. И что ты со мной делать будешь? У тебя жизнь сложилась, а тут беззубый полубомж из юности любви твоей хочет. Это же бред! Тогда... тогда надо было не в позу вставать, а бороться за тебя! А теперь... После драки кулаками не машут. (*Зрителям*.) Муть какая-то получается. Полуправда... А где она правда? Вот мы целуемся. Вот я ей что-то говорю. Вот она говорит, что любит другого, и... и... Я в ужасе от её слов. Да, я в ужасе, но... чувствую облегчение. Будто, камень с души. Не надо будет бате объяснять и доказывать, что она не жидовка, а фея с волшебной палочкой. Могу представить, что бы он мне сказал...

В оккупацию семья его лучшего друга Пашки прятала в погребе друзей-евреев. Бате ещё очень нравилась их дочь. Берта Хейфец. Он мне по пьяни рассказывал. Во время облавы с ищейками евреев быстро нашли и сразу расстреляли, а потом за укрывательство расстреляли и всю Пашкину семью вместе с Пашкой, вот и помешался батя на этой почве. Как огня боялся породниться с евреями.

Получается, что мне из-за бати теперь умирать? Или из-за фашистов расстрелявших его первую любовь? (*Пишет и говорит*) Не поминай меня лихом, Лена. Прости меня, дурака, и прощай! (*Зрителям*) «Прощай» и восклицательный знак. Тьфу. Мура какая... Если я умру, я же не смогу больше мечтать о ней. (*Рвёт бумагу, сминает обрывки, бросает. Вздыхает, ерошит волосы, встаёт. Извлекает из-за пианино бутылку водки и стакан. Наливает целый стакан и выпивает залпом.*) Ленка-пенка, колбаса...

*Сидя за пианино, кладёт голову на клавиатуру.*

ЛЕНА. Когда в актовом зале Политеха начинают собираться наши однокурсники, их вид меня отрезвляет. В наличии полный джентльменский набор начала второй половины жизни. Я вроде бы ещё ничего, по сравнению с ними, держусь. Наверное, хорошая кожа и зубы мне достались по наследству от родителей. Даня пусть только придёт. Лысый, без нескольких зубов, или весь седой, обрюзгший. Мне всё равно – лишь бы это был он.

*Даня берёт телефон, набирает номер и молчит. Звонит телефон Лены.*

ЛЕНА. Алло! Дания! Алло! Почему ты молчишь? У меня определился твой номер! Дания! Алло! *(Зрителям)* Наверное, что-то со связью. *(Набирает номер.)* Странно, не берёт трубку. Только что сам звонил. Или он случайно набрал меня?

Наша группа толпится в проходе между рядами. Охаем и ахаем от новостей. Через пять минут уже начнётся торжественное собрание, а Дани всё нет, но никто не интересуется его отсутствием.

*Дания берёт телефон, набирает номер и молчит. Звонит телефон Лены.*

ЛЕНА. Дания! Алло! Тебя совсем не слышно! Мы все собрались, ждём только тебя! Если плохо со связью, напиши смс, когда ты придёшь! Алло! Дания!

*Дания сбрасывает звонок. Кладёт телефон на пианино.*

ЛЕНА. Я вся в ожидании и предчувствии неладного. Лажа, как любит говорить Тогинская. Сплошная лажа. У Тогинской мобильник звонит боем курантов. Она прикладывает телефон к одному уху, закрывает второе, чтобы лучше слышать, и отходит к окну для разговора, но скоро возвращается и говорит:

– Это был Дания. Он не придёт. Пошёл к дантисту с флюсом.

Сергей цокает и чешет бороду:

– Типичный Данила. Наверное, у него день запоя, хотя у него теперь все дни одинаковые. На этом поприще он – передовик! Ни одному его слову верить нельзя. Флюс? Какой флюс?! Он настолько про-спиртован, что любой флюс завянет от амбре. Несколько лет назад его как-то уволили. Бывает. Я пожалел его, естественно. Всё-таки однокурсник. Взял к себе в компанию упаковщиком. Так от него один убыток: из рук всё валится, пьян до и во время смены. Это вам не Советский Союз, а частный бизнес. Уволил на фиг. Хочешь пить – пей в своё личное время. Мне теперь по барабану, что с ним. Сам себе могилу роет. Тут все, кроме Тогинской, бросаются добавлять жару в огонь, рассказывать, где и как видели его в стельку пьяным. Все жёны его побросали или он их бросил. Все дети его сторонятся. Его песенка спета, но Тогинская улучает момент, когда крик достигает апогея и шепчет мне:

– Да не слушай ты их. Болтают, что попало, а Дания чуть не плакал. Ему вырвали три передних зуба, и неизвестно, когда поставят мост. Сказал: «Ну как мне в компании показываться? Чучело чучелом».

Борясь со слезами, я выбегаю из зала. Это катастрофа! Конец всему! Ах, Дания, Дания, золотой ты мой мальчик, голубоглазый красавец, что с тобой сделала жизнь... Где тебя искать? И зачем? Ты опять подождёшь губы и процедишь что-нибудь типа «Вот видишь, а ты не верила, что я барахло». Вот как это получилось, а? Как? Ведь на картошке он не шил, но потом, после того, как я... как будто он заставил себя поверить в то, что он никчёмный червяк, и потом планомерно превращал себя в беспозвоночного. Но зачем? Другому возлюбленная даст от ворот поворот, так он чуб закрутит, плюнет и страстно влюбится в другую. Баба с возу – кобыле легче. Но Дания пытался, и не смог. Может, он не как другие? Может, одна моя фраза разбила всю его веру в себя. Ах, Дания, Дания! Мой бедный мальчик, мой бедный хрустальный мальчик.

*Тапёр играет импровизацию. Звонит его мобильный телефон. Он отвечает через небольшую паузу.*

ТАПЁР. Алло... *(слушает собеседника)* Ты прости меня... *(слушает собеседника)* Это я был идиотом. *(слушает собеседника)* Да, я скоро приеду.

*Лена прислушивается к разговору тапёра, улыбается. Приближается к нему и глубоко вдыхает.*

ЛЕНА. Мускус... Бессмертник... Уже слышны базовые ноты вашего одеколona. Начальные и средние выветрились. Остались самые долгоиграющие и устойчивые.

ТАПЁР. Остались самые главные.

*Тапёр кладёт мобильный телефон на крышку пианино и играет импровизацию на песню «Strawberry Fields».*

ЛЕНА. Когда, наконец, самолёт вылетел из Франкфурта, я выпила снотворное и проспала до приземления в Нью-Йорке сегодня утром. В аэропорту зашла в туалет умыться и губы подкрасить. Достала из косметички особо ценную покупку, сделанную в N-ске. Только не смейтесь – земляничное мыло. В Америке земляника – практически неведомая ягода. Её на грядке не вырастить. Раскрыла упаковку и вдохнула любимый с детства аромат. М-м-м...

И опять пошло-поехало. Земляника растёт в лесу возле N-ска. В N-ске живёт Дания. Дания фанат Битлз. В Битлз играл Леннон. Леннону посвящены «Клубничные поля». Strawberry Fields – так называется мемориал Джона Леннона в Центральном Парке, недалеко от места, где его убили. Я в этот угол парка



никогда не заходила – и так мне вдруг захотелось попасть сюда. Здесь будет хорошо думать о Дане. Но у меня чемодан, сумка. Нужно поехать домой, переодеться, потом в лабораторию. Работы накопилось, наверное – сидеть мне до ночи. Сообщения президента компании я ещё во Франкфурте проверила, а пробные духи по интернету не проверишь. Мы всегда заготавливаем несколько вариантов на выбор парфюмерных брендов, а лаборантки иногда такое могут начудить... Неопытные ещё. Здесь нужен глаз да глаз, вернее, нос да нос.

С другой стороны, ну и что, что чемодан! Он на колёсиках, сумку в зубы. Позвонила секретарше, что сегодня ещё в отпуске. Автобус до Манхэттена, потом поймала такси и подъехала к боковому входу в парк на Вест 59-й стрит. На карте эти «Клубничные поля» обозначены рядом.

И вот я здесь. «Клубничные поля» оказались вовсе не полями, а сквериком, и никакой клубники здесь не растёт. Витаю в мыслях, судорожно ищу выход из лабиринта, в центре которого также мечется Дания. Ромео и Джульетта с мобильными телефонами. Болтаемся во времени и пространстве, вечные мученики своей нескорёвшейся страсти. Наша любовь всё крутится и крутится. Заевшая пластинка на рентгеновском снимке. Запрещённая. Кем?..

Кто-то скажет, какие же вы наивные! Теперь вообще к любви относятся просто, как к одноразовой посуде. Поел и выбросил, а если выбросить не удаётся, то хороший психолог за несколько визитов научит, как это сделать, перестроит душу на прагматический лад, мол, освобождайтесь от всего, что мешает вам жить. Пустота успокаивает сердце. Подготавливает его для прекрасного нового, а хлам к чёрту. Вон у нас в здании практикуют несколько таких лекарей. В лифте я иногда слышу их разговоры. (*Морщится.*) Нет! А я всё-таки предпочитаю свои мечтания... Как у Пушкина:

*Печаль моя полна тобою,*

*Тобой...*

*...тобой...*

*И сердце вновь горит и любит – оттого,*

*Что не любить оно не может.*

Ведь выхода нет. Меня *этот* факт успокаивает.

А может, мы с ним не исключение? Может, полпланеты носит такую скребущую печаль в душе? И если и есть у этой печали какое-то назначение, то, может, это неутолимое желание сочувствовать другим и сожалеть о нанесённой боли. Сочувствовать Славику, которого я отставила без объяснения. Сочувствовать Ире Богданчук, девочке с близко посаженными глазами, брошенной Данией. Сочувствовать моим N-ским землякам, выкарабкивающимся из-под обломков Союза. (*Показывает на слово «Imagine» в круге.*) Видите? Это и есть мемориальная мозаика. Вокруг на скамейках сидят люди, сфокусированные на чём-то, играющим у них внутри. Старенький хищник, пожилая пара голубков, белый парень в обнимку с хорошенькой чёрной девушкой. Их взгляды устремлены в центр круга, где чёрным по белому выложено единственное слово «Imagine» – представь. Представьте. Представьте себе.

«Imagine» – это обращение к будущему, эпитафия на мемориале прошлых ошибок.

*Танёр исполняет импровизацию на тему песни «Imagine».*

«Imagine»... Я вспоминаю, как Дания переводил мне эту песню: «Если бы не было ни стран, ни религий, мы могли бы жить в мире. Это так просто».

(*Вздыхает.*) Ах, если бы! Если бы это было так просто.

Если бы это было так легко. Я закрываю глаза и представляю: круг мемориала открывается, и я спускаюсь по туннелю, ведущему вниз. Он приводит меня не только в другое полушарие, где живёт Дания, но и в другое время, к поцелую.

Я – рыжая кошка, которую Дания сгоняет с места.

Я – пластинка Леннона, крутящаяся на проигрывателе.

Я – Дания.

Мы вместе.

Мы – одно.

*Танёр исполняет импровизацию на тему песни «Imagine».*

КОНЕЦ

# НАТАЛЬЯ ХМЕЛЁВА

---

## ГЕРМЕТИЧНЫЙ ГОРОД

\*\*\*

Вслушиваюсь в то,  
что станет музыкой:  
в узоры решёток, в заключённых,  
во вмятину от гантели на полу,  
в то, как садится пыль на книги,  
в хруст позвонков  
и шум шестерёнок  
роботизированной памяти,  
в напряжённость нитей  
за секунду до того как рвётся  
последнее волоконец...

\*\*\*

Хотелось  
расстелить покрывало  
на траве,  
вместе сидеть –  
три поколения,  
мама бы не разрешила:  
холод идёт от земли,  
это неважно.  
Я запомнила нас такими,  
как на единственной фотографии,  
<которой не было никогда>  
<такими нас никто не увидел>  
моя мама, я и моя дочь,  
дочка ещё не умеет ползать,  
сидим на земле,  
смеёмся,  
не боимся простудиться.

\*\*\*

Гость ночной, измождённый кузнечик,  
исследует новые стихии:  
тюль и дверцу книжного шкафа.  
Накрою его стаканом, чтобы выпустить в ночь – и вижу:  
<не по моей вине>  
игривая жизнь  
уходит туда, где сможет снова звучать,  
в ещё зелёные травы тёплого августа.



\*\*\*

Мне было десять лет:  
просили нарисовать себя –  
рисовала девочку,  
и слышен был плеск.  
Сегодня ты сказал снова  
кинуть камень в воду:  
первый круг – тишина.  
Второй круг был  
присутствием.  
Третий круг был  
исполненным долгом,  
источником радости.  
Четвёртый круг был  
всеми наслаждениями,  
на пятом движение воды затихало,  
переродившись в гладь,  
и я снова бросила камешек.  
Так, как дань смуте,  
появляются люди.

\*\*\*

У мамы под диваном хранились:  
нитки для будущих свитеров,  
платья её юности  
и аттестат зрелости,  
несколько недоломанных игрушек,  
одежда на вырост,  
комсомольский значок,  
выкройки, лекала, спицы,  
узоры для вышивки.  
*поддиванам* означало  
прикосновение к вечности,  
где все времена существуют  
в одном пространстве.

\*\*\*

Кто <что> живёт на чердаке,  
кроме старых писем, фотоальбомов, микросхем  
ламповых телевизоров,  
кожаных чемоданов, красных сигнальных ламп,  
снятых с корпусов поездов,  
курсировавших во Владивосток и обратно,  
сколько минут здесь можно выдержать, не дыша,  
среди манящих предметов  
без света и воздуха?  
Хожу тихо, чтобы не потревожить тебя,  
милый дух диафильмов,  
встраивая твои отражатели  
и отвёртки в свою историю.  
Мои шаманы прикасались к ним  
только через духов  
<а иначе сторели бы>

Эти пыльные ландшафты закончатся,  
 когда некому будет послать о них сообщение.  
 Когда нас покидает адресат,  
 мы становимся демонами,  
 неспособными обживать новые пространства.  
 «Я тебя убью» – незачем  
 представлять кровь,  
 вообрази пересхавших жильцов,  
 неверный индекс,  
 почтовый ящик,  
 куда больше не вмещается  
 открытка.

\*\*\*

Плащ, который я сбросила,  
 превратился в пламень,  
 пожирающий окрестные деревеньки.  
 Закрываю дверь перед тем,  
 кто взглядом груб.  
 Открываю – брату,  
 который никогда не придёт.  
 Живущий во мне медлит.  
 По осени в полях  
 собирают сестёр и братьев.  
 Приду туда – выдохну нажитое.  
 Что за мука – не быть!  
 Плачем, как дети,  
 В промежутке между небытием и восходом.  
 Похоронившие Бога, несём,  
 словно любимого кота в ящике,  
 тысячу всевидящих глаз.

Стал бы бражник нашим богом,  
 полюбили бы мы друг в друге хмель.  
 Стал бы пекарь нашим богом,  
 любили бы мы тесто друг в друге.  
 А так – любим только воздух,  
 упираясь в него ступнями,  
 боимся упасть  
 на клетчатый  
 носовой платок пашен.

\*\*\*

Когда человек умирает?  
 Когда перестаёт наращивать пространства,  
 возвращаясь в места обжитые,  
 превращаясь в их сторожа,  
 владеет чем угодно,  
 кроме моментов,  
 когда адресат его письма/речи  
 приходит/покидает его.





Но ты, моя любовь,  
тоже живёшь здесь,  
среди музейного хлама,  
обживая абсурдные контрасты  
миров  
своим письмом.

Тысячу раз я мысленно чертила карты  
горища –  
и не помещалась на них,

не успевая жить в каждом новом месте,  
но всегда по средам приходила  
читать книгу на берег Рейна,  
отсылая никогда – не тебе  
тающие кораблики писем,  
пока ты не спросил меня, кто я и откуда.

\*\*\*

Отними у меня мои книги, сожги мои дневники,  
убери мои тексты подальше, накинь одежду  
мою и в ней проводи меня в мир – нагою и новою...  
Ковры, по которым ступали детские ножки,  
тарелки, в которых томилась каша,  
пелёнки,  
рубашки и одеяльца отдай в приюты  
и распашонки развесь на чужих подворьях,  
я –  
больше не та, кого вмещают объятия,  
я –  
теперь больше, выше: там, где холодно,  
я –  
больше, чем все эти новые вещи:  
письмо друга, избитый дорогами чемодан,  
новое платье, на этот раз не в цветочек,  
часы в аэропортах.  
Как эмбрион, беседующий о жизни  
с другим,  
о жизни после рождения,  
откуда в утробу  
ещё никто не вернулся,  
я набираю номер одного задумчивого парня,  
чтобы – вовсе не всерьёз – спросить его,  
где мы обнаружим себя завтра?

\*\*\*

Сопротивление молчанием  
или невозможность ответа.  
Неотзеркаленное  
падёт осколком чужого наречия.  
Цедить рекомое  
сквозь сито намерений  
и видеть впервые –  
друг друга,



чечевичу от гороха,  
 свой вокабуляр от чужого  
 отделяя,  
 видеть наших отцов  
 по разные стороны баррикад,  
 бредущих по водам времён.

\*\*\*

Мы – живые звуки.  
 Неожиданный скрип или шорох  
 заставляет вскочить среди ночи  
 и кого-то искать.  
 То ли гость, то ли страх,  
 то ли это тоска по гостям.  
 Мы провалимся в сон.  
 Поутру себе скажем:  
 «Почудилось что-то».

\*\*\*

Всё возникает как отголосок,  
 обломок света.  
 Явиться – почти отломаться,  
 двигаться в направлении темноты.  
 Вот средоточие сердца,  
 в нём центробежье лета,  
 косточка спелой сливы.  
 Впрочем, хватает слова,  
 и, когда нет живого  
 сада, спасает память.  
 Как тогда быть с руками?  
 Верят же – не руками?

\*\*\*

Кто любит меня больше,  
 чем самая последняя моя личина,  
 моё творение,  
 женщина, приходящая пожить  
 во мне напоследок,  
 когда моя история закончилась?  
 Прежде чем я узнаю её,  
 она каждое утро, болтая ногами,  
 <лицом ко мне>  
 будет сидеть на подоконнике,  
 и однажды утром  
 дождётся:  
 вспомню всех девочек и женщин,  
 которыми была.  
 Они заполняют всю комнату  
 <как неловко, им некуда сесть>  
 ...открою дверь и выпущу их  
 по одной.



\*\*\*

В холодном весеннем поле,  
где я беременная убирала мусор,  
лежали бездомные на сырой земле.  
Одна девушка  
сидела на тёплых углях.  
Я протянула ей руку,  
она встала,  
и мы танцевали с нею.  
И я сказала ей:  
только не трогай мой живот.

\*\*\*

Мы живём на одном космическом корабле,  
мой изначальный друг.  
Отложные воротнички за бортом  
проплывут в музеи.  
Но когда закончится мысль  
и простынет след  
существова, мы, отрезки времени,  
где-то в зелени,  
будем в землях, неведомых прежде –  
и не прервётся свет.  
<не прекратится вдох наш в остатке племени>  
Письма прачеловека читать не смею:  
Кто в них дремлет, немощный, как вина?  
Ты невидим, я тебе не видна,  
оттого сама темнота немеет.  
Данным нам до рождения многоголосым  
садом  
<предков несметных  
<<взрывающим память>> хором>  
станет  
<тайной  
страшнее немого кружения вёсен>  
наш герметичный город.

# СВЕТЛАНА АНДРОНИК

---

## ВИТОК ЗЕМЛИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ

### РОЖДАТЬСЯ НА ЗАРЕ

стучись, входи, пригрейся на груди,  
ты так же ожидаем и родим,  
и раз пришёл, то по колено море.  
смотри – и не чужая, и не та,  
не тот запад, огонь и красота,  
не седина, но чаще мудрость в споре.

не кайся/кайся, не беги/беги,  
стирай в чужих дорогах сапоги,  
бросай почтовым голубем мне: «как ты?»  
ты всё равно придёшь ко мне стареть,  
курить, молчать, рождаться на заре  
заката...

### НЕ СНИЛОСЬ ДАЖЕ

Не снилось даже ни тебе, ни мне,  
что каждый проживёт в своём окне  
и плен, и тлен, и хлопоты пустые,  
уверует и перейдёт пустыню,  
пригубит дикий мёд и дикий страх,  
и станет, словно бражник у костра.

Пока песок в часах то бел, то бежев –  
ни дальних стран, ни ближних зарубежий.  
И выросла прозрачная стена,  
мир заслонила ангела спина.  
И за спиной кому-то много проще,  
шероховата пустота на ощупь.  
Увы, осталось только вспоминать,  
как год назад тебя держала площадь,  
не отпускала, путала следы,  
у камня есть предчувствие беды.  
Брусчатка липла и вращала в вальсе,  
мол, раз приехал, значит оставайся  
подольше у подножья обелисков,  
в фонтанном шуме слушать на английском  
пустое любованье толпы.  
В последний день, как водится, наспих ты  
в пылу увековечивал проспекты,  
в крылах амура – вековую пыль.



Был город на заре рыжебород,  
 друг друга вы переходили вброд...

А ныне – память, сон, дверная щель,  
 ты не принадлежишь себе вообще.  
 И только птицы...  
 Птицы вне закона.  
 А где-то просыпается река...  
 И блюз орёт на разных языках  
 из спичечной свободы на балконах...

### БЕССОНЧАТНОЕ

И эта ночь – древесная смола,  
 не коротка, но всё-таки мала,  
 как память писем старого стола  
 в небрежной стопке скомканных конвертов.  
 У ночи на прицеле каждый чат,  
 о чём чернила сохнут и молчат,  
 о чём горчат и блёкнут при свечах,  
 где едкий дым сознанием крутит-вертит...  
 Когда не просишь сердца, но плеча,  
 без первого немислимо второе.  
 И утро вспышкой первого луча  
 спешит запечатлеть, как полароид,  
 размытый миг в растерянных глазах,  
 когда слепая нежность, как лоза,  
 ещё не крепнет, только обвивает...  
 И как горит страница черновая  
 шершавым словом, вышедшим из моды...  
 Молчать дороже, где ни чья свобода –  
 не одиночество, но страх отведать старость  
 недовлюблённой, в час, пока все спят,  
 ты строчки перекручиваешь вспясть  
 и крутишь мышкой колесо сансары...

### ВИТОК ЗЕМЛИ

виток земли вокруг своей оси  
 бери и правду горькую неси  
 не замечай в упор что снег растаял  
 юдоль земная стало быть простая  
 зачем же денно ночью усложнять  
 и где ещё вчера была лыжня  
 черным черно  
 окрасится в зелёный  
 уже на днях  
 травы видны проклёвы

а ты стоишь на взлетной полосе  
 и где-то все  
 куда исчезли все  
 поди узнай  
 откуда этот холод  
 хоть жажда жизни в меру велика  
 и облака по встречной  
 облака

разбились вдребезги  
на горизонт легли  
и скоро отрываться от земли  
бежать спешить наращивая скорость  
и память отпуская чуть дыша  
где каждая минута хороша  
когда летишь над городами в гору

### АЭРОПОРТОВО

*...и я рад, что на свете есть расстоянья более  
неммыслимые, чем между тобой и мною.*

*Иосиф Бродский*

И разве нужно, если бы легко?...  
Взлетает пыль – сухое молоко,  
и проступает разница на лицах.  
Мой бог, мой свет, ну как тут не краснеть?  
Опять, смотри, невыношенный снег  
водой демисезонной приземлится  
на кромку безответной полосы,  
что столько лет изъезжена шасси,  
не прекращает мельтешить огнями.  
Вдруг сладость свяжет горло и нагрнет  
в гортани липовая нежность, одолей,  
попробуй, сможешь, сей древесный клей,  
тягучую вишнёвую камедь?  
Нет, легче сдаться, то бишь онеметь.  
Слепую воду сушит солнца пасть,  
в закат вливая талую ириску.  
У вас бы поучиться не упасть  
эквilibристам...

И окна, окна, ты на дне стакана,  
вибрация, табло, американо,  
щелчок-другой и снова «крибре-крабле»,  
просчастливилело, было и ушло.  
Эспрессо, невибрация, табло  
и грабли.  
Пусть жданно, ядно, больно и не ново  
знать всё, что через слово и полслова,  
через звонок кивок и три письма.  
Стрела ушла, колышется тесьма...  
И кипяток на вдохе сух, но сладок,  
потом придёт к тебе кто мал и слаб,  
делиться силой, чтоб не умертвить...  
И в пору спрятать небо в рукаве,  
но прячь – не прячь, простор в Отцовой власти.  
И мелко крестишь в небе муравья,  
там все равны отцы и сыновья,  
и возвращаешься  
из пластилина в пластик.



## ОТКРОЕШЬ ДВЕРИ ПАМЯТИ

Уснёшь, бывает, днём на полчаса,  
 и снится, будто страхи позади.  
 В окне мелькают люди и леса,  
 и электричка медленно гудит.  
 Сойдёшь незваной гостьей на перрон,  
 и горизонт в тебя вонзится колко –  
 багровый задремавший террикон  
 привычно затеняет полпосёлка...  
 Откроешь двери памяти – скрипят,  
 трясутся окна, пролетает скорый,  
 бабуля созывает всех ребят  
 на тёплый хворост...  
 У переезда стелется ковыль,  
 дежурный выгнул спину, как начальник...  
 Тук-тук... ложится угольная пыль  
 на бежевый льняной пододеяльник.  
 Проходит пассажирский под обед,  
 и на стене шатается икона,  
 а ты – в окно, чтоб точно разглядеть  
 откуда нумерация вагонов,  
 и машешь незнакомцам, как родным,  
 бежишь, спешишь, счастливая, босая,  
 и выдыхает свой последний дым  
 багровый террикон и угасает.  
 Ты поскорее хочешь стать большой...  
 Скрипят во сне распахнутые двери.  
 И шепчет ба: всё будет хорошо,  
 поспи...  
 И ты ей...  
 я ей...  
 мы ей верим.

## ПОСМЕТЬ

не потерять друг друга не посметь  
 пока нас в профиль не узнает смерть  
 в холодный заострённый подбородок  
 пока мы живы и не знаем брода  
 и бродим по болотам – болотам  
 раскачивая звук то тут то там  
 то вместе то порой поодиночке  
 но возвратясь в указанную точку  
 отсчёта полупшепота секрета  
 где тыква превращается в карету  
 проигрываем в тувфельку надень  
 коль не на ночь то стало быть на день  
 пока на небе держится вода  
 пока нас пожирают города  
 деревни мегаполисы столицы  
 посметь не потеряться и продлиться  
 прожечь себя в звонке или письме  
 оставить на листе небрежной формой  
 один из дней  
 без знаков и границ  
 и на одной из тысячи страниц  
 рассыпать буквы белые  
 на чёрном

## А ГДЕ-ТО ТАМ

Рекам больше некуда срываться, бежать, спешить,  
берега опустели, на пристанях ни души.  
Реки устали прощаться с рыбой,  
нести на спинах лодки и корабли...

А где-то там –  
«Мы сделали, что смогли,  
сделали, что смогли...»

А где-то там  
Бог отправляет в горячие точки своих людей,  
верных ангелов,  
будто в пучину смертную лебедей.  
Наставляет, благословляет, даёт им силы.  
Каждый в водовороте почти мессия...

А где-то там:  
«Господи мой, спаси, я...»  
Бьётся в молитве (дыша – не дыша) душа,  
как на ромашке – любит не лю... не дыша – дыша.  
И домолиться бы, но не хватает карандаша...

Господь посылает Машеньку, Джованни и Васыля,  
чтобы щелчок – и спасена земля,  
чтобы ходили бесстрашно и спали мирно...  
Вместо золота, ладана, смиренны,  
люди сбивают кресты и готовят гвозди... Будто бы время вспять.  
Бог отправляет, не исключая, что их захотят распять...  
Но в этот раз распинают безразличием и словами.

А где-то там  
Джованни спасает Ваню или наоборот Иван – Джованни.  
Благоразумные строят стратегии на диване.

А где-то там  
ангелов вывозят из Нижнего, Тернополя и Бергамо,  
их не хоронит земная мама.  
Перья летят, лебедей затягивает воронка,  
мамам приходит прах или похоронки...

А где-то там  
Всевышнему приносят аперитив,  
Он разбирает молитвы за ночь – positive или negative...  
Бог наставляет новых спасителей, не веря уже себе,  
все вокруг догадались, что у Господа не было плана «Б»,  
Юный ангел (земной реаниматолог) говорит: «Не ври мне,  
я же видел, что было в Барселоне, Нью-Йорке, Риме...  
Может, пора трубить?»  
Господь отрицательно машет – рано ещё, остынь...

А где-то там  
Таня всю ночь учит свою латынь,  
но до сих пор ужасно боится крови.  
Спорит с друзьями онлайн, сдвигает брови.  
Таня будет врачом от Бога... И для Него это уже неплохо.

Спорят:  
– Who is to blame?  
– Господь.  
– Китайцы...  
– Або кажан...

А где-то там священник чихает в локоть  
и продолжает исповедовать прихожан...





## ПЕСОЧНОЕ

Я снова в ожидании росы,  
где Бог разбил песочные часы,  
взъерошил небо, расстелил пустыню.  
Воды...

Ты ищешь воду мне в низине,  
где живы русла пересохших рек,  
где, если повстречался человек,  
то ты, скорей всего, ополоумел.  
Я жду и луч скользит по животу,  
и столько песен в пересохшем рту,  
и столько музыки грядёт в песчаном шуме.  
Господь в тебе, приносишь мне напиться,  
как детям капли в клюве носят птицы...  
Спасаеть...

Солнце выхватит из тени  
нас – ищущих её, в горсти ни тьмы,  
нам вопреки всему остаться б теми,  
кто мы...

А кто мы? Незнакомцы, беглецы?  
Глаза закроем – и уже слепцы,  
лицом к лицу переживём самум.  
Всё временно, не врать же самому  
себе, не знать, не думать сколько  
отмерено скитаться по осколкам  
песка бывшего – хрупкого стекла  
часов разбитых, пить росу с ладошек...  
И память, догоревшая дотла,  
ни горечи предательства, ни зла,  
ни прошлого в ней более, ни прошлых...

И ты звучишь, и музыка бела,  
и сладость необъятна, тяжела,  
и я как будто вовсе не жила...

# БОРИС ВОЛЬФСОН

---

## КАК ЖИЗНИ ВТОРАЯ ПОПЫТКА

### СНИЗУ ВВЕРХ

Имитируя движенье косяка трески –  
чёрта с два запеленгуешь, отличишь от рыб –  
субмарина раздвигает воду, как тиски,  
и лавирует неспешно между серых глыб.

У неё запаса хода хватит на года  
и запаса кислорода – на десятки лет.  
А вокруг солёный космос – чёрная вода,  
а внутри сидит команда, но меня там нет.

Потому что я отдельно, вовсе не дыша,  
в эту бездну погружаюсь, породнившись с ней.  
И летает над водою лёгкая душа,  
ну а мне, пожалуй, жабры здесь куда нужней.

Повторяя очертанья, прижимаюсь к дну  
и взвихряю плавниками муторную взвесь.  
Я не то чтоб привыкаю, а скорей тону,  
но, однако, чешуёю покрываюсь весь.

Те, кто сели в субмарину, по команде «Стоп!»  
тоже рано или поздно киль о дно сотрут.  
На планете пандемия и грозит Потоп,  
так что я, пожалуй, выбрал правильный маршрут.

Своевременно, как видно, очутившись здесь,  
я махну хвостом прощально миру-миражу.  
Я к глобальной катастрофе подготовлен днесь  
и теперь холоднокровно на неё гляжу.

### ВИТРАЖИ

Нет, отнюдь не без разведки – в бой, –  
но по плану, словно два стратега,  
не впадали – строили любовь  
эти двое, как конструктор Лего.

Подбирая каждую деталь,  
извлекаая ноты из астрала,  
сопрягали стёклышки и сталь,  
словно звуки звёздного хорала.



Не бродили чувства, как вино,  
и страстям не требовалась проба.  
Плавню в мозаичное панно  
с двух сторон они вращались оба.

Без помарок строили под ключ.  
Но когда в витражные спирали,  
будто стриж, врвался яркий луч,  
как же хорошо они играли!

### НАД ОЗЕРОМ СЛОВ

Над озером слов в ожидании клёва  
сизжу, наострив свою снасть.  
Когда же ты клюнешь, заветное слово,  
спасенье моё и напасть?

Ах как мне твоей не хватает глюкозы,  
твоих витаминов с утра.  
Витают над озером буквы-стрекозы,  
гудит запятых мошкара.

Когда бы китайцем я был и японцем,  
я б смог срисовать их полёт.  
Сизжу, разморённый полуденным солнцем,  
а слово никак не клюёт.

Но брови насупив и лоб свой нахохлив,  
и боль усмиряя в виске,  
я прутиком тонким черчу иероглиф  
на мокром прибрежном песке.

В ведре моём пусто, не нужно безмена,  
чтоб взвесить подобный улов.  
Быть может, каракули эти замена  
не пойманных в озере слов.

Мне с горки не свистнут варёные раки,  
один на своём берегу  
черчу иероглифов тайные знаки,  
но смысла понять не могу.

### СПАСТИСЬ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

К руке твоей я прикоснусь рукой,  
как будто приглашаю по делам.  
Спастишь от одиночества – какой  
отважный и невыполнимый план.

Не Робинзон на дальнем берегу,  
не химик, растворивший вещество...  
Я до тебя дотронуться могу,  
а ты и не заметишь ничего.

Гуляет осень в рыжем парике,  
твердит, что с милым рай и в шалаше.  
Рукой я прикоснусь к твоей руке,  
и это проще, чем к твоей душе.



Слова, слова – и все с частицей не –  
замки к давно забытому ключу.  
А кто-то прикасается ко мне –  
не чувствую, не вижу, не хочу.

Быть может, так и обрету покой,  
в порядок приведу душевный хлам.  
Спасти от одиночества – какой  
отважный и невыполнимый план.

### ОДИН НА ДВОИХ

Пересохший, кривой, бездорожный –  
ни пешком не осилишь, ни вплавь –  
сон бездарный, непрочный, тревожный,  
безнадёжно похожий на явь.

Мы уже засыпаем, но слышим  
с высоты долетевшую весть:  
это мечется ветер по крышам  
и срывает гремучую жезь.

Он летает по всем направлениям,  
крутит, вертит, врывается в сон.  
Нам к подобным природным явлениям  
приноравливаться не резон.

Сновидений, как яви эрзаца,  
до конца всё равно не понять.  
Остаётся теснее прижаться  
и друг друга крепче обнять.

Может, так нам решенье подскажет,  
приоткроет секреты на миг  
этот старый подержанный гаджет –  
сон – непрочный – один на двоих.

### МАЛЕВИЧ

Там, где уголь замещает мел,  
где холмы, а следом буераки,  
вспышка света – я преодолел  
световой барьер, лечу во мраке.

Здесь я оказался поделом.  
Заплутав среди мысленных апорий,  
глаз вперяю в чёрный окоём –  
горизонт квадратных траекторий.

Будущее выжжено дотла,  
прошлое не обретает плоти,  
в пустоте повиснув, как стрела,  
цели не достигшая в полёте.

Но пространство надвое деля,  
сам себя догнать я не умею.  
Эта угловатая петля  
сдавливает мозг, подобно змею.



И поняв, что ночь всегда темна,  
испытав различные аллюры,  
я в полёте натыкаюсь на  
Чёрного квадрата кракелюры.

### ВОДА

Сперва в хаотической гряде  
ветвей обозначила цель,  
потом проточила в запруде  
почти незаметную щель.

Потом сквозь зелёную тину  
и щебень, и липкую грязь  
она, разрушая плотину,  
прошла, словно полоз, змеясь.

Потом разметала преграды,  
с цунами сравнима вполне.  
И были катанию рады  
мальки на высокой волне.

Они пролетели сквозь дыры,  
как щепки и жёлтый листок,  
и думали, что командиры  
и что направляют поток.

Когда же, как доля лихая,  
им путь преградила земля,  
они умирали, вздыхая  
и жабрами чуть шевеля.

А рядом – цветная открытка,  
впитавшая небо слюда,  
как жизни вторая попытка,  
летела шальная вода.

\*\*\*

Когда, как тучка на закате, догорю я,  
едва увидев в небе первую звезду,  
о прежнем статусе нисколько не горюя,  
я мелким дождиком на землю упаду.

Я буду думать, что доставил с неба почту,  
как будто в реку опрокинул синеву,  
с водой смешаюсь и легко впитаюсь в почву,  
и напою собой зелёную траву.

А может быть, себя расплёскивать не стану  
и, так как в небе в общем нечего купить,  
слизну я облако, как белую сметану,  
и электрический заряд начну копить.

Проскрежешу впотьмах железною фрезью,  
не предпочту в руках синицу журавлю,  
и не сдержусь, и гряну сизую грозою,  
и сизым ливнем всю округу затоплю.



Я прыгну в реку, не задумавшись о броде,  
 верхушки сосен зацеплю на вираже...  
 Итог один – круговорот воды в природе,  
 в котором я давно участвую уже.

Я снизу вверх взгляну на звёздную обитель,  
 на то, как лихо проплывают облака,  
 пойму, что я всего лишь влаги накопитель,  
 а смерти нет или хотя бы нет пока.

\*\*\*

*Мёртвые беззащитны.  
 Но мы надеемся, что наши книги  
 нас защитят.*

*Эльза Триоле*

А жизнь по-свойски разберётся с нами –  
 утопит, как бессмысленных котят,  
 и нашими окликнет именами  
 других, и книги нас не защитят.

Увы, не защитят нас наши книги,  
 читай их про себя или кричи.  
 И всё же мы играли в высшей лиге  
 и забивали вечности мячи.

Но жизнь мелькнёт, в саду увянут розы,  
 и срок отмерит беспристрастный суд.  
 Потом не вспомнят ни стихов, ни прозы,  
 и нас они, конечно, не спасут.

А вечность надувает паруса ли,  
 страницы шевелит или года...  
 Нет наших книг, но мы же их писали  
 и счастливы бывали иногда.

Мы были и стрелками, и мишенью,  
 и ликовали – пусть на краткий миг, –  
 и в этом находили утешенье,  
 писатели давно забытых книг.

# НИНА ГЕЙДЭ

---

## НА ПОЛОТНЕ СУДЬБЫ

\*\*\*

Разбег пера – пора прогулок пеших  
в раздолье незабудок полевых.  
Там ситцевые платица трепещут  
под ветром на верёвках бельевых.

Там осы подбираются к варенью,  
как сердце подбирается к любви –  
и вопреки чужому наставленью  
вскипает своеволие в крови.

Хватает шпагу юность: лишь посмейте  
с престола наваждение сместить!  
Там жизнь – не разорённое поместье.  
Там время строить, не сжигать мосты

и не уютom чинным счастье мерить –  
упорством разыгравшихся стихий.  
Там с дерзким самомнением бессмертья  
для Вечности слагаются стихи.

А что же здесь? Душа ещё витает  
под облаками – в шрамах болевых,  
но незаметно память выпцветает,  
качаясь на верёвках БЫЛБевых.

\*\*\*

Очень больно перечитывать дневники –  
кажется, умирала уже не раз.  
В старых змках любви – забвения сквозняки:  
там нет и следа – ни моей ноги,  
ни тех, с кем в бессмертье искала лаз.

Очень странно из плоти дитя слепить –  
материнством плыть, как цветной рекой:  
колыбельные петь, лепетать, любить,  
ссоры нежно латать, тихо слёзы лить –  
а потом на прощанье махать рукой.

Очень трудно понять, что условна жизнь.  
 Было детство всерьёз, остальное – что ж,  
 понарошку как будто... Песок бежит  
 всё быстрее в часах, и судьбы паж  
 разнесли все посылки: сиди – итожь,

перечитывай письма и дневники,  
 сочиний для грядущей зимы сонет –  
 и гаси бесполезные маяки:  
 ни одной души, ни одной руки  
 не привлёк обжигающе яркий свет.

\*\*\*

Наверно, было слишком много красок  
 на полотне судьбы и тех плодов  
 ворованных, что после всех утрясок-  
 усушек – не оставили следов.

Лишь памяти земной переизбыток  
 чуть-чуть горчит – и ночи так тихи.  
 Был мир перевоссоздан и испытан  
 на лёгкость – воплощением в стихи.

Забывшие любовный лепет руки  
 сжигают невесомые мосты –  
 и лепят одиночества фигурки  
 из пересохшей глины пустоты.

\*\*\*

От старости до страсти – только миг,  
 и путь назад длиной в судьбу – недолог  
 Соперекличкой букв язык достиг  
 слиянья тайн земных, поднявши полог

заката и взметнув цветной подол  
 рассвета – с одинаковым раденьем.  
 Так бытия остывший чай спитой  
 вновь дразнит ароматом возрожденья.

С тобой не захандрить, не захиреть,  
 переходя с хорей дней на дактиль,  
 язык мой – богоизбранный хитрец –  
 не созерцатель ты, а созидатель.

\*\*\*

Образы-символы – образа  
 застят и ловят в сеть  
 вымыслов: сколько ни обрезай  
 нити – всё их не счесть.

Дрожью проходит через судьбу  
 жизнефантазий рябь.  
 Страсть посылает тюрьму-суму,  
 лёгок житейский скарб.





Вольной любви светотанец дней  
до святотатства лих,  
но оправданьем души моей  
станет крылатый стих.

\*\*\*

Всё в моей жизни вершилось само собой:  
ткала узор расставаний, растила сына  
и, уходя в стихотворный сухой запой,  
всё, что не вынести было, переносила.

Только любовь себе выбрала я сама –  
в жанре печально смешных неземных утопий.  
Эта любовь сводила меня с ума  
и с окружных дорог, уводящих в топи.

Эта любовь – как заноза в моей судьбе:  
вперила взор в меня, оперив поэтом.  
Эта любовь возвращала меня тебе,  
даже когда ты меня не просил об этом.

\*\*\*

По счетам старинным заплатила,  
а по новым – заплачу потом.  
Прорвана непрочная плотина –  
вынес из судьбы шальной поток.

А потоп случится – Атлантидой  
пусть под воду прошлое уйдёт.  
Оплети руками – наплети мне  
сказок, как корзин – на смерть вперёд.

Собери мне райской земляники –  
и уснём, от счастья разомлев.  
Поднебесье цену заломило  
за любовь на каторжной земле.

\*\*\*

Украсть чужое – право же, пустяк.  
Сундук, где все дары хранят, не заперт.  
Украсть чужое и украсить так,  
что вдруг своим покажется внезапно –

вот лучшее лекарство от потерь.  
Раскрою дней счастливых яркий веер.  
Жизнь сорвана давно уже с петель –  
а я пред нею всё благоговею.

Украсть и подарить любви вагон –  
и быть за все неистовства в ответе.  
Нет ничего на свете своего –  
как ничего чужого нет на свете.

\*\*\*

Я выросла из жизни, как из шубки,  
добротно мамой сшитой – на мороз.  
Я выросла из жизни, как из шутки  
нелепой – меня больше не морочь,

любовь, свои капризы повторяя  
в бескрайней хаотичной тесноте,  
где ад неотличим порой от рая –  
и всё не так, и все вокруг не те.

Мне шубка жмёт – не греет, износившись,  
но помню, как старалась мама шить.  
Мне бабочкой бы к солнцу возноситься,  
но продолжаю гусеницей жить.

\*\*\*

Зеркала зарекались: ты будешь вечной –  
черт твоих неизменность в потоке лет  
сохраним, как надёжный автоответчик,  
превращая в искусство святую лесть.

Зеркала заругались: а что мы можем –  
ты сама излучать перестала свет.  
Мы печали на веках твоих итожим –  
и меняет обличье уставший век.

Зеркала-заратустры увещевают:  
ты не с миром сражайся – с самой собой.  
И со смертью рождение моё спивают  
кропотливо и тайно иглой тупой.

\*\*\*

Жизнь – это многогранность поражений  
в победах, и удач в пустых делах.  
Я – только многократность отражений  
и в будущих, и в прошлых зеркалах

чужих судеб и лиц – в анфас и в профиль,  
открытых мне иль обращённых в даль.  
Сама я отражала только строфы –  
поэзии таинственный портал

заманивал двойной природой слова.  
Рутала я кривые зеркала –  
и руки к ним протягивала снова  
и альтер-эго своему агала.

Зеркал разбитых ранили осколки,  
но я их берегла, как часть себя –  
несовпадений тайной подоплёки,  
дразнясь, не объяснила мне судьба.



Зеркал уже осталось так немного.  
Из жизни выпав, словно из гнезда,  
я взгляд ловлю всевидящего Бога –  
песчинка у подножия креста.

И осень хороша ещё круженьем  
из обихода выпедших монет.  
Как много было слов и отражений,  
но в зеркале меня, как прежде, нет.

\*\*\*

На самой верхней – самой верной ноте  
я буду петь твою случайность здесь,  
мгновений мимолётные длинноты  
выкладывая жемчугами действ

и перламутром слов – они любовью  
сотворены, они не от ума.  
Ещё скажу наперекор злословью,  
которое сгустилось, как туман:

теперь уже не верить слишком поздно,  
что только Бог – нам высший судия,  
ведь это Он легко и виртуозно  
нас вылепил из глины бытия.

# ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

---

ХОРОШО  
путевая проза  
продолжение

## Глава седьмая. Никосия

Отвезя сына в школу, я вернулся в деревню. Утренняя прогулка уже стала ритуалом. Маршрут был один и тот же. Я спускался вниз мимо нескольких полуразрушенных традиционных кипрских домов, поворачивал в сторону церкви Святого Мины и шёл к деревенской площади с её чудесной старой церковью Святых Афанасия и Кирилла и недавно отреставрированным культурным центром. Церковь действительно была старой, ей было как минимум триста лет, а вот культурный центр был ровесником церкви Святого Мины – бодрым и крепким столетним зданием. Возвращался обычно мимо муниципалитета – прекрасно построенного внушительного современного здания с библиотекой. Но сегодня до площади я так и не дошёл. Из открытых дверей церкви доносилось чарующее пение отца Константиноса. Я вошёл вовнутрь, в полумрак и прохладу, и тихо сел в ближайшее кресло. На службе было всего шесть человек, всё же восемь часов утра здесь – это самый разгар рабочего дня. Отец Константинос произносил нараспев «аллилуйя», и я забыл о делах и планах, тревогах и волнениях. Мне было хорошо здесь и сейчас. Наверное, это и можно назвать счастьем.

Когда молитва закончилась, я вышел на залитую солнцем улицу. Настроение было приподнятым. Всё же христианские традиции сильны здесь невероятно, и все ритуалы пронизаны радостью.

Каждое воскресенье начинается на Кипре со звона колоколов. В шесть часов утра церкви и храмы уже полны. Заполненные до отказа машины продолжают приезжать до восьми, в итоге у храмов образуется форменное столпотворение. Священники нараспев читают молитвы, которые разносятся из динамиков на всю округу. Больше всех происходящему радуются маленькие девочки, каждая служба для них – настоящий праздник, на который мамы одевают их в самые нарядные платья. Именно дети первыми бегут к причастию. За ними идут старики, затем все остальные. На улице, у входа, уже стоят подносы с просфорами. К девяти все разъезжаются с радостным чувством выполненного долга.

Два года я просыпался по воскресеньям от колокольного звона, а молитву было хорошо слышно даже сквозь закрытые окна. И почти десять лет, приезжая каждый год в Эрими, я наблюдал, как улучшается храм. Вот достроили вторую колокольную башенку; вот храм облицевали тем самым светлым ракушечником, который придаёт кипрским домам такой нарядный вид; вот на входе установили резную деревянную дверь необычайной красоты; а вот, наконец, смонтировали подсветку, и теперь по ночам храм словно парит над землёй. Постепенно украшался он и внутри. Это постепенное движение к лучшему вселяет уверенность в завтрашнем дне и так отличается от нашей привычки – сделать всё идеально, вложить в постройку кучу денег и потом пассивно наблюдать за разрушением, упадком, увяданием.

Ну что же, пора ехать в Никосию. Меня там сегодня ждёт Нора Наджарян, писательница, с которой я познакомился лет пять назад. Однажды утром я решил, что пора завести знакомства с местными литературными знаменитостями. Нора оказалась самой доступной – у неё была страничка в Фейсбуке. Я немедленно написал ей, тут же получил ответ и на следующий день же приехал в Никосию, где она живёт и работает. Её работа тишина для писателя – она преподаёт в гимназии английский язык.

Нора – армянка. Сто лет назад её предки бежали на Кипр из Турции, спасаясь от устроенной турками кровавой резни, а теперь она каждый день ходит по улице Ледра, главной улице Никосии, расколотой с 1974 года пополам «зелёной линией», разделяющей Республику Кипр и никем, кроме Турции, так и не признанную Турецкую Республику Северного Кипра. Нора пишет стихи и короткие рассказы на английском, армянском и греческом, и самая известная её книга так и называется – «Ledra street». В первый раз мы встретились в Центре визуальных искусств и исследований CVAR; тогда, пять лет назад, она пригласила меня на выставку «*Tempus Fugit – Morphou, Soli & Vouini 2016*». Пятеро приятелей –



художники, фотограф, музыкант и поэт, – отправились в путешествие по острову, посетив два места на Северном Кипре, город Морфу и развалины древнего города Соли, и деревушку Вуни неподалёку от Лимассола. Свои впечатления они выразили в рисунках, фотографиях, музыке и стихах, которые, как молитва, звучали из динамиков. Поэтом как раз и была Нора Наджарян. С тех пор я мечтаю сделать что-то подобное – выставку, на которой звучали бы стихи.

Нора обожает израильского прозаика Этгара Керета, и её собственные рассказы с каждым годом сжимаются, становятся всё короче и насыщеннее. Читая её, я вспоминаю Папиниана, величайшего римского юриста, который писал настолько лаконично, насколько это было возможно.

Поездка в Никосию, дорога в которую занимает всего час – это путешествие в другой мир. За последние тридцать лет, после начала большой волны иммиграции на Кипр, его города и регионы разделились по национальному признаку. Лимассол – «русский», «бизнесовый» город, здесь живут около двадцати пяти тысяч выходцев из России, Украины, Беларуси. Здесь есть русское радио, русские газеты и даже русское телевидение, и в редком магазине или кафе вам не удастся объясниться по-русски.

Пафос, наоборот, в основном английский. Это самый спокойный город на острове – спокойнее, пожалуй, только маленький Полис, единственный расположенный на севере город «греческого» Кипра.

Ларнака – город странный. Скорее, это просто пункт прилёта и отлёта. За два часа можно осмотреть все местные достопримечательности, главными из которых является набережная Фуникудес, храм Святого Лазаря, того самого, которого воскресил Христос, и памятник основателю стоицизма, Зенону Китийскому. Но Ларнаке многое можно простить просто за то, что она входит в двадцатку древнейших городов мира. Ну и за Зенона, конечно.

Айя-Напа – летняя тусовочная столица острова. Это город пляжей и дискотек. Рядом с ней – Протарас и Паралимни, которые пытаются как-то заменить потерянную Фамагусту с её лучшими на Кипре пляжами.

Ну, а Никосия – город политиков, беженцев и культуры. Именно тут находятся главные музеи Кипра.

Никосия была ещё недавно не только столицей острова, но и городом самых высоких на Кипре небоскрёбов. Теперь Лимассол перецеголял её. Но кому вообще интересны небоскрёбы? Самым ценным, самым дорогим и интересным был и остаётся для меня в Никосии старый город. Город внутри крепостных стен, город-солнце, идеальный город эпохи Возрождения, такой же, как итальянская Пальманова и мальтийская Валетта. Стены этого идеального города были сооружены венецианцами для защиты от турок, но так и не выполнили своего предназначения. Никосия была захвачена ими после семинедельной осады. Гораздо менее защищённая Фамагуста сражалась дольше, почти одиннадцать месяцев. Но крепостные стены в Никосии остались, и на месте бывшего крепостного рва, заполненного в XVI веке водой реки Педиэос, теперь стадионы и парки.

Из одиннадцати построенных в 1560-х годах бастионов, названных когда-то в честь одиннадцати аристократических венецианских семей, пожертвовавших деньги на их строительство, пять сейчас находятся на греческой стороне, пять – на турецкой, и одна контролируется миротворцами ООН.

Никосия – не просто единственная в мире разделённая столица. Это самый сложный и многонациональный город острова. Только здесь и в Иерусалиме можно услышать одновременно звон колоколов и азан – призыв муэдзина к молитве. Прекрасно отреставрированные дорогие дома перемежаются здесь с заброшенными, нежилыми, в которых давно уже выбиты окна и провалены крыши, а чиновники в дорогих костюмах, вышедшие из здания мэрии, тут же оказываются среди групп бесцельно бродящих сомнительных личностей всех цветов кожи. В невзрачных домишках, в небольших квартирах живут десятки суданцев, сирийцев, индусов, которые не только давно не работают, но, возможно, никогда и не начинали этого делать. Самые успешные из них становятся вышибалами в ночных клубах, внутрь которых страшно заходить, продают траву или «курируют» престарелых проституток, которые годами поджидают своих клиентов в полуразрушенных лачугах прямо у зоны отчуждения. Эта буферная зона, тянущаяся на сотни километров вдоль всего острова, в Никосии проходит прямо посередине старого города, и главная его артерия, там самая пешеходная улица Ледра, разделена контрольно-пропускным пунктом, устроенным на границе южной и северной, греческой и турецкой частей. Пограничный переход торжественно открыли третьего апреля 2008 года, спустя четыре года после провала референдума по объединению острова. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан разработал тогда целый план по воссоединению Кипра перед его приёмом в Европейский Союз. План не сработал, на референдумах, которые проводились в каждой из общин, были получены противоположные результаты. Турецкая община проголосовала за объединение, греческая – против, и это было вполне объяснимо – уровень жизни на юге в три раза выше, поднимать «север» с заселившимися туда десятками тысяч турок с континента пришлось бы им, а рычаги управления распределялись практически пополам, так что новый конфликт был неизбежен. Да и Турция отказалась выводить свои войска с острова. Тем не менее, перемещаться между обеими его частями стало с тех пор несравнимо легче. Когда-то, в первый свой приезд на Кипр, я мог лишь издали, с верхнего этажа башни Шаколас, самого высокого здания на улице Ледра, посмотреть на турецкую сторону с вызывающим, огром-

ным, нарисованным прямо на склоне одной из вершин горной цепи Пентадактилос красно-белым флагом Турецкой Республики Северного Кипра. Теперь я могу пересечь эту границу сколько угодно раз в день, пройти быстрый паспортный контроль и попасть из размеренной атмосферы находящихся прямо у линии разделения греческих кофеен сразу на шумный, грязный восточный базар, на котором нужно внимательно следить за содержимым сумок и карманов, да и вообще держать ухо востро, чтобы не быть обманутым, облапошенным кем-то из ушлых продавцов или просто прохожих. Северный Кипр – уникальное место, куда могут совершенно свободно попасть и совершенно безопасно жить любые преступники, потому что непризнанная республика не подписала ни одной международной конвенции, а визы для приезда туда требуются от граждан всего трёх стран: Сирии, Армении и Нигерии. Респектабельные турко-киприоты, ничем почти не отличающиеся от своих греческих собратьев, теперь в меньшинстве, хотя и пытаются держать рычаги управления в своих руках. Северный Кипр сейчас – это средоточие мусульман всех стран мира, перемежающихся, однако, погнавшимися за дешёвой недвижимостью англичанами, россиянами и даже израильтянами, а ещё студентами, получающими почти даром отличное англоязычное образование в многочисленных местных университетах, самый известный среди которых – основанный богатейшим турком-киприотом Суатом Гюнселем Ближневосточный университет.

Но, попав на восточный базар, не стоит сразу поворачивать назад. Достаточно пройти пару сотен метров, и лавки заканчиваются, узкие улочки старого города – такие же, как и в южной его половине – вновь становятся тихими и немногочисленными, и одна за другой появляются вдруг такие же кофейни, заполненные доброжелательными людьми. Множество их – во дворе Бюйюк-Хан, самого большого на острове караван-сарая, построенного через год после перехода Кипра под власть османов. Совсем рядом – Бедестен, бывший крытый рынок, а до турецкого завоевания – церковь Святого Николая, где мы смотрели когда-то шоу суфийских дервишей. «Я отправился в турецкий квартал и сел среди извозчиков и шоферов выпить кофе с коньяком, в тени Бедестана, в самом памятном месте во всей Никосии», – писал о нём Даррелл. К нему практически примыкает крупнейшая на острове мечеть Селимие, перестроенная в конце XVI века из великолепного католического собора Святой Софии. Собор строился долго, с 1209 по 1325 год, и служил, как и константинопольская Айя-София, местом коронации – только в никосийском, как и в Соборе Святого Николая в Фамагусте, короновали не византийских императоров, а кипрских королей, французских феодалов Лузиньянов. Служил собор и местом упокоения некоторых из них – в частности, Гуго III де Лузиньяна, короля Иерусалима и Кипра. Того самого Гуго, которому был посвящён трактат Фомы Аквинского «*De regimine principum*».

В 1570 году, во время османской осады, собор был переполнен людьми, ищущими укрытия. Когда девятого сентября город пал, последний католический епископ Пафоса, Франческо Контарини, произнёс в соборе последнюю христианскую проповедь. В своей молитве он просил божественной помощи и увещевал людей. Увы, это не помогло. Взломавшие дверь османские солдаты убили епископа и большую часть его паствы. Мебель и убранство, не разрушенные на месте, были просто выброшены на улицу. Возглавлявшему оборону столицы Николо Дандоло османы отрубили голову. Двадцатитысячный город опустел, в нём остались лишь обращённые в рабство женщины и дети. Уже 15 сентября в новоиспечённой мечети состоялась первая пятничная молитва. На ней присутствовал Лала Мустафа-папа, тот самый «кипрский завоеватель», который приказал содрать живём кожу с защищавшего Фамагусту венецианского военачальника Маркантонио Брагадина. В честь этого собор Святого Николая в Фамагусте именуется теперь мечетью Лала Мустафы-паши.

Брагадин, один из лучших военачальников за всю тысячелетнюю историю Венецианской республики, удерживал Фамагусту с сентября 1570-го по начало августа 1571 года. Семь штурмов и сто пятьдесят тысяч артиллерийских залпов выдержали гарнизон и жители города. Численность османских войск превосходила венецианцев как минимум в двадцать раз. Не получив помощи от Венеции и Священной лиги католических государств и оставшись без продовольствия – очевидцы писали, что горожане ели собак, кошек и крыс – Брагадин и двое других руководителей обороны, капитан Пафоса Лоренцо Тьеполо и последний губернатор венецианского Кипра, Асторре Бальони, вынуждены были сдаться. Мустафа-папа обещал всем защитникам города свободный выход, с тем, чтобы они могли добраться до Крита, но обещания своего не сдержал. На церемонии капитуляции, когда Брагадин должен был передать освободившийся от жителей и защитников город Мустафе, османский военачальник, первоначально встретив его с любезностью, вдруг начал вести себя странно. Источники писали, что турок узнал об убийстве по приказу Брагадина пятидесяти мусульманских паломников, среди которых были его люди: якобы глава обороны Фамагусты нарушил своё обещание относительно их безопасности. Брагадин всё отрицал, но повёл себя заносчиво и, вполне возможно, сказал Мустафе, что тот пытается найти предлог для мести за то, что несколько сотен венецианских солдат смогли в течение многих месяцев противостоять его двухсот пятидесятитысячному войску. Мустафа вытащил кинжал и отрезал Брагадину правое ухо, велел палачам отрезать оставшееся и вырвать тому ноздри. Губернатора Асторре Бальони, который начал упрекать османского командующего



в несоблюдении соглашения о капитуляции, Мустафа приказал убить. В последовавшей за этим резне погибли триста пятьдесят венецианцев.

Через две недели, 17 августа 1571 года, после пыток и издевательств Брагадин принял мученическую смерть: на глазах оставшихся в живых и ставших пленниками жителей и защитников Фамагусты с него живьем содрали кожу. Четвертованное тело бывшего военачальника было выставлено в качестве военного трофея. Потом его кожу набили соломой и сделали чучело. В таком виде, верхом на осле, останки казнённого возили по улицам Фамагусты. Позже Лала Мустафа-паша привёз головы казнённых военачальников и кожу Брагадина в Стамбул, чтобы порадовать султана Селима II, сына знаменитой Роксоланы.

Говорят, Селим был не очень доволен. Нет, он не был чувствительным гуманистом. Просто он не хотел чрезмерно портить отношения со Священной лигой, образовавшейся для помощи венецианцам.

Очевидцем всех этих событий был Франческо Мерици да Карваджо, дядя великого художника. Вот что он писал: «... Там, на мачте галеры висит тело! <...> Голова, лишённая ушей, обезображена и покрыта гноиниками. Лицо провидитора Маркантонио Брагадина почти что неузнаваемо. Его тюремщики жестоко оскорбляли и избивали его с того самого момента, как он был брошен в тюрьму (после того, как ему отрезали уши), и его судьба была предрешена, поскольку он с негодованием отверг принудительное обращение [в ислам].

Перед повешением он вынужден был перетаскивать корзины, полные камней, получая удары и пинки от солдат. Лишь по прошествии долгого времени он был сброшен с мачты корабля, где все, только что ставшие рабами, могли видеть его с битком набитых галер. Как и Христа на кресте, его издевательски спросили – не видит ли он, случаем, сверху возможности, что кто-нибудь вмешается, дабы спасти его. Затем его обнажённым привязали к столбу и начали сдирать с него кожу.

Брагадин не издал ни единого стога, и Лала Мустафа был взбешён. Брагадин прожил до того самого момента, когда с него содрали всю кожу – за исключением одного лишь пальца на руке, откуда она никак не снималась, так что в итоге пришлось ампутировать фалангу – и даже более того: вплоть до мига, когда – уже после того, как с него живьем содрали кожу – его члены были разорваны на куски жаждавшими крови солдатами. Его кожу тотчас же набили соломой, так что создавалось впечатление, что тело героя возродилось, дабы вынести новые надругательства вместе с головами своих подчинённых Лоренцо Тьеполо, Бальони и Луиджи Мартиненго, отрубленных несколькими днями ранее.

Долго ещё несчастные останки носили по округе и показывали как символ триумфа Оттоманской Империи. В конце концов они добрались до Константинополя...».

Хочется верить, что жестокие времена канули в прошлое, но совсем недавняя история кипрского конфликта заставляет в этом усомниться.

И тем не менее в каждый приезд в Никосию меня неудержимо тянет к «зелёной линии», буферной зоне, разделяющей город на две части. Наверное, это сидящее глубоко внутри желание дойти до какой-то конечной черты, до предела – точно так же на любом из островов я хочу непременно дойти до края, мыса, обрыва. Двадцать лет назад, в первые наши приезды на Кипр, линия действительно была пределом – дальше пройти мы никак не могли. С тех пор многое изменилось, но многое и сохранилось – окрашенные в белый и голубой цвета бочки из-под масла, мешки с песком, будки наблюдателей, колючая проволока... Только вот тянувшиеся вдоль линии разграничения кварталы зияющих пустыми окнами, усыпанных мусором и обросших травой заброшенных домов постепенно сжимаются, как шагреновая кожа. Нет, дома куда не исчезают – их просто реставрируют, а вместе с реставрацией исчезает тот дух опасности, тревожности и загадочности, который витал над этими местами несколько десятков лет. Тогда, двадцать лет назад, гулять здесь было кайфом – ржавые вывески на фасадах давно пустых магазинов, паутина, покрывающая брошенную мебель, которой десятки лет пользовались лишь коты... Я до сих пор помню заброшенную парикмахерскую с двумя креслами, на которых последние посетители сидели летом 1974-го. Кресла были покрыты густым слоем пыли, а рядом, на столике, лежали основательно заржавевшие инструменты. Сейчас парикмахерской уже нет. Всё меняется, оживает, но плакат с истекающим кровью островом всё так же висит возле крошечного кафе «Берлинская стена», находящегося прямо у пограничной линии.

Входить вовнутрь немногих оставшихся заброшенными домов – необыкновенный кайф. Я влюблён в старую греческую архитектуру, и сердце моё усиленно колотится, когда я вижу высокие просторные холлы с крутой лестницей в дальнем от входа конце, узкие резные окна, поросшие апельсиновыми и лимонными деревьями дворики... Помню один из таких домов – дверь в него находится прямо перед колючей проволокой, а основная часть уже в нейтральной зоне. Впечатление внутри фантастическое – там свежо и просторно. В Никосии жарче, чем в других кипрских городах, летом тут от 35 до 45-ти, поэтому просторные тенистые холлы – настоящее спасение.

Сегодня утром Нора Наджарян занята, поэтому я первым делом отправился к Панкипрской гимназии, в которой преподавал английский язык Лоренс Даррелл. «Никосийская гимназия – большое обветшалое

здание в пределах старой, выстроенной ещё венецианцами городской стены; вместе с дворцом архиепископа оно и составляло духовный центр греческой общины, как бы её нервную систему», – писал он. От обветшалости, которая понятна – гимназия основана в 1812 году, в период Наполеоновских войн – сейчас не осталось и следа, её несколько раз реконструировали, и даже сейчас портик закрыт строительными лесами, поэтому ученики входят вовнутрь через пристроенное рядом новое здание.

Своих тогдашних учеников и особенно учениц Даррелл описал так ярко, что, кажется, достаточно закрыть глаза, чтобы увидеть их всех, одержимых страстной любовью к учителю, всех, чьи имена в журнальном списке напоминали персонажей греческой трагедии: Электру, Ио, Афродиту, Иоланту, Пенелопу и Хлою. Особенно, конечно, красавицу Афродиту, на уроках сочинявшую стихи и спросившую однажды Даррелла, почему в английском языке понятие «любить» обозначается всего одним словом, тогда как в греческом их несколько, и тот, дабы не уронить престиж империи, выдал ещё пару синонимов – «обожать» и «сходить с ума», после чего все девочки в своих сочинениях стали форменным образом сходить с ума, употребляя это выражение как попало. Именно Афродита вручила Дарреллу подписанную всем классом петицию с декларацией о праве народа Кипра на свободу. Свобода далась нелегко. Старшеклассники, которых каждый день видел Даррелл, стали участниками террористических групп. Борьба ЭОКА, национальной организации кипрских бойцов, за независимость от англичан принесла много жертв. Самыми известными из них стали тринадцать бойцов, тайно похороненных по приказу губернатора Кипра, сэра Джона Хардинга, на территории единственной на острове никосийской тюрьмы. Девять из них были повешены там же. Удержать всё в тайне так и не удалось, но это не стало для англичан препятствием. Как не стало препятствием и письмо Альбера Камю королеве Елизавете с просьбой пощадить одного из осуждённых, двадцатитрёхлетнего Михаила Караолиса. Письмо осталось без ответа, а для исполнения приговора из Англии даже приехал последний британский палач, печально знаменитый Гарри Аллен.

Здесь же, во двореке тюрьмы, похоронено тело заживо сожжённого англичанами Григориса Афксенту. Но все попытки губернатора Хардинга сдерживать волнения на и без того уже беспокойном острове оказались безуспешными. Потом, во время войны с турками, греки-киприоты особенно отчаянно бились за территорию тюрьмы. Сейчас тюремное кладбище стало национальным памятником, который посещают ежегодно десятки тысяч людей.

Когда-то, после прочтения «Тропика рака», Даррелл написал Генри Миллеру: «„Тропик“ научил меня одной очень важной вещи. Писать о тех людях, о которых я кое-что знаю. Вы только себе представьте! Вся эта коллекция гротескнейших персонажей сидела у меня внутри, и я до сих пор не написал о них ни строчки — только о героического склада англичанах, и о голубкоподобных девах, и т.д. (7/6 за книжку)».

С губернатором Хардингом Даррелл тоже был прекрасно знаком – ещё бы, ведь Даррелл руководил департаментом по связям с общественностью британской администрации. Его безудержный панетирик Хардингу сейчас даже неловко читать. Посудите сами:

«Невысокого роста, ... но при этом прекрасно сложенный, он обладал врождённым обаянием придворного, в сочетании со спокойствием и мягкостью мудрого патриарха. ... человеку этому были свойственны проворство и сноровка франколина и ясный цепкий ум администратора, привыкшего принимать ответственные волевые решения.

<...> Трезвым и прямым взглядом солдата он окинул хаос и растерянность, в которой до сих пор пребывала нерешительная и отчаянно нуждающаяся в средствах местная администрация, и сразу сделал чёткий вывод: следует восстановить общественный порядок, а на силу отвечать силой. Вскоре вслед за ним начали прибывать и его солдаты: великолепная выправка, загорелые (и всё ещё улыбочивые) лица, они которые мигом оживили атмосферу на пыльных окраинах пяти городов. Позиция на шахматной доске начала как будто сама собой меняться в лучшую сторону, фигуры были вдумчиво и осторожно перегруппированы».

Однако все решительные меры – комендантский час, концентрационные лагеря, смертные приговоры – привели лишь к новой волне насилия. Правда, когда в 1957-м Хардинга отозвали наконец в Лондон, ему был пожалован титул пэра. Это было красноречивее любых слов, которыми можно было бы описать британскую колониальную политику.

Даррелла, к счастью, политика занимала куда меньше литературы. В нескольких эпизодах своей замечательной книги он упоминает одного из своих учеников, Павла, усердно штудировавшего древнегреческих поэтов. Узнав от другого учителя, что Павел даже в ранние утренние часы сидит за книгами, Даррелл показал ему стихи своего приятеля, Йоргоса Сефериса. Стихи эти вызвали у Павла удивление и даже лёгкий испуг. Сейчас любой ученик Панкипрской гимназии, даже не знающий о том, что Сеферис получил в своё время Нобелевскую премию по литературе, может просто перейти дорогу, войти в Музей фольклорного искусства и увидеть сразу же у входа красивейшую деревянную, выкрашенную в фисташково-зелёный цвет дверь от церквушки в деревне Дали, которую привёз туда друг Сефериса, художник и первый директор музея, Адамантиос Диамантис. Маленькая сова на двери так вдохновила по-





эта, что он написал стихотворение «Кипрские мелочи», посвящённое одновременно сове и Диамантису. Стихотворение это – на греческом и английском – можно прочесть тут же.

Увы, музей при Панкипрской гимназии, в который я рвался, чтобы увидеть какие-то следы пребывания там Даррелла, сегодня закрыт. Собственно, Даррелл не был там единственной знаменитостью – в гимназии преподавали кипрский архиепископ Хризостом I и поэт Димитрис Липертис, а окончили её несколько кипрских президентов, среди которых был и архиепископ Макариос III, и даже один Нобелевский лауреат, Кристофер Писсаридес.

Даррелл был прав. Если улица Ледрa – это главная артерия Никосии, то площадь Архиепископа Киприана, как бы высокопарно это ни звучало – духовный центр греческой её части. Начать хотя бы с того, что сам Киприан – кстати, и основавший гимназию – был участником основанного в 1814 году в Одессе тайного общества «Филики Этерия», с восстания которого против Османской империи и начался путь Греции к независимости. Когда в конце февраля 1821 года Ипсиланти с гетеристами перешёл Прут, чтобы поднять восстание в Молдавии и Валахии, после чего началось восстание в Пелопоннесе, турки начали убивать греков на всей территории Османской империи. В первый день Пасхи, 10 апреля, в Константинополе был повешен Григорий V. Девятого июля управлявший Кипром Кючук Мехмет велел явиться в Никосию четыреста восьмидесяти шести знатым киприотам, в числе которых были епископы Пафоса, Кирении, Китиона, и, закрыв городские ворота, обезглавил или повесил четыреста семьдесят из них. Сам архиепископ Киприан был публично повешен на дереве напротив средневекового дворца Ги де Лузиньяна.

Сейчас на площади Киприана находятся Архиепископский дворец, Музей Византийского искусства, Музей национальной борьбы, фольклорный музей и Собор Иоанна Богослова, в котором проводится интронизация всех новых кипрских архиепископов. «Но место само по себе было довольно уютное, с широкой подъездной дорожкой, в полупрозрачной зелени перечных деревьев, а стоявшая прямо напротив крохотная церквушка Святого Иоанна и вовсе являла собой совершенно восхитительный образчик византийской архитектуры» – так писал о площади Даррелл. «Крохотная церквушка» была построена в XVII веке на месте бенедиктинского аббатства, и размер её объясняется просто – во времена Османской империи ни один христианский храм не имел права соперничать с мечетями ни высотой, ни внешним видом.

Выйдя из фольклорного музея и поглазев в очередной раз на стоящие за стеклом автомобили, принадлежавшие когда-то Макариосу III, я медленно пошёл в сторону улицы Ледрa, где меня должна была ждать Нора. Пройдя мимо мечети Араблар, действительно крошечной, и, как водится, перестроенной турками из церквушки Ставрос-ту-Миссирику, я подошёл к церкви Панагии Фанеромени. Она купалась в солнечных лучах, почти парила в них, и мозаичный архангел Гавриил у входа казался живым благодаря волшебной игре света и тени. Площадь перед церковью уставлена столиками нескольких кафе. Найти свободное место тут всегда проблематично, а жизнь здесь бурлит – кто-то играет в нарды, не забывая при этом наслаждаться фраппе, кто-то курит траву, но все обязательно громко переговариваются между собой.

Этот гул радостных, оживлённых голосов в уличных кафе – один из самых больших кайфов в жизни.

Хоть я пришёл немного раньше, Нора уже ждала меня. Это было весьма кстати, потому что ей удалось занять столик.

После объятий и поцелуев, столь привычных на Кипре, мы оба заказали всё тот же фраппе. Она похвастала новой книгой, рассказала о своих выступлениях в Голландии и Словении. Рассказал о своих новых книгах и я.

После этого мы замолчали. Ведь о чём обычно говорят приятельски настроенные по отношению друг к другу писатели? Обычно они перемывают косточки другим писателям. Нет, конечно, не оплёвывают друг друга – это удел поэтов. Но пожаловаться на недооценённость, согласиться друг с другом в том, что получившие в этом году большие премии авторы не слишком их достойны – часть обязательной программы. Тут-то и вышла загвоздка – мы с Норой существуем в совершенно разных писательских мирах. Я не знаю никого (ну, почти никого) из тех, кем она восхищается, кому завидует, с кем конкурирует. То же самое и у неё.

Спасение пришло внезапно.

– Нора, скажи, зачем ты вообще занимаешься этим гиблым делом? – спросил я неожиданно для самого себя.

Она посмотрела на меня вопросительно.

– Ну ты ведь тратишь на сочинительство кучу времени. Как и я, собственно. И что ты получаешь взамен? Деньги? Нет. Грандиозную славу? Тоже нет. Тогда зачем?

– Я давно уже не представляю свою жизнь без этого.

– Да-да, понимаю. Не могу не писать. Так отвечают почти все. Но это сейчас, а ведь до того, как ты начала, сидение за столом и заполнение листа строчками не было твоей насущной потребностью и привычкой.

– Во-первых, я начала довольно рано. Во-вторых, Маркес давно ответил на этот вопрос. Ты родился писателем, как кто-то родился евреем, а кто-то – чернокожим. Успех пьянит, и любовь читателей окрыляет, но это всё второстепенно, потому что хороший писатель будет писать, даже если башмаки у него рваные, а книги не продаются. Вот видишь, я помню его слова почти наизусть.

– Да, я помню. И о том, что каждый из нас должен прожить именно свою, а не чью-нибудь жизнь. Реализовать себя, осуществить свою главную мечту... Но у каждого из нас главная мечта меняется с десяток раз. Кстати, плохой писатель тоже будет писать, даже если его книги не продаются. В общем, я не верю в подобную романтику. Она подходит для статьи зашпатованного психолога в глянцевого женском журнале. Прости.

– Ну хорошо, а какой ответ есть у тебя?

– Для меня самое ценное в писательстве – это познание с его помощью себя и мира. Я тут согласен с Генри Миллером. Часто ты понимаешь что-то только после того, как опишешь. И это бесконечный путь, у которого не может быть завершения. Помнишь у Стендаля: «Я трепещу всё время от мысли, что, желая высказать истину, я записываю только вздох». В общем, постичь, но не достичь. Потому я до сих пор сомневаюсь в необходимости писать художественную прозу.

– Это ещё почему?

– Сама посудни. Ты выстраиваешь сюжет, конструируешь героев, и всё для того, чтобы вложить в их уста свои собственные мысли, делая вид, что они не твои собственные. Опять же Миллер писал о том, что диапазон писателя ограничен его интуицией. Я знаю – ты скажешь, что герои в процессе написания начинают жить собственной жизнью. Но больше, чем знаешь ты сам, герои сказать не смогут. Так лучше я сам и буду героем, буду писать о себе и о тех, кого я лично знаю.

– Мне кажется, ты слишком зациклен на себе. Мне интересны и другие люди, интересно то, что я, как мне кажется, смогла в них разглядеть. Кстати, твой Миллер сам утверждал, что главное – понять своё назначение и следовать ему.

– Боже, как же надоело это предназначение. Мне кажется, найти его можно только тогда, когда его не ищешь. А вообще мне нравится мысль Сигизмунда Кржижановского о том, что писатели – профессиональные дрессировщики слов. И публика, как в цирке, оценивает мастерство дрессировщика и платит тому, кто развлекает её лучше всех.

Нора засмеялась, и это был хороший момент для того, чтобы сменить тему.

Мы поболтали о карантине и путешествиях и снова согласились с тем, что нужно устроить совместные чтения.

Полтора часа пролетели незаметно. Ей пора было уходить, да и я должен был возвращаться в Лимасол – не хотелось ехать затемно.

Я снова прошёл несколько кварталов вдоль зелёной линии и вернулся на площадь Киприана, к машине. Через пятнадцать минут я уже был на трассе. Путь назад всегда быстрее, а здесь ещё и потому, что дорога идёт вниз, к морю.

Широкая гладкая трасса была сегодня почти пустой, можно было ехать совершенно автоматически. Как-то раз я проехал так четыреста пятьдесят километров от Одессы до Киева – ни разу не нажав на педаль тормоза и ни разу не уйдя с левой полосы.

В общем, ничто не отвлекало меня от размышлений на ту самую тему, которая так неожиданно – или, наоборот, ожидаемо – всплыла в разговоре с Норой.

Откровенно говоря, я ведь до сих пор играю в писателя, хотя ничем другим давно уже почти не занимаюсь, более того, всё, что я пишу, публикуется в лучших толстых журналах. Амбиции вечно борются во мне с неуверенностью в собственных способностях. Но это, наверное, черта характера – я вообще практически во всё играю, отказываясь ассоциировать себя с какой-то профессией, родом занятий, считая, что делать так – значит обеднять самого себя. Любое описание себя будет ошибочным, односторонним, сиюминутным слепком собственных представлений о себе. Но как же, чёрт побери, интересно это копанье в себе! Ведь так парадоксальным образом исследуешь весь мир.

Кроме того, игра создаёт ложное ощущение защищённости. Хотя, пожалуй, если и ассоциировать себя с кем-то, то писатель выглядит самым симпатичным. Ещё университетский профессор, но это несбыточная мечта.

Долгое время я мучился от того, что не занимаюсь никаким созидательным, тяжёлым, а, соответственно, нужным другим людям трудом. Таким трудом, по моему представлению, могла быть работа на сталелитейном комбинате, или в деревне, на земле; или же работа врачом, медбратом, санитаром, в конце концов, учителем. Вместо этого я работал аудитором, финансовым директором, а теперь вот пишу книги. И что же? Если не напишу в день хотя бы двух-трёх осмысленных абзацев, под вечер имею полное ощущение бесполезно прожитого дня. А если ничего не пишу два-три дня, начинаю злиться на себя и на весь мир из-за бессмысленности и никчемности своего существования. Что же такого содержится



в этом процессе, такого ценного, чтобы придавать жизни осмысленность? Чтобы даже полчаса работы могли уравновесить, а то и перевесить все остальные занятия дня? Или это просто привычка? А может, иллюзия, ложные надежды на то, что кто-то прочтёт мою писанину, кому-то она понравится и даже чем-то поможет? Хотя чем она может помочь? Ведь это не учебник, не практическое пособие, в конце концов, не кулинарная книга, то есть никакой практической пользы от моего сочинительства быть не должно. Разве что поднять кому-то ненадолго настроение? И ради этого все эти усилия, шлифовка стиля, вычитки и правки?

Потому я постоянно сомневаюсь в том, нужно ли – и зачем – писать художественную прозу.

Хотя, если ты не написал роман, писателем считаться не можешь.

По крайней мере, таково устойчивое убеждение многих.

С поэзией, например, всё ясно – это прекрасный способ выплеснуть эмоции, зафиксировать их, это моментальный снимок эмоционального состояния (да-да, я знаю, что поэзия бывает не только такой). С нон-фикшном тем более понятно. Это вещь прикладная, в высшем своём проявлении предназначенная для передачи знаний тем, кому они нужны. Аристотель писал о том, что познание – высшее благо. Вот и нон-фикшн служит распространению этого высшего блага. А так как процесс познания бесконечен, и новые люди рождаются каждую секунду, такая литература обречена на вечность. Можно даже с пафосом сказать, что автор нехудожественной прозы служит идеалам просвещения и вообще является учителем.

Тут понятно.

А с художественной прозой что? Моментальным слепком, снимком чувств она стать никак не может – слишком долг процесс написания. Автор придумывает конструкцию, структуру, героев, сюжет – и что, всё ради того, чтобы передать одну или две мысли, идеи? Зачем вообще писать о других, тем более придуманных других? Почему не писать только лишь о себе, ведь устами других ты неизбежно выражаешь свои собственные мысли? Хотя – какие собственные. Мысли – они как коты, гуляют сами по себе, приходят в голову и уходят из неё по собственному желанию и вообще являются общим достоянием. Вполне возможно, что мысль, которую я в данную секунду считаю своей, зародилась в чьей-то голове несколько тысяч лет назад и потом дошла, доплыла, долетела до меня, прожив сотни лет в чьей-то памяти, тысячу лет – на книжных страницах, переключившись оттуда в статейку в глянцево-м журнале, прочитанную неизвестным мне спичрайтером, включившем её в текст для телеведущего, который был в свою очередь услышан каким-нибудь лидером мнений и опубликован им в Фейсбуке, где я и прочёл её, забыв через несколько дней об источнике.

В общем, мне приходит в голову один ответ – писать о других имеет смысл лишь тогда, когда они уже живут в тебе, надоедают своими назойливыми мыслями, избавиться от которых можно, лишь изложив на бумаге. Когда персонаж стал на время частью тебя самого и внутри тебя живёт своей собственной жизнью, а потом пишет твоей рукой, выстраивая собственный сюжет. И ты – писатель – тут снова выступаешь проводником.

Хотя, может быть, не стоит идеализировать писательский труд? Не стоит придавать ему такое значение? Если даже Уистен Хью Оден на вопрос о том, чем он занимается, предпочитал скрывать то, что он писатель, а отвечать, что изучает историю Средневековья? Это и серьёзнее, и понятнее. Да и вообще, по мнению Одена, изящные искусства давно перестали быть общественно полезными – после изобретения книгопечатания стихи перестали быть средством запоминания, а художник после изобретения фотоаппарата перестал быть нужным для сохранения в веках портретов и пейзажей. Раз так, то художники и писатели общественно бесполезны, и значит, они бездельники и дармоеды, а занятие их – безобидное хобби. Если так, то можно относиться к этому занятию без пафоса и даже с лёгкой иронией. Не считать его главным, а свести в ранг рядовых. Помыл посуду, сыграл в теннис, написал рассказ.

Звучит логично. Но почему тогда так плохо, когда два-три дня не удаётся сделать даже простой дневниковой записи? Может быть, прав Ромен Роллан, и все радости жизни – в творчестве? Может быть, это самое творчество – не только попытка, но и единственный надёжный способ избежать забвения, ускользнуть от смерти, и не только смерти, но и пустоты бытия? Помню, как понравилась мне фраза Кортасара о том, что аргентинцы защищаются от действительности и спасаются от пустоты тем, что стремительно и жадно поглощают некую «культуру», бросаются изучать радиоактивные изотопы или эпоху президентства Бартоломе Митре. Так и я бросаюсь каждый день изучать чью-то биографию, восхищаться делами великих, выискивать интересные факты – это придаёт жизни какой-то смысл, какую-то значимость. Когда пишешь о ком-то большом, люди начинают тебя с ним невольно ассоциировать. Эту удочку я и использую.

Задумавшись, я чуть не пропустил поворот на Лимассол. Слева, на вершине Крестовой горы, уже был виден монастырь Ставровуни. Не задумываясь, я повернул к нему.

Вверх вёл долгий серпантин, и я начал уже бояться, что не успею в монастырь до наступления темноты. За годы жизни на Кипре я так и не удосужился приехать сюда; может быть, повезёт сейчас. Главное – попасть туда до шести вечера, до закрытия.

Чем выше я поднимался, тем более фантастическим становился вид. С площадки перед входом в монастырь, у церкви Всех Кипрских Святых, где обычно ждут своих мужчин их жёны и подруги – для женщин монастырь закрыт – был виден весь север острова, не только Пентадактилос и Месаория, но даже Кирения, море и мыс Апостолос Андреас. С другой стороны, далеко внизу, огни опоясывали Ларнакский залив. А дальше – море, уже тёмное бескрайнее море до горизонта.

Заходящее солнце почти спряталось в облаках, окрашивая их розовым цветом, и я не мог отказать себе в удовольствии сделать пару десятков снимков, пусть это и заняло несколько драгоценных минут. То, что моя машина была на парковке единственной, настораживало. Ворота монастыря были закрыты, и в воздухе была разлита не нарушаемая даже цикадами дрожащая, пронзительная тишина.

Я легко толкнул калитку.

Она оказалась открытой.

Вокруг не было ни души. Я был один в огромном монастырском дворе.

Я начал было думать, что калитку не заперли по ошибке, и монастырь уже закрыт. Но всё же решил войти вовнутрь. И – о чудо – дверь в храм легко поддавалась. Широкий холл, лестница наверх, коридоры – и никого вокруг.

Казалось, я попал в закодированное, сказочное место.

Внезапно в полной тишине кто-то взял меня за плечо.

Я вздрогнул.

За моей спиной стоял высокий монах в чёрной рясе, появившийся буквально из ниоткуда.

– Монастырь уже закрыт, – сказал он вежливо и тихо. – Но если вы хотите увидеть животворящий крест и приложиться к иконам, я вас проведу.

Я растерянно кивнул головой. Прикладываться к иконам мне никогда не хотелось, но тут ситуация была безвыходной.

Монах быстрым неслышным шагом пошёл вперёд, я поспешил за ним. Через минуту он отворил дверь в небольшое помещение церкви.

В углу, едва освещённом несколькими свечами, сидело трое седобородых старцев и вполголоса читали молитву. Посреди иконостаса ярко светился золотой крест с частицей животворящего креста внутри.

Свечи горели и перед иконами. Тяжёлый воздух был насквозь пропитан их гарью.

Всё было торжественно и таинственно одновременно.

Монах стоял у меня за спиной. Я перекрестился, поклонился иконам и повернулся к нему.

Так же молча он вывел меня из церкви, провёл по нескольким коридорам и открыл небольшую дверь.

– Калитка уже закрыта. Когда вы подойдёте к ней, немного подождите. Я открою.

Двор монастыря был всё так же безлюден. Я подошёл к калитке и через несколько секунд услышал шелчок. Кто-то следил за мной, но откуда, я так и не смог понять. Подойдя к машине, я увидел, что нижние ворота тоже закрыты, и выехать я не могу. Полагаясь на всевидящее око, я завёл двигатель и подъехал к воротам. Они тихо открылись, и я вновь оказался на серпантине.

Ветер шумел в кронах сосен, уже совсем стемнело, и я ехал домой, стараясь не потерять трепетное ощущение вечности и красоты.

Монастырь Ставровуни, основанный, согласно преданию, в 327 году Святой Равноапостольной царицей Еленой, матерью императора Константина – один из самых древних монастырей в мире. Гору, на которой он расположен, упоминали ещё Страбон, Плиний старший и Птолемей. После Никейского собора Елена отправилась в Святую Землю, где, согласно легенде, нашла три креста. На первом был распят безумный разбойник Гестас, на втором – благоразумный разбойник Дисмас, на третьем – сам Иисус. По приказу Елены крест Иисуса, Животворящий Крест, был разделён пополам – одна часть осталась в Иерусалиме, а вторую она взяла с собой, чтобы привезти сыну. Так как невозможно было различить, на каком именно из двух оставшихся крестов был распят Дисмас, а на каком Гестас, Елена решила разобрать их и собрать вновь, поменяв горизонтальные перекладки. Таким образом, каждый теперь содержал часть креста раскаявшегося разбойника. По пути в Константинополь корабль Елены попал в бурю и пристал к южному берегу Кипра. Когда наутро волны и ветер улеглись, оказалось, что один из крестов пропал. Оказалось, что он парит в воздухе как раз над горой, где ныне стоит монастырь. О дальнейшем расскажет игумен Даниил, чудесным образом оказавшийся на острове в 1106 году:

«И есть там очень высокая гора, а на той горе святая Елена крест поставила кипарисный большой для прогнания бесов и исцеления всякого недуга и вложила в крест честной гвоздь Христов. И бывают там, на том месте, у креста того, знаменья великие и чудеса и доныне. Стоит же тот крест на воздухе, ничем не будучи прикреплен к земле, но так, Духом Святым носим в воздухе. И тут я, недостойный, поклонился святыне той чудной, и видел глазами своими грешными благодать Божию на месте том, и исходил весь тот остров как следует».



Чудесный крест в середине XV века похитили мамелюки, потом он волшебным образом вернулся, а потом вновь пропал. Где он сейчас – не известно. А сам монастырь за свою долгую историю много раз подвергался набегам, был разрушен, горел, но сейчас переживает новый расцвет.

По преданию, Елена основала на острове не только Ставровуни, но ещё несколько монастырей, после чего сразу произошло несколько важных событий. Во-первых, закончилась многолетняя засуха, которую сопровождали мор и засилье ядовитых змей (с ними расправились кошки, привезённые из Египта). Во-вторых, киприоты обрели духовное возрождение в новой вере. Правда, для этого пришлось разрушить храмы прежней веры, но так нередко бывает.

Когда я приехал в деревню, было совсем поздно. Сын спал, рядом с подушкой лежал мобильник – без Шопена, загружаемого из Spotify, он давно уже не ложится. Я не смог отказать себе в удовольствии прогуляться. Улочка Баха была пустынна и темна, но запах цветущего в соседнем дворе лимона магнитом тянул к себе. Запах чистого, беспримесного счастья.

# «ОКОЁМ»

*От редакции: уже немало лет Южнорусский Союз Писателей и журнал «Южное Сияние» являются партнёрами ежегодного международного поэтического конкурса «45-й калибр» имени Георгия Яропольского, организованного Международным поэтическим интернет-альманахом «45-я параллель» под руководством Сергея Сутулова-Катеринича (Ставрополь). Из года в год «ЮС» посвящает свои страницы победителям и лауреатам конкурса. В 2021 году победителем стал Максим Жуков (Евпатория), а лауреатами – Ксения Август (Калининград), Анна Арканина (Москва), Дина Березовская (Беер-Шева), Наталья Возжаева (Новороссийск), Сергей Востриков (Воронеж), Вера Дорди (Новосибирск), Майк Зиновкин (Архангельск), Елена Качаровская (Санкт-Петербург), Таина Ким (Харьков), Елена Козлова (Обнинск), Александр Крупинин (Санкт-Петербург), Александр Оберемок (Белгород), Дмитрий Растаев (Бобруйск), Сергей Сапронов (Москва), Александра Скребкова-Тирелли (Бастилья, Италия), Елена Уварова (Мытищи) и Ренарт Фасхутдинов (Санкт-Петербург). Стихотворения шести авторов мы публикуем в «Южном Сиянии».*

## КСЕНИЯ АВГУСТ

Калининград

\*\*\*

За кирпичным склепом – ежевика,  
за молчаньем шторы – шорох фраз,  
посмотри на небо и живи, как  
в первый раз и как в последний раз.

Сам себе и воля и темница,  
закрывай внутри себя ключи,  
видишь, засыхает медуница  
там, где птица больше не кричит,

и спешит тропа твоя из дома  
в сизый плен тернового куста,  
но строка, как в детстве, невесома,  
а душа по-прежнему чиста,

нет в ней ни запрета, ни предела  
чуда, есть полётная строка,  
только бы душа не оскудела,  
только бы не дрогнула рука,



и весны, и воздухахватило  
досказать, домыслить и допеть  
миг тот, что раскачивал кадило  
лунное и солнечную сеть,

и к нему на грудь слетала дрёма,  
и в его ладонь ложились мхи,  
а в моей сейчас клубок черёмух,  
видишь, и огарочек ольхи.

Только не гляди вперёд с опаской,  
я с тобой, а значит – не страшись,  
упразднится смерть с Господней Пасхой,  
и опять случится с нами жизнь.

\*\*\*

Хрустит каждый камешек, как позвонок  
внутри пересохшей речки,  
безумствуй, кричи, телефонный звонок,  
но помни и веруй в речи.

Мороза дыхание, ветра гудки,  
миграция снежной стаи,  
уже не облако – белый кит  
наш дом целиком глотает.

В его животе не могила – цех,  
там плавится песнь и слово,  
ты что-то кричишь мне на том конце –  
и я выживаю снова,

и вновь обретаю покой и мир,  
но чувствую хрупкость крова  
и жизни твоей, между нами – миг  
длинной в телефонный провод.

А город кружится в руках зимы,  
и сыплется снег на счастье,  
в коротких гудках умираем мы,  
чтоб в длинных опять начаться,

моё дыхание сбереги  
от тех, кто на холод ропщет,  
и мы пройдем мимо той реки,  
где ждёт нас седой паромщик,

и воды льнут к нему, и, рыча  
на небо, наш берег точат,  
но давит ангел мой на рычаг –  
и нас разделяет тотчас.

\*\*\*

Старый дом, трошинка, лестница  
прямо в небо, вот и всё,  
дождевую околесницу  
за окном Господь несёт.



Ты же, я же, мы же, вроде бы  
чьи-то или же ничьи?  
За окном дождинки-родинки  
превращаются в ручьи,

Разбегаются, заведомо  
Зная, что куда ни меть,  
украдёт мечту заветную  
незатейливая смерть,

украдёт и не помилует,  
видно руки – то ловки,  
ходят по полю по минному  
грозовые желваки,

и у вечности нет берега,  
и покой до боли тих,  
слово метит межреберие,  
и летит.

\*\*\*

Давай покинем землю стариками  
в тот день, что будет так бесчестно юн.  
Внутри меня журавлик-оригами  
летит на юг,

не видит белокрылый нас, стоящих  
под солнцем, и сбивается с пути,  
журавлик мой, почти что настоящий,  
лети, лети,

покуда ты не выдохся, покуда  
злосчастный рак не свистнул на горе,  
сейчас ты небо крыльями окутал  
и отогрел,

и вот оно уже зарделось сбоку,  
закатному подавившись мятежу,  
журавлик мой, лети отсюда с богом,  
я не держу.

\*\*\*

Полюбятся, поленятся,  
промокнут и поранятся  
прогнившая поленница  
со ржавой сеткой-рабицей,

о веточку уколется,  
захочешь – не поместится  
в могилку, за околицей,  
отросток чудо-месяца.

До времени распустятся,  
края измажут сажею  
два крылышка капустницы  
над грядкой недосаженной,





и туча затопорщится,  
цепляя зорьку раннюю  
на хвост сороки-спорицы,  
на лапку чайки раненой,

пересыпая градинки  
из дней пустых в порожние,  
где греют виноградники  
ладони подорожника,

И доскребают семечки –  
дожинки жизнь до донышка,  
и май клюёт мне темечко,  
как петушок додоновский.

—

## АННА АРКАНИНА

Москва

### ОНА СО МНОЙ

Что происходит в настоящем?  
Проснулся – выиграл джек-пот.  
Закуришь, если ты курящий,  
мяукнешь в утро, если кот.

Пройдётся, не отбросив тени,  
привычный вызубрив маршрут.  
Торчат из всех стихотворений  
усы потерянных минут.

Возьмёшь в «Пятёрке» пиво, спички,  
кефир и триста грамм конфет.  
И вроде выглядишь прилично,  
обут, одет.

И тут услышишь, как прольётся  
живой, пульсирующий звук.  
Как блудный пёс к тебе прибьётся,  
без спроса, вдруг.

Охранник рявкнет, не тушуясь:  
вали, мол, долго здесь не стой.  
Пустите музыку, скажу я,  
она – со мной.

### СКВОЗЬ СОСНЫ

какое небо голубое  
какое небо мы с тобою  
весёлый грач беспечный стриж  
а кто есть кто не различишь



и только всплески голубые  
сквозь сосны плещут вековые  
колючих пасмурных голов  
коснётся луч и был таков

в трескучий день в мороз янтарный  
любой орешник и кустарник  
любой и грешник и спасён  
сквозь время тщимся но растём

макушки наклонив от смеха  
сказать прощай но не уехать  
стоять корнями впившись в снега  
как сосны  
будто человеки

### МИМО СЕРДЦА

Сумерки качнулись и погасли,  
вспыхнул свет на кончике ножа.  
До чего же птицы не напрасны,  
небо научившие дышать.

Снег внутри пошёл и стало зябко –  
настоящий тощий первый снег.  
Мимо сердца – сразу под лопаткой –  
лёд не лёд, во сне ли, не во сне.

Осень начиналась сразу всюду:  
в голове, в распахнутом окне.  
Обходила яблоня по кругу  
сад и пропадала в глубине.

Тишины звенящей было вдоволь.  
Только долговязый вдалеке  
говорил, не умолкая, тополь  
на вороньем страшном языке.

### НА РИФЫ

Корабли лавировали лавировали –  
искали друг друга в океане грозном.  
Господи, почему их сразу не ликвидировали?  
Пока не стало так безутешно поздно –

пока мачты ещё были вздорными и упругими,  
их трюмы были забиты вином и всяческой снедью.  
Плыли годами, не спали сутками,  
сети приходили, искрились сельдью.

Что теперь делать им – постаревшим, в трещинах,  
трухлявое дерево – почти что живые мифы?  
Так никогда встретиться не сумевшие.

...Тише ещё, тише бьются вертявые волны о рифы.

## КОГДА-НИБУДЬ

Когда-нибудь закончатся стихи,  
в обычный день – где мокнут лопухи,  
в котором дверь веранды нараспашку,  
и в щель глядит пытливая ромашка,  
а сверху над ромашкой шмель пыхтит.

Как будто лес срубили на дрова –  
такая тишь повсюду – трын-трава.  
Слова уйдут без права возвратиться.  
Что им ромашки, лопухи и птицы,  
что им шмеля дурная голова?

Я лягу в тень, я тенью стану, что ж –  
не наступи нечаянно, не трожь.  
В том дне во сне заблудятся черешни,  
и ничего уже не станет прежним.  
Вот разве дождь.

---

**АЛЕКСАНДРА****СКРЕБКОВА-ТИРЕЛЛИ**

Италия, Бастилья

## РЫБНЫЙ РЫНОК В ВЕНЕЦИИ

На рыбном рынке шесть утра. Рассвет  
В накидке розовой склоняется к прилавку.  
Как дама, потерявшая булавку,  
Расхаживает чайка. На обед  
Высматривает рыбные останки,  
Но ничего съедобного ей нет.  
Ну кроме плесени на каменной буханке.  
Брусчатка вся отмыта добела  
От блёсток чешуи, от сгустков крови,  
И словно глаз чуть выпуклый коровий  
Часы над пристанью. И время как смола  
По стрелкам каплет, каплет нам под ноги.  
Покуда вечность нас не забрала,  
Мы примеряем разные дороги,  
Но все они – от спальни до стола!

\*\*\*

Оставленные мною города  
Живут,  
что там скрывать,  
совсем не хуже.  
Уж облик мой не отразится  
в луже  
В любимом сквере.



Грустно, господа,  
 Когда тебя задерживать  
 не стали.  
 Сам выбирай –  
 утиль или переплав.  
 Голубоглазо в душу  
 наплевав,  
 Уходит юность.  
 Сумерки едва ли  
 Так рано  
 опускаются на жизнь,  
 Ну если сами их  
 не навлекаем,  
 И ангелы приходят  
 целым раем  
 К таким как я  
 и требуют:  
 держись!  
 И лишь один,  
 молчание храня,  
 Всегда стоял  
 вдали от крутоверти  
 Их перьев.  
 Как  
 типичный  
 ангел смерти  
 Он будет дольше  
 прочих  
 ждать  
 меня.

\*\*\*

Заманчиво совсем не говорить:  
 Есть благородство древнее в молчаньи,  
 И если б не болтливые датчане,  
 То Гамлету ещё бы жить да жить!  
 Но всё вокруг сумбур и болтовня,  
 Попытка оправдать свои деянья,  
 И дурака и дурочкавалянье,  
 Возня в алькове и в душе возня!  
 Офелия с букетиком в руках,  
 Безумная, и та с готовой речью.  
 Слова по миру носятся картечью  
 И оседают порохом в стихах.

\*\*\*

Ты город, оказавшийся моим,  
 Случайный спутник, ставший чуть не братом.  
 Я видела таким Ершаланм –  
 Весь каменный, но окружённый садом  
 Магнолий. Как лимонное желе  
 Перед закатом небо над дворцами.  
 И песню о последнем короле  
 Лев мраморный с огромными резцами  
 Бормочет, загораживая путь  
 Туристам и зевакам у собора.  
 И время остановится как ртуть  
 В стеклянном тельце точного прибора.



У вас ведь жар, ваш градусник горит,  
Но годы не сбиваются таблеткой.  
И ровно в сорок вечная Лилит  
Точёный лик прикроет вуалеткой.

#### ВЕЧЕР И УТРО

Вечер взял меня за горло,  
Душит – я не сознаюсь,  
Туча ватным боком стёрла  
Звёзды с неба. Не боюсь  
Прежних мук. Марионетка  
Я была, да нить – сгнила.  
Жизнь как мятная конфетка,  
Угощали – я взяла.  
И в ладони слишком жаркой  
Тает, тает с каждым днём.  
Будто мёд из медной чарки,  
Льётся свет в дверной проём.  
Как жемчужным ожерельем  
Будит утро – по щеке.  
Нет в судьбе моей теченья,  
Как в топлёном молоке.  
В кухне ставней грохнул ветер,  
Катит чашку по столу.  
Может, Бог меня заметил,  
Точно крошку на полу?

## ЕЛЕНА УВАРОВА

Мытищи

#### СВЕКРОВЬ

Старый двор в затерянной станице.  
Гладит небеса уставший взгляд  
женщины, с которой породниться  
выпало мне много лет назад.  
Вот она скрутила листик мяты,  
и о чём-то мирно тарахтя,  
села. И на лавочке дощатой  
вытянула ножки, как дитя.  
Личико – мочёная грушовка,  
лисий нос, в глазах тепло и дым.

Помнится, меня колола ловко  
словом, будто гвоздиком стальным.  
Зной кружил над крышами уныло,  
и пока в кастрюле грелись щи,  
сыну между делом говорила:  
«Ты, родной, другую поищи».  
Сын смущался, я кривила губы  
и крутила пальцем у виска,  
слыша, как гудят недружелюбно  
сонные мушинные войска.



Но остыла прежняя гордыня,  
 словно каша в глиняной печи.  
 Между нами стол, тарелка с дыней  
 прямо со свекловиной бахчи.  
 Злость ушла и больше не тревожит,  
 спинула моя дурная прыть.  
 Я гляжу на сухонькие ножки  
 той, с которой нечего делить,  
 на закат, где небо безмятежно  
 греется и греет до зимы.  
 Чувствую, как в душу лезет нежность,  
 и не отмахнуться, чёрт возьми.

### РОСТОВСКАЯ СЛОБОДА

Выйдет месяц из тумана над ростовской слободой,  
 где лягушки окаянно голосят наперебой.  
 Справа – злачные широты, слева – сельский магазин.  
 В нём резиновые боты, пиво, антикомарин.  
 Прямо – сотка кукурузы, дальше Ленин-часовой  
 и фонарь лежит на пузе с перебитой головой.  
 Тьмой колхозной помыкая, свет рубя напополам,  
 ночь ползёт глухонемая по незапертым дворам.  
 Поглядишь, как звезды пшёнкой сыплет небо на крыльцо,  
 тяпнешь рюмку самогонки с молодильным огурцом  
 и, укутавшись рогожей, будешь спать мертвецким сном,  
 ни секунды не тревожась, не жалея ни о ком.

Спи, Алёша, в сладкой хмари, мучай храпом слободу.  
 Спи, куда Змей Тутарин не собрал свою орду.

### ПОД БУГУЛЬМОЙ

Закрой глаза. Однажды будет встреча  
 в каком-нибудь кафе под Бугульмой,  
 где пресная баранина и гречка,  
 заправлены остывшей тишиной,  
 где публика до мая разлетелась,  
 сквозняк и пыль пасутся у двери.  
 Мы снимем медовухой онемелость,  
 и всяких пустяков наговорим,  
 чтоб жизнь глядела весело и пьяно,  
 и сдержанность была невольготу.  
 А месяц вынет ножик из кармана,  
 ломтями накромяет темноту.  
 Нас вынесет на улицу к воротам,  
 к мангалу, где дымок нетороплив,  
 где мы сойдём с ума бесповоротно,  
 друг друга в этом месте отпустив,  
 чтоб сутки бредить в местном пансионе,  
 дразнить судьбу, вытряхивать суму,  
 любить взахлёб, очнуться, и спросонья  
 не вспомнить ни себя, ни Бугульму.

## В БОЛЬНИЧНОЙ КЛЕТКЕ

В больничной клетке ветер дул из окон,  
покуда пеленая солнце в кокон,  
январский полдень пыл, не торопясь.  
Хромая санитарка из Тамбова  
ломала тишину ядрёным словом,  
и тряпкой по углам гоняла грязь.  
Я думала: «Прорвёмся – выпал повод.  
Вот только б не вошёл в палаты холод,  
и врач не нашаманил нам беды.  
Вот только б не просили больше денег.  
А жить начнём, Алёшка, в понедельник,  
когда уйдём из пасмурной среды».

Здесь вяло то плесенью, то скукой.  
Я шла из гардероба, мыла руки.  
Вот мёд, вот сыр, с ним запах костромской.  
И выстрелом казался голос рядом:  
«Не нужно, мама, стены мерить взглядом.  
Не нужно здесь сидеть. Иди домой».  
И было горько, было больно снова.

Мне снилась санитарка из Тамбова.  
Она смотрела гневно в пустоту.  
Я ей кричала вслед: «Пойми, сестрица,  
пройдёт и это. Жизнь нам только снится».  
...И просыпалась с криками, в поту.

## ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ

За десять дней до свадьбы он сказал:  
«Я не готов».  
И крыть мне было нечем.  
Рубцом белела в небе полоса –  
гудящий лайнер небо изувечил.  
Я плакала у старых тополей  
во дворике, в субботней дребедени,  
где, путаясь в развешенном белье,  
расхаживали люди-привиденья.  
Какой-то дед – поддатый старый чёрт  
сипел: «Не хнычь. Мы тонем там, где мелко.  
Беда твоя, как молодость, пройдёт,  
пей залпом жизнь... И дай на опохмелку».  
Горланила старуха: «Лысый хрен,  
не лезь до баб – чужая хата с краю».

Здесь не было годами перемен,  
поскольку перемены всех пугают.  
И я клялась забить на мужиков,  
да ну их на, от них сплошное горе.  
Шумели птицы, тени облаков  
висели, как циновки, на заборе.

...Я шла домой, глотнув такую муть,  
что бил озноб, до жара пробирая.  
И так хотелось вечер обогнуть  
с безлюдного нехоженого края,

упасть в траву, не думать, не спешить,  
смотреть, как в паутине муха бьётся,  
ползёт паук, и тащат мураши  
в чужую даль расколотое солнце.

## РЕНАРТ ФАХУТДИНОВ

Санкт-Петербург

### ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Назову героя, допустим, Жаком (а возможно, Дмитрием, но не суть).  
Он идёт с работы летящим шагом, по ночным кварталам срезая путь.  
Остановка, мост, поворот направо, через парк и к дому – маршрут таков.  
Но сегодня в парке торчит орава молодых жестоких сорвиголов.

Я-то знаю, что ожидает Жака: потасовка, кладбище, море слёз...  
Но терять такого героя жалко. Значит, надо вмешиваться всерьёз.  
У меня хватает на это власти, потому что авторам можно всё.  
Я беру не глядя мой верный ластик, провожу по карте – и Жак спасён.

Он меняет курс перед самым парком и шагает долгим кружным путём –  
Подворотня, жёлтый фонарь и арка, драный кот, пустившийся наутёк.  
Чертыхаясь, Жак огибаёт ямы, бормоча: «Да что это я творю!»,  
И выходит, хоть и не очень прямо, к своему подсвеченному двору.

Отведу беду, оседаю в кресле (по идее, спать бы уже давно)  
И опять задумываюсь – а есть ли вот такая сила и надо мной,  
Чтобы крепкой дланью брала за ворот не забавы ради, а пользы для?  
Я смотрю в окно на погасший город и затылком чувствую чей-то взгляд...

### БИЛЕТ ДО ЛХАСЫ

Ты думал, мой друг, что скоро придёт пора и тебе  
Свой город сменить на горы, желательно – на Тибет,  
В окошке авиакасы (напрасно кассир хамит!)  
Билет попросить до Лхасы с тремя пересадками.

А дальше рюкзак за плечи – и в долгий неспешный трип  
По миру, который лечит изломанное внутри,  
И чтоб непременно яки по чахлым брели кустам...  
Послушай меня, приятель, не рано ли ты устал?

Плевать, что невыносимо ярмо ежедневных битв –  
Я знаю, какая сила под кожей твоей кипит,  
Какие творятся чары, слетают замки с ворот,  
Когда ты берёшь гитару, как женщину, в оборот.

Пока не придут на смену моложе и горячей,  
Шагай-ка себе на сцену – в скрещение всех лучей,  
Невыбрит, охрип, простужен, измучен огнями рампы.  
Тебе говорят: ты нужен, а стало быть – не пора!





В огромном концертном зале грохочет твой лучший хит...  
По парку, прикрыв глаза, я иду, бормоча стихи,  
Беря из воздуха фразы, рифмуя любую жуть.  
А в куртке – билет до Лхасы, просроченный лет на шесть.

### ХОЛОДНАЯ КРОВЬ

Майор Мак-Наббс неизменно меток,  
Охотясь на горных коз.  
Он попадает за двести метров  
В подброшенный абрикос.

Когда он на ночь встает дозором  
Среди кустов и коряг,  
Приходит финиш тревожным спорам  
О пумах и дикарях.

Едва покинув дрянную шляпку,  
Промокшую вкось и вдоль,  
Откуда-то извлекает трубку,  
Не тронутую водой.

Летит лавина, кружится кондор –  
Майор спокоен, пока  
Поблизости не возьмут аккордов  
Хайлендерского полка.

Идёт, не дрогнув, маршрутом верным  
По диким, глухим местам.  
И мне по вкусу такие нервы,  
Я сам о таких мечтал,

Поскольку склонен кипеть подолгу,  
Воюя с самим собой,  
Вестись на дружескую подколку,  
На вражеское «слабо»,

Почти без повода, понапрасну  
Взрываться до самых недр.  
Как жаль, что я не могу набраться  
Холёных его манер!

Бреду по дебрям своим, шатаюсь,  
Без компаса и ножа.  
Как жаль, что я не майор-шотландец!  
А в общем-то, и не жаль...

### МЕЖДУВЕКОВЬЕ

На Лигурийском побережье  
Апрель – раздолье для теней,  
Зияют звёзды, словно брешши  
В непроницаемой стене,

В лагуну падают Плеяды,  
Цветет миндаль, а потому  
В такие сумерки, приятель,  
Гулять не стоит одному.



Неважно, что тебе нужна лишь  
Луна в дыму от сигарет.  
Пойдём со мной, ты сам не знаешь,  
Какое время на дворе,

В какой квартал средневековый  
Тебя случайно занесло.  
Ты слышишь – цокают подковы,  
И погружается весло,

И сыплют стражники проклятья,  
И лают псы, и вообще –  
Сегодня в городе прохладно,  
А мы с тобою без плащей.

Здесь пахнет морем, дёгтем, рыбой,  
Навозом и сырým бельём.  
Ростовщики считают прибыль,  
Кухарки стряпают бульон.

Вдали кричат: «Держите вора!»  
Узнать бы, что он там украл.  
В окне упряма Христофора  
Свеча не гаснет до утра.

И чайки носятся над пирсом,  
Уходят корабли на юг...  
Не хочешь ли, дружок, напиться?  
Я знаю место, где нальют.

#### ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ – МОРЕ РТУТИ...

Четырнадцать месяцев – море ртути (а помнишь, когда-то была вода!).  
Четырнадцать месяцев мы, по сути, не можем продвинуться никуда.  
Четырнадцать месяцев нет ни чаек, ни даже каких-нибудь там медуз.  
Четырнадцать месяцев мы скучаем, как мухи, увязнувшие в меду.  
Четырнадцать месяцев в каждом скрипе разохшейся палубы ищем знак.  
Четырнадцать месяцев стонет шкипер, и боцман ему подвывает в такт:  
Какое мучение это, дескать, четырнадцать месяцев не у дел!

И лишь календарь уверяет дерзко, что шторм не более двух недель...

**ЕЛЕНА КАЧАРОВСКАЯ**

Санкт-Петербург

#### БУЛЬОНСКИЙ ЛЕС

на затопленной пойме тупик ручья  
сиротливая хатка бобра ничья  
точно остов рыбы  
там живут улитки и жрут июнь  
как листву сминая края у лун  
караулит сойку голодный лунь  
жирный воздух зыбок



странный звук воды у болотных глин  
 будто кто рыдает из недр земли  
 тролли топят мумий  
 запах мускуса сводит с ума жуков  
 вот один зазевался и был таков  
 водит плавно выхухоль хоботком  
 словно слон в раздумье

у лягушек пир в комариный смог  
 цапли тоже сыты еда у ног  
 ёж колючий сыщик  
 обновляет базу лесных мышей  
 шебуршится в листьях шерше шерше  
 la femme с кем можно и в шалаше  
 кров делить и пищу

волк несёт добычу в семью ворча  
 тяжела волчица сколь там волчат  
 завелись во чреве  
 многомерный ежесекундный квест  
 поглощает всяких буйонский лес

кто кого то любит а кто то ест  
 егерь спит в ковчеге

#### ПРО РЫБАЛКУ

На клёвом месте рыбаки сидят на берегу реки  
 Глядят глядят на поплавки  
 Восходит солнце-карамель икрится под водой форель  
 Глядят глядят на поплавки

Снуют туда – сюда мальки елозят в банках червяки  
 Цепляют всякого крючки  
 В деревне жёны рыбаков пинетки вяжут для мальков  
 Цепляют всякого крючки

Мошкой пыльцой пестрит июнь сидит на небе кот-багон  
 Как блесны узкие зрачки  
 Развесил снасти с облаков и метит метит в рыбаков  
 Как блесны узкие зрачки

Рыбачьи страсти знает кот и вот у всех клюёт клюёт  
 Ныряют в воду поплавки  
 Краснея пятятся рачки пугают всякого крючки  
 Ныряют в воду поплавки

И знает только праотец кто тут жилец а кто живец  
 Поют небесные сверчки

#### СЕЗАМ

Алтынай, не твои ль глаза  
 Устремляются к тем пределам,  
 Где лавирует стрекоза  
 Стекловидным балетным телом,



Где кумыса живой бальзам  
 Льют во чрева больших кувшинов.  
 Отворяется твой сезам,  
 Пробуждая желанья джиннов.

Где-то рядом один из них,  
 Он крадётся тайком, как ирбис,  
 И колючки в глазах твоих  
 Расцветают, скрывая иглы.

Наполняется твой кувшин  
 Предвкушением жизни новой.  
 Перестуком в степной тиши  
 Отдалённо звучат подковы.

Разве хочется что-то знать,  
 Кроме ветреных тайн июля?  
 Джиннам свойственно исчезать  
 В синих впадинах Иссык-Куля.

Скачет время. В домах зима  
 Крепким запахом бешбармака.  
 Пропадаешь и ты сама,  
 Возвращаясь к цветению мака.

На вопросы отца молчишь,  
 Мать вздыхает и ждёт подвоха.  
 Рассекающий свист камчи,  
 Крик рожденья чертополоха.

#### КСТАТИ О БАБОЧКАХ, ШМЕЛЯХ И ТРАКТОРЕ

Флиртуют бабочки на воле,  
 Раскрашивая мир пыльцой.  
 Разбитый трактор плачет в поле,  
 Закрыв ромашками лицо.  
 Сочится топливо и масло,  
 Загустевая клейкой массой.  
 Под птичий ненадёжный свист  
 Крадётся лесом тракторист.

Его заблудшая невеста  
 Терзает пилкой бересту.  
 Храпит мужик из ДПСа  
 И в каждом сне – своя принцесса  
 Приносит, несомненно, мзду.  
 Как знойно спится на посту!

В упавшей форменной фуражке  
 Совьют гнездо две грешных птишки.

Ах, боже ж мой! Какое лето!  
 Люби красивых на лету!  
 Гуляет шмель по пистолету  
 И тоже думает «про это»,  
 И презирает суету.



## ТИХАЯ ОХОТА

Мать говорит, что много грибов к войне,  
Что за привычка – видеть беду повсюду?  
Но почему беспокоишься ты вдвойне,  
Разве боровики вылезают к худу?

Осенью пахнет баней рыжьё листвы  
И мельтешат, сливаясь, оттенки леса.  
Ты не берёшь ружьё, ты давно привык  
Не убивать живое из интереса.

Грузди дряхлеют, сохнет волнушек взвод:  
Места в корзине нет на щедроты эти.  
Косит траву сосед, как людишек год,  
Сколько их развелось – нелегко планете.

Да и тебе – не сахар: бобыль – горбыль.  
Крысы скребутся, кот – от сметаны пухнет.  
Мать всё капризней, не хочет солить грибы  
И забывает газ выключать на кухне.

Прячешь подальше спички, ключи, ножи.  
Жизнь наступает хлопотная, другая.  
Пёс високосный вслед за тобой бежит,  
К первому снегу всё-таки настагая.

# «ГОРИЗОНТ»

*В июне 2021 года были подведены итоги третьей литературной премии «Диас», учреждённой в честь известного писателя, философа, основателя теории мегачеловека и «общепланетарной» религии Диаса Валеева (1 июля 1938 – 31 октября 2010).*

*Напомним, что его организатором и куратором является поэт, переводчик, член Союза российских писателей и Союза писателей РТ Галина Булатова.*

*С каждым годом этот масштабный и перспективный проект набирает всё большие обороты, становится заметнее в ряду значимых литературных событий. Так, в этом году поступило 190 заявок от авторов из 19 стран (121 населённый пункт), в том числе Россия – 148 заявок из 85 городов и сёл, зарубежье – 42 заявки из 36 населённых пунктов.*

*Авторы порадовали разнообразием тем и жанров, высоким качеством представленных на конкурс работ, и, помимо официальных итогов конкурса, каждый член жюри составил свой личный топ симпатий.*

*В декабрьском номере журнала «Южное Сияние» мы представляем четырёх участников литературной премии «Диас», попавших в личный топ Елены Севрюгиной – нашего постоянного автора в рубрике «Книжная полка» и члена жюри конкурса. Это Влада Ладная из Реутова с философско-мистическим рассказом «Чертог романтиков», Наталья Деметьева из города Коряжма (Архангельской области) с трогательной историей о «трудном подростке» Пване, Сергей Пиденко из Тольятти, поведавший своему читателю о судьбе человека искусства в тяжёлых армейских условиях, и Юрий Шадрин из города Павлодар (республика Казахстан), в очередной раз доказавший своей историей, что самый страшный зверь – это человек.*

*Мы рады открыть своему постоянному читателю новые имена интересных авторов из разных уголков страны и мира, и надеемся, что творческое сотрудничество с литературной премией «Диас» станет постоянной традицией нашего журнала.*

## **ВЛАДА ЛАДНАЯ**

Реутов

### **ЧЕРТОГ РОМАНТИКОВ**

рассказ

Пятнадцать лет я не ездила в отпуск. Вам всем это знакомо, не правда ли?

Но наконец-то вырвалась в Прибалтику, в маленький город под Калининградом.

Иноземье мне не по карману. А тут практически Германия (это ж когда-то чистая Неметчина была, Восточная Пруссия), но по нашим ценам – и никакого языкового барьера. И вообще, я вроде за границей, а на самом деле дома. И ветер странствий в лицо, – и уютно, как на диване.

И, правда, Германия. Но сильно потрепанная шестьюдесятью годами принадлежности к Отчизне. Даже немецкие прочность и надёжность дали слабину. Вот западный коттедж, с башенками и эркерами, а в готическое окно с наполовину выбитым витражом видна коммунальная кухня с закопчёнными прирусами, доисторическими корытами и тараканами.

Здесь сплелись не только Восток и Запад, педантичность и расхлябанность, бескомпромиссная аккуратность и загаженность. Но и ХХ1 век – и тридцать седьмой год.



Параллельные миры.  
Ринулась на экскурсию.  
Всё ещё больше запуталось.  
Дюны-сосны. – И северное сияние.  
Янтарь. – И землетрясения.

Пустыня в сердце Европы. Лес ветряных мельниц. Инфернальные факелы сжигаемого газа. Замки крестоносцев.

Где я? Это Прибалтика? Или Ямало-Ненецкий автономный округ? Япония? Марокко? Испания, алкающая Дон Кихота? Ад?

Я теряла ориентацию в пространстве. Меня мучали головокружения и шум в ушах. У времени размывались очертания.

И в довершение меня занесло на Куршскую косу. Среди всего этого разгула сумасшествия – самое безумное место.

Узкая, как дамасское лезвие, полоса песка в Балтийском море. Все деревья стоят косо, расчерчивая мир в тетрадку для первоклассника.

Какой урок они нам готовят?

Готические сараи. Храм, в 18 веке полностью, включая высоченный шпиль, занесённый песком. Школа Люфтваффе. Место действия повести Гофмана «Майорат».

Нас завезли в танцующий лес.

Деревья, нарушившие все физические законы, проигнорировавшие само земное притяжение. Они растут и вкось и вкривь. И на все четыре стороны света одновременно. И похожи и на восточную красавицу, исполняющую сокрушающий танец живота, и на траекторию полёта вдребь пьяного авиатора, и на блуждания слепого, потерявшего собаку-поводыря.

Это то ли птеродактили. То ли шаманы с их колдовскими ритуалами, напускающие на нас порчу. То ли лассо, которыми нас хотят заарканить. То ли удавы, которые жаждут нас переварить. То ли кротовые норы вселенной, от коих вообще неизвестно чего ждать.

Вынесут ещё на какой-нибудь Сириус.

Толпа посетителей брызнула наугад. Было похоже на некий эксперимент. На действие наркотика или вируса.

А, может, просто свобода ударила нам всем в голову после долгого воздержания?

Кровь бросилась в лица одним. Другие почувствовали на коже нестерпимые зуд и жжение. Третьи – услышали звуки.

Я, например, – комариный звон, треск и шорохи. Отчётливо – хохот пены. На берегу Балтийского моря?

Кто-то невидимый бормотал безостановочно:

-Он сошёл с ума. Сошёл с ума. Сошёл с ума. Он сошёл с ума.

И снова, и снова.

Вдруг началось камлание на незнакомых языках. Абракадабра. Говорят, здесь до немцев жили прусы. Здесь были их священные места. Может, из глубины веков их голоса доносятся?

Какая-то женщина из нашего автобуса завертелась волчком, у другой пена хлынула изо рта. Ещё одна завывала вдруг леденяще, оскалилась – и тут же всё стихло.

Люди опомнились. Бытие обособилось. Покой снизошёл на наши души.

И тут экскурсовод – будто ничего и не произошло – брякнула:

– А кто пролезет через петлю ведьмы и загадает желание, – у того оно обязательно сбудется.

...Петля ведьмы – это самая захватывающая выходка деревьев. Ствол делает поворот на триста шестьдесят градусов. Полный круг. И в эту дырку от бублика нам чёкнутая экскурсоводша и предлагала пролезть.

О чём она думала? У неё только что люди в натуральной падучей бились.

А о чём думали мы?

Минуту назад корчились от приступа чего-то необъяснимого.

И ведь полезли.

Пламенея нездоровым румянцем. Хихикая. Воровато оглядываясь.

Но все как один.

Я решила выклянчить вдохновение.

Нырнула в этот омут.

Говоря откровенно, не всерьёз.

Для меня это было просто весёлое туристическое шоу, не больше.

Ничего особенного я при этом не почувствовала.



Спокойно добралась до своей гостиницы.

Спала я ночью прекрасно. Проснулась в чудесном настроении.

И весело поскакала на городской праздник.

Пряничные домики Ганса и Гретель. Грозди скворечников на остросюжетных соснах. Норвежский бревенчатый замок. Шестисотлетние липы. Прусы верили, что в них вселяются души умерших. Пошленькие гномики в сусипусьных садах.

Ненатуральная слащавость. Какая-то фальшь во всём этом. Реальность не бывает такой сусальной.

Невольно начинаешь что-то подозревать. Нечто чудится. Оглядываешься. Прислушиваешься. И уже трусишь.

А что такое? – Уж, конечно, всемирный заговор. Злые силы выстроили эту шоколадную декорацию, чтобы меня заманить, убаюкать до полной утраты бдительности. А вот когда я расслаблюсь, то...

То что?..

Между запахом моря и ароматом созревающего, как яблоко, дождя поместилась феерия.

Смешливая, красочная, наивная, язвительная. Как и положено буффонаде.

Праздник захлёбывался от восторга, показывал нам язык, ворчал, величественно реял на мачтах.

Он восхищал, юлил, ошарашивал, подрывал основы, – словом, неистовствовал.

Феи, космонавты, горничные, гигантские бабочки, сантехники, марсианские принцессы, училки, ковбои, пьерошки, банковские лощёные денди.

Огнедышащие драконы удачно обрели своих пожарников. Пираний, сделанные из упаковок яиц, – своих пиратов.

Длинноволосые Изольды в белом платье, одном на тронх, пыгались ловить на удочку ветер.

Фиеста пшвыряла нам в лицо то Венецию с её божественным карнавалом, то «Остров сокровищ» Стivenсона, где попугай кричал про пиастры, то лабораторию алхимика.

Вдоль всей набережной в ретортах варили зелье, искали философский камень, сиречь смысл жизни.

Дети и взрослые в парусиновых теремах лепили, рисовали, спорили, танцевали, били в тамтамы, запускали самолётники.

Словом, царил восхитительный сумасводящий нормальный творческий хаос.

Здесь дети загримировывались и превращались в кошек. Взрослые – в детей. Мороженое – в чародейское снадобье.

Потом всё-таки хлынул дождь.

И мы жались, прячась под навесом кафе.

И в чашках горячего чая плясал холодный ливень. И официант бегал с подносом по открытому пространству, как в атаку ходил. И в недрах крон вековых деревьев вода журчала, переливаясь, заворачивающе.

И странная процессия герольдов, канатных плясунов, арлекинов торжественно проносила мимо под нескончаемым потоком картонные размокающие бригантини, клювастые маски и огромные голололомки, то ли принося их в жертву стихии, то ли олицетворяя ожившие «Каприччи» Жака Калло.

И башни драпировались в плющ, как древнеримский сенатор – в тогу. И море было зеленоватым, как польнь. И фахверковые домики хрустели на зубах, как крекеры. И янтарные чётки свисали на лотках километрами, казалось, это янтарный занавес, отделяющий реальность от инакости. Там нас не ждут и не любят. Но занавес всё равно хотелось отёрнуть.

Я исписала несколько блокнотов блестящими зарисовками. Уже предвкушала, как я из этого соберу несколько великолепных текстов. Вдохновение-то привалило.

Петля ведьмы не поскупилась, выдала продукт высшего качества.

И это не радовало.

Пугало.

Небеса стали диктовать мне прекрасные новеллы.

Но я начала заговариваться:

– Зазвезде. Забредовость. Запечальность. Место, где мир вывернут наизнанку. Город – росчерк сумасшедшего. Хаос правильностей.

Избеглость. Извременье. Заблудший рай. Тоскливый храм счастья.

Я не могла оторвать от города глаз. Он завораживал меня так, как завораживают пылающий в очаге огонь, льющаяся вода или просто небо. На них можно смотреть всю оставшуюся жизнь. Это как обрести смысла бытия – я, в отличие от алхимиков, нашла его играючи – среди воинствующе абсурдной жизни.

Я то присаживалась на белые ажурные, словно платье невесты, стулья уличного кафе. То бродила среди зудающих сосен. То плавала в мелком и злом море.

И всё бормотала:

– Слепок бреда. Бесконечная радость отчаяния. Зубодробительная гармония.

Это место было моим порталом, дарителем вдохновения, родиной всякого вселенского волшебства.





Место с его взглядом давно забытого всеми, но живого и страдающего божества. Это оно дом безнадежной красоты. Свиток неотсегомности. Рядом с ним даже вечность стояла на цыпочках.

Стемнело. Воцарилось болезненное безлюдье. Смачно зияли все ниши, скважины и бойницы ночного леса. И фонари были, как отмычки, взламывающие обитель Бога.

Я устала смертельно, но уйти от этого не могла.

В глазах у города стояло инопланетье.

Мы были обречены друг на друга.

И ведь я знала. Я всё знала про «бойтесь желаний, иногда они исполняются».

Но я скорее дала бы себя сжечь заживо, чем отказалась бы от этой мечты.

Я вернулась домой, на родину.

Произведения строками, страницами, томами потекли на белые листы.

Сбылось загаданное.

Но за собой я стала замечать изменения.

Сначала в зеркале простоватая физиономия выученной на медные деньги селянки вдруг обрела торжествующую заточенность старинного портрета из какого-нибудь проклятого замка. Я превращалась в персонаж готической легенды, который что-то там сотворил во глубине веков. То ли запорол собственное дитя, то ли отравил дерзкого епископа. И теперь мается неприкаянным привидением по узорчатым залам ненавистного дворца.

И с окружающими – удивительно.

Я всегда была уживчивым человеком. Милая вежливая барышня. Матушка воспитывала меня строго и в традициях русской классической литературы. Приветливость и скромность – лучшие украшения девушки. В таком роде.

И дома я с родителями всегда была почтительна. И с соседями ладила. И с коллегами по работе скандалов не любила, интриг не плела.

Люди не идеальны. Бывает, и гадость сделают.

Ну, не тратить же на них вечность. И я не обращала внимания.

А тут я огляделась вокруг – и будто пелена спала с глаз.

Директриса, выписывавшая мне премии, – бессовестная карьеристка, которая мои работы использовала для своих выступлений на симпозиумах и на мох плечах вскарабкалась на высокий пост.

Её заместительница, несчастная мать-одиночка, – завистливая стерва из глухой деревни, мстящая всем вокруг за то, что не родилась в столице.

Сосед, милый толстячок, чинивший мне краны, – выродок. Поссорившись с женой, не стесняется бжать на перепихон к её подруге. И гордится этим!

Тётка, которую я опекала после смерти её сына, – сварливый мизантроп, норовящий всех вокруг превратить в бесплатную прислугу и бессовестно манипулирующий роднёй, размахивающий, как морковкой, документами на свою квартиру: захочу – внесу в завещание, а пожелаю – вычеркну.

И вообще, лицемерие, эгоизм, жадность, бездуховность окружающих просто встали поперёк горла.

Меня разбирало желание обличать этих моральных уродов и воздавать им по справедливости.

Произведения становились всё удачнее. А отношения с людьми – всё невыносимее.

Я стала срывать даже на матери, с которой мы были очень дружны.

Я заметила, что она не считается с моим мнением. Норовит диктаторствовать, прогибать меня под себя.

Она всё делала, лишь как ей удобно, превращая меня постепенно в какую-то Золушку. Мать, оказываясь, лишена была такта по отношению к моим друзьям: я имела право общаться только с теми, кого она одобрила. Ей, как она заявляла безапелляционным тоном, виднее с высоты жизненного опыта.

Мать оскорбляла меня недоверием. У меня, взрослого человека, обыскивала карманы и сумку, вскрывала и читала мои письма, шарила в документах.

Что я ей – преступница?

Я задыхалась среди этого.

И я сбежала обратно в Светлогорск, бывший Раушен.

Я перебралась в этот подозрительный город, где немецкость хромала на обе ноги, а русскость и не наступала, потому что её место было занято то ли надмирностью, то ли вовсе чёрной дырой, и в ней, как в котле ведьмы, варились все мы.

Я и нечеловечески здесь тосковала, как будто чёрная немецкая меланхолия и свирепая русская но-стальгия слились во мне воедино.

И я была тут бесприсветно, немилосердно, беспощадно счастлива.

Я поселилась в крохотной гостинице «Чертог романтиков».

Впрочем, весь этот край впору так было назвать.

Я всех бросила, оборвала все связи. Выкинула телефон, перестала появляться в соцсетях.

Из зеркала на меня смотрела уже сущая пиковая дама.

Я отдалялась от реальности всё больше, уходила в свою поэзию, как в лабиринт.

Сначала это была просто тревога. Беспричинная. Я всматривалась то в смутное и средневековое на вкус море. То в провисшее, словно невод, солёное небо. Я чего-то ждала.

Отплытия? Отлёта?

Я начинала заговариваться, бормотать, завывать тоненько на одной ноте, нянчить собственную руку, как будто это был больной ребёнок.

Меня обступали страхи. Сначала я боялась переходить дорогу. Потом я приходила в ужас от езды на автобусе, на машине. Наконец я погрузилась в страх перед людьми.

Мне чудилось, что кто-то хихикает за моей спиной. Сговаривается на меня напасть. Замышляет похитить меня и мучать до бесконечности.

Я стала играть в прятки со всем человечеством. Это были мрачные прятки. Почтальон, соседка, пришедшая за солью, или сантехник, наведавшийся прочистить трубу, – все они были страшной опасностью. Я забивалась от них в шкаф или под кровать. Я готова была от всех замуроваться.

Лабиринт моего подсознания всё больше наполнялся кошмарами. Там завывали фиолетовые маргаритки. Детские игрушки изрыгали грязные ругательства. Из младенческих колясок выглядывали химеры и горгульи.

В кондитерских торговали кровью и отрезанными пальцами. В городке аттракционов палачи казнили безостановочно. Фигурки сказочных гофмановских персонажей, изваянные перед одним из отелей, приходили по ночам меня душить.

У пиковой дамы во мне стали глаза, как у дворняги, над которой в лаборатории ставят садистские эксперименты для блага человечества.

Моя квартира превращалась в предбанник дома ужасов или в камеру пыток.

Примчалась из моего родного города мама. Пыталась меня вразумить.

Какое там.

Мать раздражала меня своим кудахтаньем, мешала сосредоточиться, чтобы писать.

– Ты стала изгоем, – уверяла мать. – Ты всех гонишь. Ты всё отвергаешь. Ты всех судишь. А достаточно ли ты совершенна для того, чтобы стать судьёй?

Ты возненавидела людей.

Ты превращаешься в чудовище ради литературы.

А мораль для всех одна. Гению позволено ровно столько, сколько «маленьком человеку».

Идея, что гениям разрешено больше, чем другим, – это расизм. Фашизм даже. Земля эта немецкая, что ли, так на тебя влияет?

А вот твой дед, бравший Берлин, быстро бы тебе разъяснил, куда ведут мысли о неравенстве людей.

– А как же тогда Бродский, который, кстати, бывал тут недалеко, в Балтийске, – хотели, чтобы он был «как все», и осудили его за тунейство? Имел поэт право тратить своё время на написание шедевров – или только на перекаладывание тупых бумажек в какой-нибудь заготконторе с девяти до восемнадцати?

Где же проходит граница между тем, что творческому человеку позволено – и что нет?

– Судьба твоих обожаемых немецких романтиков – ответ на этот вопрос. Brentano, который всю жизнь бродяжничал, убегал от ответственности – и умер в глубокой депрессии. Фон Клейст, который заявил: «Истина в том, что мне ничто не подходит на этой земле». А потом в тридцать четыре года застрелил несчастную Генриетту Фогель и застрелился сам. Здешний уроженец Гофман, который спился. Гёльдерлин, сорок лет проведший в сумасшедшем доме. Презрение к обычной жизни привело их в мир ужасов.

– Или их истребили равнодушие и жестокость окружающих? Фон Клейст застрелил умирающую от рака женщину и тем избавил её от мучений. Его самого преследовали неудачи. Гофмана увольняли с работы. Семья его нищенствовала, его единственная дочь в два года умерла от болезни и голода. Сгорел театр, где он ставил пьесу, едва не сгорел и дом. От такого запьёшь. Гофман лежал парализованный, а его обвинили в клевете на чиновников, конфисковали рукописи и требовали строго наказать. Писатель умер буквально через несколько дней. Нападками истерзали Гейне и довели до паралича и его. Новалис и Шиллер скончались молодыми от туберкулёза, натерпевшись от обывателей. Туберкулёз – болезнь недождающих.

Так что позволено обычному человеку? Травить гения?

Вам всем удобно с управляемыми людьми. Но удобно ли управляемым с вами?

Имею я право стать отшельницей?

– Тебя ждёт страшное одиночество!

– Меня это не пугает.

И одиночество, и безумие – небольшая цена за талант.

Мне осточертели ваши крысиные гонки. Я устала от того, что всякий готов сожрать всякого в погоне за успехом и удовольствиями.

Я не хочу с вами быть! Я не хочу среди вас жить. Вы все мне опротивели!

– Для кого же ты тогда работаешь?

И какое ты себе требуешь послабление? Позволить орать на близких, как ты сейчас на меня орёшь? Жить за их счёт, как ты сейчас живёшь на семейные накопления?

Или гению можно и воровать?

И распутничать? И убивать? Где предел?

– Кого это я убила?

– А можно бросать детей и любимых, как ты бросила мать и сына? Ты нас предала!

– Сын мой не на улице брошен. У него есть ты, суперзаботливая бабушка.

– А если со мной что-то случится?

– Да что может случиться? Ты даже не на пенсии ещё. Но если что, – я подхватчу упавшее знамя: займусь воспитанием сына.

– В виде большого одолжения?

Пойми, талант – не привилегия и не индульгенция. Это долг перед обществом.

В Библии не сказано, что если грех совершает гений, то ему всё простится. Перед высшим судьёй все равны.

Видно, недаром в старые времена люди говорили, что талант – это одержимость дьяволом. Что ещё может подарить петля ведьмы?

– Ну, вот, и пошла уже охота на ведьм. Как в средневековье. Самая красивая – на костёр. Рыжая – на костёр. Говорит на четырёх языках и прекрасно музицирует – уж тем более на костёр! Такое только от дьявола!

А вот если талант жить будет, как все, может, он и творить будет, как все, – то есть никак, утратит свой дар?

– Значит, ты считаешь, что общество должно платить за счастье обладать гениями? И какова цена?

– Ну, если талант – это мой долг по отношению к обществу, то и у общества есть обязательства по отношению ко мне. Прав без обязательств не бывает, это каждый подросток знает.

Как минимум – предоставить мне возможность творить свободно и жить, как я хочу. Если мне просто неважно с вами оставаться, – значит, так тому и быть.

И ты говоришь, перед Всевышним все равны.

А как же тогда творческие муки? Если человек страдает в жизни больше других, харкает кровью, создавая прекрасное, – пока другие жрут, пьют и телек смотрят, – может, всё-таки что-то и простится? Ведь талант мир сделал лучше, души просветлял.

– Души просветлял, а судьбы ломал? Зачем человечеству такое счастье?

Почему гений обязательно должен быть асоциален? Почему бы ему не постараться вписаться в общество?

– Почему бы вам не оставить талантливых людей в покое? Почему вы хотите, чтобы они безропотно выполняли ваши приказы? Вы же не загоняете монахов по домам. Искусство – что-то вроде божества. Служение ему требует человека всего, без остатка. Пользоваться благами, которые создают гении, вы хотите. А создавать им минимальные условия для творчества – нет. Очень уж потребительское отношение.

Я не знаю, кто из нас прав. Я просто чувствую, что мои книги – это самое важное в моей жизни.

В общем, я не вернусь назад, – отрезала я.

Тогда мать схватила ворох моих рукописей, распахнула окно и швырнула листы на улицу.

Я отвесила разорительнице моих грёз пощёчину.

Мать увезли на скорой: сердечный приступ. Врач ничего не обещал.

Где-то там совсем один остался мой сын.

Мне нужно будет вернуться? Значит, конец моим книгам?

Я стояла у окна и разглядывала город.

Той ночью в него пожаловала зима.

С обледенелого небосвода скатывались обледенелые звёзды. Они отражались в жестяных карнизах, в укатанной до блеска дороге, в обледенелых остатках крон, в боках машин, в огромных, как фары, снежинках и даже в сверкающих фарах, в самих огнях. И снежинки, и промороженные листья – все куда-то летели и разносили свет на осколках, вдрызг.

Как будто небо и весь мир покрылись льдом. И я соскальзывала с этого гололёда в никуда.

Самая страшная боль сейчас была бы наслаждением.

Я не чувствовала ничего.

Может быть, петля ведьмы, и правда, превращает просителей в нелюдей?

Или это одарённость делает обывателя не человеком?

Но меня волновало только одно: если я ничего не чувствую, – как же я буду писать?

**НАТАЛЬЯ ДЕМЕНТЬЕВА**

г. Коряжма Архангельской обл.

**КАШКОР****рассказ**

Любовь к беляшам у меня пропала на старшем курсе филологического факультета...

До сих пор помню день, когда на распределении по месту прохождения практики мне выпала тяжёлая участь: целый месяц вести уроки в коррекционном классе...

С первого же дня практики директор, учителя и даже школьники рассказывали мне страшилки про школьного хулигана по прозвищу Волк, которого из-за его неадекватного и бандитского поведения боялись на районе даже взрослые люди. Однако сам герой этого рассказа не торопился посещать мои занятия. С ним мы познакомились лишь на третий день педагогической практики. И могу поспорить, если бы у него не возник интерес посмотреть на новоиспеченного педагога, то я бы его никогда не увидела.

Помню, как дверь класса с грохотом распахнулась, и в кабинет вошёл высокий светловолосый парень с взъерошенными и давно не мытыми волосами, в побитых разношенных кроссовках, спортивных штанах и вытянутой в локтях толстовке. От старшеклассника исходил резкий запах жжёного дерева и костра, словно он только вернулся из похода или после ночевки в лесу. Не извинившись за опоздание и не попросив разрешения войти в класс и сесть на место, окинув меня презрительным взглядом, мой ученик молча уселся за последнюю парту, демонстративно выложив на стол тонкую засаленную тетрадь, отрывок карандаша и синюю шариковую ручку, колпачок которой был расплавлен почти наполовину зажигалкой. И да, как забыть – конечно же, у него, как у настоящего бунтаря, всегда была при себе пачка сигарет, которая появлялась в руках всякий раз, когда Волку надо было выйти из класса.

Наблюдая за моими попытками «вбить в головы» своих подопечных хоть какие-то знания, он просто молчал, рисуя в тетради то собак, то граффити, то черепа. И так все три дня – до самой пятницы. Возможно, вся история на этом могла закончиться, если бы не господин случай.

Понедельник. Мой урок литературы в расписании 9В класса в этот день был последним. После долгожданного освободительного звонка ребята мигом покинули кабинет, небрежно бросив на учительский стол свои тетради. Все, кроме Волка.

Делать в школе было уже нечего, оставалось закрыть кабинет и двигаться в сторону общежития, чтобы готовиться к новому учебному дню, полному бессмысленных, как мне тогда казалось, педагогических страданий.

Вспоминаю, что шла медленно, шурша опавшей, уже успевшей слегка подгнить листвой, думая о предстоящем отдыхе и нудной вечерней подготовке. Но все мысли оборвал прокуренный голос:

– Эй, учительница! – небрежно сказал он.

Обернувшись, я увидела, что высокая человеческая фигура стоит, опершись одной ногой на садовую ограду, с дымящейся сигаретой в руках.

– А, это ты! Ты не сдал мне сегодня тетрадь, хочешь, отдай сейчас, – стараясь не подавать подступающей тревоги, храбро ответила я.

– Тетрадь?! Какую тетрадь? – худой пацан выбросил окурок и подошёл ближе, так что я без труда почувствовала резкий запах горелых досок и табака. – Слышь, учительница, дай сотку!

Такой наглости я не ожидала.

– Во-первых, это не прилично: вот так просить деньги. Во-вторых, пусть тебе родители дают, или заработай. Честные люди деньги не вымогают! – назидательно начала я.

– Давай тогда двести! – хладнокровно перебил меня собеседник.

– Жмаков, ты обалдел! Не дам я тебе ничего! Уйди, я тороплюсь!

С трудом отодвинув с дороги своего ученика, я пошла дальше, стараясь не подавать вида, что напутана до чёртиков. Подумав несколько секунд, Ваня (так его звали) крикнул мне вслед:

– Учительница! А что бывает со студентами, когда они заваливают практику?

Зашёл, что называется, с козырей. Страх сменился гневом. И я быстро вернулась туда, где начался наш разговор.

– Слушай сюда, Волчара! Только попробуй запороть мне практику! Я знаешь, что сделаю! Я... Я...

– Вы – педагог. Вам нельзя. Вы же должны быть гуманными и понимающими, как говорит наша класснуха, – съехидничал он, выдавив на лице кривую улыбку, больше похожую на оскал. – Слушайте, давайте договоримся. Вы мне триста рублей, а я на итоговом уроке, так и быть, стану панькой. Для вас,



домашних девочек, триста рублей – не деньги. Добрые родители ещё дадут. А нам, «отбросам», приходится выживать самостоятельно. Ну что, договорились: сначала деньги – потом спокойная практика!?

Крыть было нечем. Передо мной тот, кто наводит страх даже на директора школы. Такой, если решит сорвать аттестационный урок, непременно это сделает. Я достала кошелёк и, тяжело выдохнув, отдала запрошенную сумму:

– Вот, держи. Давай, вали за своим бухлишком или что ты там хотел купить! – подавляя подступающие к горлу слёзы обиды и беспомощности, злобно выкрикнула я.

Ваня, молча забрав деньги, перепрыгнул через ограду, пересёк аллею и скрылся во дворах. А я поплелась в сторону троллейбусной остановки, почти рыдая от обиды и проклиная и школу, и деканат, и себя. Проклинала до тех пор, пока не оказалось, что проездной, который всегда был в моём студенческом билете, я оставила в школе, как, собственно, и методическое пособие. Хуже дня придумать было невозможно! И я быстрым шагом пошла обратной дорогой, решив срезать путь через двор.

Проходя мимо непривычно длинного дома, я увидела, как Иван, прижав к груди чёрный пакет-майку, спешно удаляется в сторону дач, граничащих с районом. Вот он мой шанс отомстить! Прослежу, сфотографирую и сдам с потрохами! И, представляете, мне повезло! Горе-преступник так торопился и был озабочен своим пакетом, что даже не рискнул оглянуться, чтобы заметить меня, идущую следом за ним по другой стороне дороги.

...Он остановился напротив старого дачного домика, всё так же удерживая возле груди пакет. Затем раздался глухой скрип калитки, сделанной из двух сваренных спинок от советской железной кровати. Вот оно, «волчье логово!» Я переложила из сумки в карман мобильный телефон, чтобы иметь возможность быстро сделать снимки и, перейдя уже грунтовую дорогу, двинулась к его убежищу. Куда ушёл мой инстинкт самосохранения в этот день, мне неизвестно. Поверьте, я была готова увидеть, как этот подросток пьёт спиртные напитки, употребляет наркотики или ещё чего хуже. Но не это! В рассохшейся будке на цепи сидела старая собака. По мутным глазам её было видно, что она почти ослепла. Ваня негромко позвал её по имени, и она, прижав уши, завилала хвостом.

– Привет, Найда. Ждала? Прости, что опоздал. Мать заставляет на уроки ходить, иначе обратно в деревню отправит. Вот и приходится «гнить» за партой целый день, – извиняющимся мягким голосом произнёс Жмаков.

У меня в груди что-то оборвалось и сжалось. Я интуитивно толкнула вперед дверцу калитки, и она со скрипом открылась. Перепуганная собака спряталась в конуру. А Жмаков, сев на корточки, закрыл лицо руками, будто пряча что-то, что могла разглядеть в его глазах мохнатая подруга, а может, просто закрыл лицо, страхуясь от случайной фотосъёмки.

– Ваня... – ломаным осиплым голосом произнесла я.

– Не смейте! Не смейте со мной разговаривать! Валите отсюда! – заорал он, подняв на меня голубые глаза, полные звериной злобы и дикости, глаза, в которых читалось лишь одно – желание разорвать случайного гостя на части. Но, заметив, что от громких криков Найда стала тревожно скулить, сбавил тон.

– Чего вы сюда припёрлись? – доставая из кармана небольшой нож, также злобно говорил Жмаков, медленно идя мне на встречу. – А, хотели сфотографировать и всем показать, какой я тряпка?! Я вас убью! А не убью, так вам вашу долбанную практику запорю так, что вам никогда преподавать не дадут! Понятно, учительница!? Всё, можете бежать, жаловаться, сдавать меня органам опеки! А заодно и место на кладбище себе закажите. Мы с ребятами всё равно вас найдём!

Я шмыгнула за калитку. Казалось, что стоит сделать хоть шаг, и моего собеседника уже не остановить. Мне крышка... Но было в этих злобных мальчишечьих глазах нечто, что словно говорило: «Нет, он не тот, кем кажется...». Сама подкармливала бездомных кошек, поэтому в сумке всегда было несколько пакетиков влажного кошачьего корма. Дрожащими руками я достала их со словами:

– У меня вот. Есть. Только для кошек. Может, ей пойдёт?

Ваня, растопырив ноздри, сжав губы так сильно, что яблоко подбородка превратилось в камень, резко выхватил из моих рук кошачью еду и, покрутив немного полнехонькие упаковки в руках, добавил:

– Я так понимаю, вы от меня не отвалите? Типа не из трусливых? – прищурил глаза, выпальнул он.

– Я то? А, да, да я вообще ничего не боюсь. Слабоумие и отвага – наше всё! – пытаюсь разрядить обстановку, уже успев почувствовать холодный пот, стекающий тонкой струйкой по спине, пыталась шутить я.

– Ладно, фиг с вами. Задрали уже. Припёрлись, так заходите. Познакомлю, – прозвучало уже более снисходительно из его уст. – Пфффф... Знакомьтесь, это Найда. Найда, это тётка-учительница. Она нас раскрыла и теперь нам придётся избавиться от неё, а перед смертью она очень хочет скормить тебе вот эту кошачью жратву. Чего стоите столбом? Протяните собаке руку, она почти слепая, пусть почувствует, что вы не обидите её. Иначе я точно обижу вас.

Зажмурившись, боязливо я протянула руку старой дворняге. Она, обнюхав, лизнула её в знак

доверия. Жмаков, не обращая на меня внимания, достал из-за конуры металлическую миску, сделанную из небольшого эмалированного ковши с отломившейся ручкой и обгоревшим дном, аккуратно убрал со дна посуды налетевшую за день листву, затем ножичком ловко вскрыл пакет сухого собачьего корма с надписью «Для щенков в возрасте до года» и щедро насыпал его Найде. Та принялась жадно поглощать свой обед. А мой ученик сел с ней рядом и аккуратно начал поглаживать скатавшуюся в небольшие колтуны шерсть на старой собачьей спине, лишь изредка косо поглядывая на меня. Мы молчали в тишине, разрываемой звуками трескающихся кусочков корма на стёртых клыках Найды. Чувствовалось, что собаке и такой мелкий корм даётся нелегко. Сколько же ей лет?

В накрывшей дачи осенней тишине я детально рассмотрела пустующий участок и старый маленький дом. В запущенном огороде на одной из грядок чёрным пятном выделялись угли потухшего костра, которым, видимо, и пах всегда Ваня... И тут меня как громом пронзило: участок-то ведь чей-то! А где хозяин? Или может эта земля семьи этого мальчишки? Я спросила:

– Ваня, а где хозяин? Ты здесь один?

– А хозяина нет, – тяжело выдохнул папан. – Здесь раньше дед Матвей жил, а этим летом, в июле, помер. Оставил после себя и участок, и дом, и собаку. Вы не бойтесь. Дачи в это время полупустые. Люди подались в город.

– А у деда ведь родственники есть?

– Родственники есть, конечно. После смерти его «заботливая» дочь приезжала. Что можно было из дома вывезти, увезла. Новый замок повесила. Долго думали они с мужем, что с собакой и участком делать, решили, что дом попробуют продать, а собака, если не сохнёт до холодов, то в ветеринарку поедет на усыпление.

– Изверги! И что они её вот так привязанной к будке и оставили? – с негодованием спросила я.

– Нет. Привязал её я. Вы что, дура? Она же почти слепая. Уйдёт далеко и потеряется. А так сидит здесь полдня. Я же всё равно с ней до вечера. И мне спокойнее.

– А ты-то откуда всё это знаешь? Родственник, что ли, этот дедушка тебе? – не подавляя любопытства к чужой истории, спросила я.

– Да нет, не родственники мы. Познакомились с дедком случайно прошлой осенью. Я тогда только в город жить перебрался, и сразу же компанью себе нашёл «веселенькую». Чего мы только не творили! Однажды решили пойти гулять по дачам. Выпили хорошенько. Старший в нашей банде сказал, что мне нужно пройти обряд посвящения и предложил насать в чужой колодец. Ну, я и нассал. До сих пор стыдно. А потом стрельнуло нам залезть в чужие огороды: то кусты ломать, то овощи воровать. Кто сворует незаметно, тот «мужик» и «красава». Мне поручили в огороде деда Матвея яблок нарвать. Ну, я и тут послушался. Стою, пьяный почти в стельку, рву, складываю в карманы толстовки, и чувствую, как меня дед за ухо схватил. Матвей хоть и старый, а мужик сильный оказался, а я пьяный и сопротивляться толком не могу. Заорал, парни услышали, прибежали и начали деда бить. Я пасанул, как девка, и убежал. Два дня дома взаперти сидел, всё про деда думал. Я же слабохарактерный и тряпка. Не выдержал в итоге, вернулся. Пришёл, а Матвей весь в синяках на лавочке сидит. Я встал перед ним и разревелся, прося прощения. Помню, что он молча поднялся на крыльцо дома, а потом сказал, что нет смысла стоять на улице, и пригласил к себе. С тех пор мы и подружились. Тоже, кстати, педагог. Вёл в школе географию, а когда на пенсию вышел, то поселился здесь. Ребята мои, меня, конечно, избили и изгнали из банды. Остался я один. Вот и повадился к нему заходить. То воды принесу, то дров, то в аптеку сбегая, то в магазин. И к собаке привязался этой. Дочь его пару раз приезжала, всё говорила о каких-то документах на имущество, но против нашей с ним дружбы не возражала. Видимо, ей тогда удобно было, что я ему помогаю. К весне дед быстро плохеть стал, и каждый день мне в уши про Найду жужжал. Жалко ему её было. Просил присматривать, когда помрёт...

Так мы весь учебный год и провели вместе: я, Матвей да Найда. А потом мать на летние каникулы отвезла меня в деревню. Я месяц продержался. Всё думал, как там дедок один. В одно утро проснулся, а у меня предчувствие на душе нехорошее. Не выдержал, сел на автобус и поехал в город. И сразу же к дому Матвея двинулся. Там меня его дочь с мужем встретили и сообщили, что помер он несколько дней назад, просили больше не приходить. Вернулся я к дому этому через неделю. А собака всё сидит на крыльце. Хозяина ждёт. Я обещал же деду заботиться, вот и хожу сюда каждый день. Я бы домой её забрал, но отчим и так меня не любит. А тут заявил, что ещё старого «блоховоза» дома не хватало. Мы в его квартире живём, поэтому мать ему слова поперёк сказать не может. И тоже Найду забрать с улицы не разрешает.

Я слушала его слова с комом в горле и удивлялась тому, как не по-детски может вести себя ребёнок. Начало смеркаться. Здесь темень приходит рано. Ваня тоже почувствовал надвигающийся сумрак и быстро пошёл в сторону дровяника, вернулся с парочкой хороших добротных поленьев, которым нашлось место на уже обустроенном огороде кострище. Внезапно я осознала, что желудок у меня совсем пуст, да и у Волка, наверно, тоже.



– Ваня, ты есть хочешь? Давай я в магазин схожу, принесу нам поесть? Тут не очень далеко пирожковая есть. Ты булочки будешь? – Как-то по-матерински вышло у меня сказать эти слова.

– Беляши... – почти шёпотом произнёс Жмаков.

– Прости, что ты сказал, я не расслышала.

– Беляши. Можно мне тогда беляши? – выдавил из себя он, и я всё поняла без дальнейших слов...

Когда я вернулась с пакетом утренней выпечки, коробкой сока и собачьим кормом, Ваня и Найда уже сидели на голой земле у разгоравшегося костра почти спина к спине и грелись, а может, просто о чём-то думали-мечтали, глядя в яркое пламя. Из-за напавшего на меня голода, свои пирожки я съела ещё по дороге до дач, поэтому просто, молча, протянула пакет с пятью беляшами мальчишке, который один сразу же отдал своей мохнатой подруге, а остальные умял сам. Того и следовало ожидать – голодный.

Время шло. Я понимала, что мне пора уходить. Впереди ещё дорога в общежитие и подготовка к урокам. Да и здесь, в этой какой-то сиротской идиллии, я была не к месту. Понимая своё словесное бессилие, я хотела всё же сказать что-то ободряющее этому высокому мальчишке. А на ум пришло только:

– Знаешь, а для злого Волка ты слишком добрый.

– Это прозвище со мной уже второй год, – не оборачиваясь, выдохнул Ваня.

– Я бы хотела узнать, почему тебя так называли, – не желая уходить, заинтересовалась я, не надеясь, что мой собеседник расскажет мне и эту историю. Но он заговорил, теребя длинной палкой головешки:

– Я сам деревенский. Сюда меня мать привезла, когда с отчимом сошлась. Отец у меня был хорошим мужиком, только выпить любил иногда. И вот один раз, когда начались работы в поле, он пьяным сел за руль трактора, но с управлением не справился... Погиб. А мать тогда не работала. Трудно в деревне с работой. Потом тётка моя, которая перебралась в город ещё после учёбы, устроила её фасовщицей на фабрику и у себя поселила. Мать всю неделю работала в городе, а на выходные приезжала в деревню. Я в деревне со старшей сестрой жить остался. И ничего, справлялись. И вдруг мамаша приезжает с каким-то мужиком, говорит, что замуж за него выйдет, меня в город заберёт, в городскую школу пойду. И забрала. Я тогда в восьмой класс пошёл. С отчимом отношения у меня сразу не заладились. А знаете, как городские не любят нас, деревенских? Мы для них «колхозники». Так вот. Как только мы переехали, я гулять пошёл, а тут мне на пути местные «мажорики» попались. Ну, слово за слово – и понеслась перепалка. Я же не из робких, за себя постоять могу. Их четверо, а я один. Они меня на землю повалили и пинать начали. Я сначала просто лицо руками закрывал, а потом орать начал на весь двор, озверел и вцепился зубами в руку одного, да так, что до крови. Они вдруг испугались и побежали от меня, а я вскочил на скамейку и завыл как волк-оборотень им в след. Дома меня, конечно, отругали. На следующий день я снова встретил этих «убогих». Они мне ни слова не сказали, только весь двор «волчарой позорным» называть меня стал. Я, соответственно, бесился, гонялся за другими детьми. А потом началась школа и, как оказалось, эти придурки тоже учились там. Вот и разнесли по всей школе сплетни, что я – псих. Да и вёл я себя соответствующе. Больше боятся, значит меньше достают. А дальше вошёл в свою «весёленькую» компанию, где такие же отморозки, как я. Что было дальше, вы уже знаете, – закончил Ваня.

Мне хотелось смеяться. Не знаю, почему, но смеяться. Может, потому что своим рассказом Жмаков до конца доказал мне, что он неплохой парень, а может, это был не смех, а подступающая истерика...

– Ваня, а как на чувашском языке будет «воль»?

– Кашкор.

В этот день я вернулась в общежитие поздно. Не буду утруждать вас долгим рассказом о бессонной ночи, полной тяжёлых размышлений о том, как помочь мальчишке. История же не об этом. Давайте сразу перенесёмся в день, в который продолжит эту историю...

С самого утра я для себя решила, что ещё раз поговорю с Ваней, скажу ему, что он замечательный парень, что ещё всё можно изменить, если захотеть, что мы обязательно пристроим Найду, что проблемы с родителями – это временно, что всё будет хорошо. По дороге на практику, стоя в переполненном троллейбусе, я сочинила целую речь и повторила её про себя раза два, словно убеждая себя в своих же мыслях. Но последняя парта оказалась пустой сегодня, и на следующий день, и до самого конца практики. Жмаков не пришёл... А мне не хватило совести, сил, педагогического опыта, твёрдости духа, и мудрости возраста, чтобы сходить до дач и повидаться с ним.

И вот настал последний день практики. Итоговый урок, а потом снова я вернусь в привычный университет. По традиции на занятие пришли декан факультета, педагоги и директор школы. Ничего не предвещало беды, но за пару минут до звонка в кабинет молча зашёл Ваня Жмаков. По сочувственному взгляду директора школы, который словно говорил: «Ну всё. Сейчас начнётся. Считай, ты завалила практику», я поняла, что ждать помощи и защиты мне не придётся. Однако Кашкор за весь урок ничего не учудил, как и обещал. Даже что-то писал в тетради. Одним словом, не подвёл. После звонка мне так хотелось по-

говорить с ним, что забыв о собравшейся в кабинете комиссии, я вышла в школьный коридор, чтобы догнать своего ученика. Однако декан меня остановила, сказав, что надо бы сейчас, пока комиссия в сборе, разобрать мой урок. И вот я сижу перед педагогами, которые раскладывают по полочкам мои ошибки, дают советы и даже время от времени хвалят. А в голове только мысли о том, что я не сказала ему тех тёплых слов – слов поддержки. И снова слёзы и обида. Учителя, естественно, сослались на стресс, полученный мной от перенапряжения. Никому и в голову не пришла бы мысль о том, что один недопедагог может реветь по школьному бандиту...

Закончив обучение, я вернулась на родной Север. Прошёл не один год с той истории, у которой, кстати, счастливый конец.

В Чебоксары я вернулась уже спустя несколько лет. Но не как студентка, а как гость. И только тогда судьба вновь свела меня с Ваней.

В одном из маршрутных такси, я услышала знакомое «тёточка-учительница». Оборачиваюсь.

– Ваня! Ваня Жмаков! Вот это сюрприз! – восхищаясь случайной встречей, весело сказала я. – Ничего себе, как ты изменился! Возмужал!

Позади меня сидел мой уже повзрослевший волчонок. Те же светлые волосы и голубые глаза, та же манера одеваться в спортивном стиле, но нет запаха гаря, вся одежда чистая, а главное – улыбка. Это светлое и уже совсем не ребяческое лицо, оказывается, обладает прекрасной широкой улыбкой, а не звериным оскалом. Мы разговорились. Я узнала, что выпускные экзамены он кое-как сдал и после девятого класса пошёл учиться в техникум. А армию он не годен из-за слабого здоровья. Сейчас подрабатывает в машинной мастерской и дополнительно чинит компьютеры на дому. От родителей съехал сразу же, как представилась возможность. Живёт пока что у друга. И даже набил себе татуировку с изображением волка. А сейчас едет на свидание. Хотелось, конечно, спросить про Найду, но я воздержалась, понимая, что не стоит вскрывать старую рану.

Перед моей остановкой мы тепло распрощались.

Маршрутка поехала дальше, а я всё провожала её взглядом, пока она не скрылась за поворотом. Некоторое время я просто стояла, дыша пыльным воздухом, и улыбалась сама себе:

– А мальчишка-то справился! Выбрался! Смог! Доброе сердце всегда найдёт нужную дорогу. Молодец, Ваня! Ты оказался человеком с сильным характером. Ты – настоящий Капшкор! Аууууууу!

## СЕРГЕЙ ПИДЕНКО

Тольятти

### СЕРЕБРЯНАЯ ТРУБА АРАМА

рассказ

Почему-то никак не могу вспомнить его лицо. Фигуру помню – маленькое, даже щуплое тело в мешковатом «хабэ» с несоразмерно большой головой над худыми ключицами. Эта несоразмерность придавала ему какой-то детский вид. Да он и был ребёнком – в свои восемнадцать с небольшим смотрел в мир по-детски удивлённо и немного настороженно...

Вот имя никогда не забуду – Арам. Нормальное армянское имя, но совершенно непривычное для европейского уха. Если прочитать наоборот, получится «мара» – «мечта» по-белорусски. А на фамилию его я вообще, как охотничья собака, сразу стойку сделал. Я ещё в институте Сарояном болел. На все спектакли по его пьесам ходил. И томик его прозы в переводе с английского у меня на полке стоял. «В горах моё сердце»...

А тут вхожу в штабную дежурку, а там сидит маленький чернявый кавказец, увидел меня и вскочил, как чёртик на пружинке, большой рот в испуганной улыбке растянут, а руки суетливо пилотку задом наперёд на голову натягивают. Это не потому, что он погоны мои сержантские увидал, просто шупера наша армейская уже в первую неделю приучила их перед каждым «стариком» в струнку вытягиваться (я ещё со своего карантина помню, как любой полугодичник «дедом» казался).

– Садитесь, – говорю, – товарищ солдат (никогда не любил фамильярничать и «тыкать» тем, кто вынужден меня на «вы» называть). – Новенький? Как фамилия?

А он опять вскакивает и рапортует:



– Военный строитель-рядовой Ароян!

Вот тут-то я стойку и сделал.

– Вот как, – говорю, – Ароян? А к писателю Сарояну Вы никакого отношения не имеете? Или просто фамилии похожие?

Он улыбнулся растерянно и одной фразой уложил меня. Наповал.

– Его отец, – говорит, – двоюродный брат моего дедушки был...

Вот так его и звали. Арам Ароян.

Он был трубачом. Не знаю, была ли у него какая-нибудь другая профессия. В военно-строительных войсках из него пытались сделать землекопа. Будь он пианистом, им бы это удалось наверняка: в клубе у нас не было фортепиано, и с собой из дома его не привезёшь, а трубу – трубу он привёз. (Не знаю, как правильно назывался этот инструмент – серебрястый, с тремя кнопочками, похожий на пионерские горны, только те были медные и почему-то всегда помятые – дрались ими, что ли? А этот – сразу видно было, что серьёзный музыкальный инструмент: благородно сияющий, одна деталь плавно перетекает в другую...) И замполиту нашему – тридцатилетнему капитану с холёным лицом – пришло в голову, едва он про эту трубу узнал, утреннюю побудку и отбой вечером сигналом трубы обозначать. Я его понимаю: мы все на гайдаровской военной романтике выросли, и для многих из нас посреди тогдашней всеобщей сытости, лени и вранья серебряные трубы нет-нет да и звучали. А может, что вернее, ему просто хотелось замполитам соседних частей нос утереть: у них нет такого, а у нас – есть...

Так Арам и выходил по утрам – сонный после ночных сержантских игр в «подъём-отбой», любовно пробегал пальцами по клапанам – мягко ли ходят – делая смешные гримасы, старательно разминал губы: округлял, вытягивал в трубочку, растягивал в подобии улыбки, замирал на несколько секунд, словно прислушиваясь к чему-то, что мог слышать только он один (как я завидовал этому мгновению!)... Потом оглядывался на освещённое окно дежурки, откуда дежурный по штабу, следящий за часами, подавал ему знак, и подносил мундштук к губам. На несколько мгновений для меня наступала абсолютная тишина ожидания... А потом – в утреннее небо вонзался чистый звенящий клинок сигнала, легко и решительно отсекая ночь ото дня.

Весь день труба отдыхала в чёрном дерматиновом футляре, куда Арам, бережно протерев сверкающий металл флаanelю и прочистив специальной щеточкой мундштук, укладывал её после утреннего выступления. Сам же трубач в это время с остальными сослуживцами трудился над рытьём траншей на ударном объекте пятилетки, восемь часов в день перекидывая с места на место глину и песок.

Вечером обряд повторялся, но в это время он не трогал меня: переход от шумного дня к тишине ночи не требовал такого яркого действия, как утром.

Арам иногда играл для нас, солдат-штабистов, минут тридцать-сорок (мне хватало этого, чтобы очистить душу от суеты и усталости) какие-то классические пьесы, армянские мелодии и джазовые композиции: Армстронг, Гершвин, Бернстайн. Я его не просто слушал – впитывал, вбирал сердцем, всей сутью своей. Заворожённо ловил глазами блики на серебряной поверхности, следил за пальцами, нежно перебирающими клапаны, и с восхищением всматривался в его одухотворённое лицо (надо же – своё восхищение помню, а его лицо нет!). И странно: меня хорошей музыкой не удивить – я, пока в Минске учился, нередко на концертах бывал и таких музыкантов слушал – но Арам со своей трубой вызывал во мне восторг новообращённого. Если в самом деле есть ангелы на небесах, и они действительно наполняют небесные сферы божественной музыкой, Араму самое место среди них.

Эти вечера и подсказали мне идею избавить Арама от каждодневной подёнщины на стройке. И повод подходящий вскоре представился: у кого-то из напарников Арама лом из рук выскользнул и трубачу нашему едва запястье не раздробил. Пока раненый в медсанчасти отсиживался, я как батальонный комсорг к замполиту пошёл, статистику травм и увечий в отряде за последние полгода привёл, напомнил, что через месяц на базе нашей части совещание политуправления округа проходить будет, и было бы неплохо, если б начальник политуправления слышал по утрам нашего трубача...

В общем, когда Арам вышел из санчасти, он уже числился штатным работником батальонного клуба. (Ротный возражал, конечно, да кто его слушал!) Я знал, без сомнения, что благими намерениями путь в ад вымощен, но кто мне мог подсказать, что это и к моим благим намерениям относится!

У Арама свободного времени стало – не меряно! И сколько мы с ним за эти месяцы переговорили. Я в первый раз встретил человека, так связанного с судьбой своего народа. От Арама я впервые «живьём» услышал, как армяне отстаивали веру свою и культуру, временами чуть не в катакомбы уходя, как население целого государства – женщины, дети, старики – мучеником за веру становилось... И первый раз тогда я о Комитасе узнал – композиторе, гордости армянского народа. Он сошёл с ума, видя муки друзей и близких. Арам рассказывать не мог – рыдал. И я был не в силах его успокоить, потому что рыдал сам.

Меня сначала удивляло, как Арам в строительных войсках оказался: здоровый, грамотный, с законом в ладах (у нас кого ни возьми – подобрались косые, хромые, уголовники. Я так вообще соцветие

пороков: очкарик, гипертоник, да ещё и у гэбэшников на заметке в силу романтизма излишнего). У Арама всё-таки оказался пунтик в биографии. Он не сразу признался, что его семья семь лет назад в Союз из Ливана перебралась. Так что доверять ему у наших властей оснований, естественно, не было. Арам ещё в Ливане, восьми лет от роду, как трубу к губам прижал, так уже и не выпускал из рук. В маленьком армянском городке, где он с семьёй оказался, даже музыкальной школы не было, кто его учил? Сосед ноты показал – до этого парень исключительно на слух мелодии подбирал, – по выходным и праздникам жители окрестных домов что-то вроде музыкальных вечеров устраивали: кто на чём умел, тот на том и играл, а кто не умел, в ладоши прихлопывал – вот и вся школа.

Я получал удовольствие от общения с Арамом тем большее, что истосковался по таким разговорам. Даже не столько разговорам – атмосфере чистого, доверительного общения, не отравленной крутой похабщиной и сальностями, неизменными в армейском коллективе, рассказами о самоволках и пьянках.

И так увлекательно было слышать, как Арам говорил о музыке. Наверное, я оказался не очень хорошим слушателем: двадцати лет не прошло, а я уже почти не помню имён джазистов, восхищавших его, названий его любимых пьес и многого, слишком многого я уже не помню. А ведь для него в этом была вся жизнь. Мы с ним почти не говорили о женщинах – он ещё не успел никого полюбить. О музыке он говорил так, как я – о любимой женщине. Как я подмечал бы неповторимые чёрточки в характере, поведении, речи, лице любимой, так он собирал особенности в исполнении Бенни Гудмена (или кто там ещё есть из выдающихся джазистов?).

Не могу понять, как в те годы в маленьком армянском городке он умудрялся находить их записи и впитывать звуки, наполнявшие его светом? Половину его слов в эти моменты составляли разнообразные по тону «та-та-ти» и «ти-ти-та», а ещё «пам-ба-ба-ба-ба» и «у-ва-ва-ва-ва». Так звучали разнообразные духовые в его исполнении. Но наступал особый момент, и Арам хватался за свою трубу (может, когда был уверен, что исполнение окажется не хуже оригинала). В маленьком пространстве моего штабного кабинета голосу его трубы становилось тесно (иногда мне даже казалось, что я представляю, как были разрушены стены Иерихона), он метался от стены к стене, неистово бился о потолок, испуганно дребезжали оконные стёкла, по комнате носился тугой вихрь звука, а посреди всего этого стоял Арам, широко расставив чуть согнутые в коленях ноги, активно двигая локтями (словно нагнетал воздух в лёгкие), закрыв глаза в упоении, и улетал вслед за вдохновенной волной звука, исторгаемой его трубой, оставляя внизу не очень устроенный, временами совершенно неудобный мир, улетал, увлекая за собой меня. И судорожно трепыхалось, и замирало моё сердце, впервые поднятое на такую высоту вдохновения и восторга перед музыкой, порождённой божественной трубой вполне земного армянского юноши. И вдруг звук обрывался, и я, обескрыленный, ошарашенно летел вниз, не успевая надеяться на спасение, и перед самой землёй меня подхватывала мягкая волна свинга и вновь увлекала вверх, к сверкающей горней высоте. И в этот миг я, атеист, знал, что Бог есть, неоспоримым доказательством его существования была труба Арама!

За этим занятием нас и застал как-то начальник штаба, две недели как назначенный на эту должность после 12-летнего сидения на должности командира роты в соседнем батальоне и весьма решительно нацеленный на перестройку батальонного распорядка. Вся страна бодро чистила и перестраивала свои ряды, направляемая твёрдой рукой нового генсека, с чекистской уверенностью усматривавшего в любом колебании и своеобразии опасные ростки расхлябанности. И армейский трубач, тративший служебное время на джазовые композиции, несомненно подлежал упорядочиванию. Место Арама было на ударной стройке пятилетки, и уже на следующее утро, отыграв положенный сигнал побудки, Арам вместе со взводом отправился долбить мёрзлую землю и таскать с места на место носилки с гравием.

Лишь однажды мне удалось на пять минут остановить Арама у входа в кинозал батальонного клуба. Трубач говорил неохотно, отводя в сторону усталый потухший взгляд. На мои настойчивые расспросы о житье-бытьё в казарме сухо отвечал, что живётся ему нормально, никто его не трогает и вообще всё хорошо...

Я не выдержал, рявкнул в сердцах:

– Чёрт побери, Арам! Не морочь мне голову! Я же тебя не бросил и способен тебе помочь, только не прячься в раковину.

И он впервые за весь разговор посмотрел мне прямо в глаза – на мгновение я увидел прежнего Арама.

– Товарищ сержант, – он так и не привык обращаться ко мне по имени, – я должен научиться справляться со своими проблемами сам.

– Ах ты, душара чмошный! – выскочил откуда-то сержант, командир Арама, и замахнулся злобно, – вечно тебя по разным углам выискивать надо!

Арам втянула голову в плечи и потрусил в полумрак зрительного зала. Сержант, делая вид, что не замечает меня, цыкнул ему вслед.

– Слушай, командир! – ухватил я вояку за плечо, – очень не советую тебе зря обижать этого парня. Он может то, чего никто из нас не умеет – отнесись к нему повнимательнее.



– Слушай, комиссар, – в тон мне отозвался сержант, по-прежнему старательно не глядя в мою сторону, – это мой солдат. И отвечаю за него я. А ваши с ним «тра-ля-ля» вечерами остальных солдат мне портят. Так что иди себе ровненько в... в штаб.

И я отступил, рассчитывая в понедельник поговорить об Араме с командиром батальона. У меня была надежда при поддержке замполита и моего ротного перетянуть его к себе. И не знал я ещё, что отложив новую встречу с другом до конкретного результата переговоров, безнадежно упустил время.

В понедельник утром он встретился мне после утреннего развода – когда залезал на машину, развозившую солдат по рабочим объектам.

«Арам!» – окликнул я. Он обернулся было, уже занеся ногу над задним бортом фургона, но увидеть меня не успел – его подталкивал снизу напарник, взбравшийся по лестнице.

«Ладно, – сказал я себе, – вечером. Вечером я всё решу». И решил. Почти решил. Уже к обеду я заручился поддержкой командира роты, перед вечерним разводом побеседовал с замполитом, и он заверил меня, что сразу после развода перемолвится с комбатом с глазу на глаз, пока начальник штаба будет проводить совещание с офицерским составом.

Но комбату оказалось не до разговоров со мной. «Шестеро из первой роты не вернулись с объекта», – сообщил мне дежурный по штабу. В первой роте служил Арам, но я ещё не услышал звонка тревоги. Он прозвучал позже, когда от комбата вышел раздосадованный замполит. На мой немой вопрос капитан только отмахнулся раздражённо: «Отчебучил твой Арам. В самоволку слинял, музыкант хренов».

Арам? В самоволку? Быть такого не могло. Ему просто некуда идти в этом городке. Можно, конечно, сорваться просто так, ради ощущения свободы. Но я уже не мог найти себе места.

Через полчаса в коридоре раздался шум: крики, возня, какое-то мычание, топот множества ног.

– Открывай клетку! – возбуждённо заорал уже знакомый мне сержант, волоча за шиворот низкорослого солдатика в засаленном бушлате.

– Напились? – осведомился дежурный по штабу, гремя ключами у решётчатой двери.

– Нанюхался! – сообщил сержант, пинком вталкивая бедолагу в «клетку».

Тот брякнулся на пол и со стоном повернулся на спину – я увидел незнакомое мне лицо. Следом втащили ещё четверых в таком же состоянии. Арама среди них не было.

– А где шестой? – нарочито равнодушно полюбопытствовал я, избегая упоминать Арама по имени.

– Арьян-то? – уточнил сержант, окинув меня небрежным взглядом. – Накрылся твой Арьян. В морг его повезли, музыканта твоего. Кайфанул, что называется...

...Перед самым концом работы один из шестерых притащил банку с какой-то жидкостью и пообещал классный кайф. Спрятавшись в рабочей бытовке, они разлили эту гадость в металлические суповые тарелки и принялись вдыхать дурманящие пары, ожидая обещанного наслаждения. Почему с ними пошёл Арам, всегда с брезгливостью смотревший на пьяных? Какая пружина сорвалась в его душе, что хотел он заглушить в растревоженном сознании? Вряд ли он успел получить удовольствие. Этот химикат вызвал в его организме аллергическую реакцию, произошёл отёк лёгких и гортани, и он просто задохнулся...

В часть приехали родители Арама. Несчастливым старикам невозможно было объяснить, как это случилось. Меня просто затрясло, как только я увидел его мать с совершенно белыми глазами на закамневшем лице. Я не смог даже подойти к ней и сказать полагающиеся в таком случае слова утешения. В голове билась только одна мысль: Арама нет и больше никогда не будет...

Только после их отъезда я обнаружил под столом в углу дежурки трубу. По моему разумению, инструмент следовало вернуть родителям Арама, но замполит решил по-своему. Он разыскал новобранца, знающего в какой конец этой штуки дуть, и через две недели после гибели Арама его труба вновь стала звучать утром и вечером. Минуты эти стали для меня сплошным кошмаром. Парень брал верные ноты, врать не буду, но в трубу надо было вдуть не воздух, а душу, а вот этого он не умел.

Потом, когда я вернулся в Минск, мне очень захотелось рассказать об Араме друзьям, но почему-то вдруг стало стыдно говорить правду о том, как он погиб. Как мне было рассказать о человеке, олицетворявшем для меня судьбу и надежды народа, прошедшего крестный путь испытаний на верность своим корням, человеку с незаурядным будущим, умирившем в луже мерзкого химиката среди кайфующих солдат-строителей, погибшем от того, что несколько человек тупо исполняли свой долг?

И я придумал ему героическую смерть. В моих рассказах он погиб при испытаниях ракетной шахты, в строительстве которой он якобы принимал участие. Мне казалось, что такая смерть не унижает трубача. И я врал, вдохновенно врал, описывая подробности трагической гибели Арама, рассказывая, как мужественно он боролся за жизни своих сослуживцев и погиб потому, что на себя времени уже не оставалось.

И враньё это не тяготило мою душу – до поры. Пока я не понял, в какой стране живу. Пока не понял, что она остаётся и останется такой благодаря и моему вранью. И то, что я сам сумел поверить в своё враньё, усугубляло, а не смягчало мою вину. Пока я не понял, какой тяжести камень лежит на моей душе. И сейчас я хочу снять этот камень. Очень хочу, но не могу. Потому что ни ложь, ни правда о его смерти не вернут Арама и его талант на землю, где он так много мог сделать, но не сделал, в мир, который он мог наполнить своей музыкой, но не наполнил. Потому что я не в силах вернуть последнего трубача моей юности.

Но серебряная труба его ещё звучит в моей душе, не давая забыть, что есть высоты, к которым должно стремиться. Ещё звучит...

## ЮРИЙ ШАДРИН

Павлодар, Казахстан

### САМЫЙ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ

рассказ

Ветхая хижина лесничего в тайге.

Крики молодожёнов кромсали лесную тишину. Между собой ругались Алексей и Наталья. Конфликт заключался в том, что Наталья, молодая и безумно красивая девушка, закончившая обучение на дизайнера интерьерера в городском вузе, выходя замуж за Алексея, планировала создать семью и уехать в один из ближайших больших городов, где кипела жизнь и где она могла бы дать волю своему творчеству. Алексей же был тихим мужчиной, не любившим всю эту городскую суету, из числа тех немногих, кто мог общаться с природой на «ты». Новоиспечённая жена терпела два месяца, думала, что вскоре мужу надоест эта жизнь отшельника, но время шло, и все попытки переубеждения оказались тщетными. Их утро в очередной раз началось не с завтрака в постель, а с отстаивания своих убеждений.

Волчий вой неподалёку прервал ссору...

Кстати, опасность в виде диких зверей являлась основным аргументом Натальи в пользу переезда в город, но Алексей всякий раз убеждал её, что животные сами по себе не представляют опасности.

На этот раз леденящий душу вой стал роковым.

Наташа собрала вещи и настояла на том, чтобы Лёша отвёз её в город. Бороться с этим у него уже не было сил, он согласился, помог загрузить вещи в машину, и они отправились в путь. Дорога до города занимала около тридцати минут, но в этот раз длилась весь час. Алексей специально медленно ехал, словно надеясь на то, что любимая передумает и они заживут как прежде... Уже виднелся город, а в машине не прозвучало ни единого слова. Лишь звук работающего двигателя и изредка шипящее, как змей искуситель, радио нарушали покой.

Спустя час, тянувшийся целую вечность, пункт назначения был достигнут. Он помог выгрузить вещи из машины и ещё пятнадцать минут молча стоял, разглядывая её заплаканное лицо. Она тоже ждала одного общего выбора, но Лёша прекрасно понимал, что выбора будет два...

Один – её и второй – его.

Он развернулся и пошёл к машине. Только повернув ключ в замке зажигания, услышал с её стороны робкое, но горькое «я подаю на развод, даю тебе три дня, если передумаешь... Приезжай».

Она отвернулась, чтобы он не увидел, как слёзы рекой потекли из глаз, что были цвета той самой зелёной тайги, на которую он её променял.

В его душе бушевал пожар, а в голове правил холод. Он злобно ударил ногой в педаль газа и помчался домой, перед глазами мелькали деревья и разделительные полосы на дороге. Вдруг он будто проснулся и направил взгляд на дорогу, где стоял волк, тот самый, что стал точкой в его истории под названием семейная жизнь.

Алексей выжал тормоз, и ещё двенадцать с половиной метров резина его покрышек со свистом скользила по асфальту. Волк стоял, не колыхнувшись, точно демонстрируя свой стойкий нрав и бесстрашие.

Машина остановилась, за ней тянулся тормозной путь в виде двух чёрных полос. Взгляды волка и лесничего пересекались, они оба были хозяевами этого леса, прекрасно зная как свои территории, так и владения оппонента. После короткого невербального общения с человеком волк отправился дальше,

Алексей глубоко вздохнул, приведя себя в чувство, посмотрев в зеркала и убедившись в отсутствии других участников движения на дороге, продолжил путь домой.

Припарковав машину около крыльца, он глянул на домик, в голове чередовались мысли: «А может, она права?», «Три дня», «Семья», «Одиночество».

Он вошёл в дом и как обычно повесил связку ключей на немного погнутый гвоздик, торчащий из дверного косяка. Сегодня разуваться он не стал, это Наташа приучила его ходить по дому без обуви, но её там уже не было. Лёша и подумать не мог, что его и без того пустой дом может опустеть ещё сильнее.

К слову, в его доме никогда не было ни телевизора, ни компьютера, да и сотового телефона у него не имелось. Единственными потребителями энергии в доме являлись холодильник (куда же без него), лампочки и зарядное устройство для рации, которую ему выдали на работе. Работа лесничего подходила Лёше как никому другому, он был создан для неё. Уже в двенадцать лет он знал повадки всех диких обитателей тайги, в шестнадцать знал наизусть всё, что только можно было найти в городской библиотеке о флоре местных краёв.

До самого вечера он сидел на старом, потрёпанном диване, взгляд приковало ружьё, висящее на стене, доставшееся ему по наследству от дедушки. Алексей всегда брал ружьё на обход своих владений, но ни разу не применял его по назначению. Он всегда говорил, что зверь не представляет опасности, если не представлять опасности для него.

Но в глубине души он знал, что рано или поздно ему придётся воспользоваться оружием, ведь не зря говорят: «даже висящее на стене ружьё когда-нибудь выстрелит».

Его раздумья прервал слабый сигнал, поступающий на рацию. Она частенько барахлила, но заменить её на новую он не решался, уж слишком многое было связано с этой рацией, и ни разу она его не подводила. Он встал с дивана и подошёл к подоконнику, на котором стояла рация, подключённая к зарядному устройству. Немного пошевелив тонер переключения частот, он настроился на нужную волну. На том конце провода слышался голос мэра города – Степана Владимировича, которого он ненавидел.

Мэр тоже относился к Алёше без особой радости, у них были разные ценности в жизни. Степан Владимирович любил деньги и выписывал разрешения на охоту в тайге, находившейся в юрисдикции Алексея, а также закрывал глаза на многократные акты браконьерства.

Лёша же любил животных и ни за какие деньги не позволил бы их убивать, но власть есть власть.

– Леший... Приём... – так называл Алексея мэр города. – Леший, чёрт побери, выйди на связь, я же знаю, что ты слышишь.

– Да, Степан Владимирович, я вас слышу, приём, – нехотя ответил лесничий.

– Отлично, Леший! Завтра придет уважаемый человек, разрешение у него есть, ты ему это... Места покажи... Где трофеев настрелять можно, ну... Чтобы понравилось ему всё, в общем, – мерзкий голос прокричал мерзкие слова.

– Не знаю я таких мест, пусть сам ищет, авось и потеряется в тайге... – злобно ответил Леший.

– Ты мне лапшу на уши не вешай, а не то мигом тебе замену найду, и пойдёшь ты не лес защищать, а навоз за коровами убирать, – намекая на свою высокую должность, а также коррупционные связи, с угрозой сказал мэр.

– Вас понял, конец связи, – сквозь зубы выдал Алексей.

– Вот и молодец... – не успел договорить представитель власти.

Алексей выключил рацию.

В ту ночь он так и не смог уснуть, в голове крутилось лишь «два дня», «два дня», «подумай», «приезжай»... Слышался нежный голос Натальи, словно она лежит рядом и шепчет на ухо, накручивая его волосы на палец. Ох, как она любила крутить ему волосы! Он становился похожим на кудрявого мальчишку, совершенно не соответствуя своему возрасту. Грусти добавляла мысль, что завтра придет очередной мажор с живодёрскими наклонностями, которому он должен показать лучшие места для охоты. Немного подумав, он решил отвести «охотника» на поляну, где, если и будут животные, то сразу его увидят и скроются.

День закончился.

Утро следующего дня началось с пронзающего писка, доносившегося из динамика рации, он обозначал наличие входящего сигнала на одной из частот. Алексей поднялся с кровати и направился к рации, стоящей всё на том же подоконнике.

Его посетило чувство дежавю, так как из рации слышался всё тот же мерзкий голос.

– Леший, хватит спать! Артём Евгеньевич уже подъезжает! Приём... – прокричал мэр.

– Я вас услышал. Пусть подождёт снаружи, – ответил Алексей.

– Ты в своём уме? В каком смысле подождёт... – заверещал Степан Владимирович, но Лёша уже выключил рацию. Умываясь, он услышал гул двигателя машины, подъехавшей к дому.

– Ну вот и живодёр приехал, – сказал он вслух, глядя в зеркало.

Когда он вышел из дома, на крыльце уже стояли упитанный дядька и тощий паренёк, увешанный сумками. В руках он держал ружьё. Было ясно, что это прислужник.

– Здравствуй, дружище! – выдал Артём Евгеньевич и протянул руку.

– Начнём с того, что я вам не дружище и не друг. Я провожу вас в тайгу, а дальше наши пути расходятся... Своих забот хватает, ещё и с вами нянчиться, – резко ответил лесничий.

– Да, Степан Владимирович предупредил меня, что Леший у нас с характером, – посмеялся толстяк.

– Да, нас предупредили, – повторил его тощий, как ветка, прислужник.

– Вот и чудненько, – ответил Леший и закрыл дверь на ключ. – Выдвигаемся через полчаса, – добавил он и пошёл осмотреть окрестности, проверить направление и силу ветра, скорректировать дорогу, так сказать, «по ветру», дабы животные почуяли запах приближающихся людей и успели найти безопасное место.

Через полчаса Алексей и Артём отправились в тайгу, а прислужник остался охранять машину.

Лёша улыбался, глядя на то, как упитанный дядька, привыкший по щелчку пальцев получать всё, что пожелает, обливаясь собственным потом, уже пятый час бродит по тайге, снаряжённый большим рюкзаком с ружьём наперевес. За это время им не попался ни один зверь. Озлобленный Артём всю дорогу выговаривал лесничему за то, что он нарочно ведёт его в места, где нет зверя.

На что Лёша, продолжая улыбаться, отвечал: «А вы думали, охота это так легко? Это вам не мраморную говядину в ресторанах кушать».

От этого Артём Евгеньевич ещё больше злился.

За весь день в тайге не прогремело ни одного выстрела.

Вернулись они, когда стемнело. В душе Лёша ликовал, чего нельзя сказать об Артёме. Он наорал на прислужника, забрал у него телефон и начал кому-то звонить. Звонил он, конечно же, мэру, требовал вернуть деньги, потому что ожидаемый результат не был достигнут.

Но Лёша не слышал этого. Он зашёл в дом, оставив непрошенных гостей ночевать на улице.

Уставший и не выспавшийся из-за прошлой бессонной ночи, он сразу уснул, но и во сне ему слышался голос Натальи: «один день», «один», «вернись».

Сон прервали сильные и нервные стук в дверь, за окном уже светало.

Отдёрнув засов, Лёша хотел дать в морду живодёру, но на пороге стоял мэр города. Спросонья Лёша не успел ничего понять, а мэр уже орал:

– Ты чем тут занимаешься? А!? Почему многоуважаемый Артём Евгеньевич звонит мне на телефон и сообщает, что слышит волчий вой, притом понятия не имея, где он находится?! Я тебя спрашиваю!

Алексей попытался объяснить, но Степан Владимирович не имел ни малейшего желания слушать его.

– Одевайся и на поиски, иначе живо с работы вылетит в ближайший коровник! Сторожем!!! А если его волки съедят, я тебя тем же волкам скормлю, а потом сам их съем!! – в истерике продолжал кричать он на Алексея.

Быстро одевшись, взяв рацию и ружьё, настроив рацию на одну частоту с мэром, Леший выдвинулся в путь.

Он примерно знал, где находился упитанный и наглый дядька, ведь если волк выл, значит учуял чужого на своей территории.

Пока Лёша шёл в самую глубь тайги, думал он не об угрозах мэра, а о том, что ему сказала жена... Пока что ещё его жена. Его Наталья.

И вот он пересёк невидимую границу, теперь он был гостем, а не хозяином. Шаг его стал лёгким и неспешным, он осматривался и потихоньку шёл вперёд, словно пришёл к давнему другу на новоселье.

Раздался ружейный выстрел совсем неподалёку, птицы, мирно сидящие на кронах деревьев, взмыли в небо.

– Леший, что за выстрел!? Кто стрелял!? – послышался голос мэра из радики.

Лесничий уже со всех ног бежал на выстрел и не отвечал Степану Владимировичу. На бегу он достал ружьё, свисающее из-за спины, и снова мелькнула мысль «рано или поздно выстрелит». И на бегу же он решил проверить, заряжено ли оно и, раскрыв ружьё, увидел, что оба патрона находятся на месте. Не успев защёлкнуть свою двустволку, он споткнулся о корень, торчащий из земли, и кувырками покатился вперёд, выронив ружьё. Он быстро поднялся и снова осмотрел ружьё: одного патрона не было. Лёша начал искать его в траве, мысли путались: «бежать на помощь с одним патроном», «найти второй, а вдруг промахнусь...».

И тут прозвучал второй выстрел.

Разум Алексея охладел, он сразу нашёл второй патрон, зарядил его и побежал дальше.

Время от времени в радики слышался голос мэра, который хотел знать, что происходит, но Лёша



не отвечал. Впереди виднелся холм, заросший плотным кустарником, перед холмом, спиной к Лёше, стоял Артём, ружьё лежало рядом.

– Артём! Артём! С тобой всё нормально? Что за выстрелы?

Артём повернулся к Лешему и с улыбкой во все тридцать два зуба сказал, что всё замечательно, что он исполнил свою мечту.

Подойдя ближе, Алексей остолбенел...

В руках у Артёма было два мёртвых волчонка, ещё совсем маленьких, а рядом, истекая кровью, лежала волчица, изредка вдыхая воздух из последних сил, и очень тихо скулила. Леший видел в её залитых слезами глазах желание умереть до того, как она увидит смерть своих волчат.

– Ты что наделал, ублюдок!? – сорвался Алексей

– Да ладно тебе, я за это деньги заплатил, считай, купил, считай, они мои, зато какие чучела получаются! Коллеги обзавидуются! – продолжал радоваться Артём.

Алексей хотел накинуться на него и набить морду, но вдруг услышал хруст ветки справа.

Присмотревшись, он заметил в зарослях волка и маленького волчонка рядом с ним. Того самого соседа и оппонента и, как оказалось, отца и мужа... Теперь уже вдовца, убитого горем.

Волк некоторое время смотрел на бездыханные тела членов своей семьи, после чего громко и протяжно начал выть, волчонок подвывал. Словно они провожали убитых родных в лучшие места.

Рация передавала голос взволнованного мэра...

«Я слышу зверя! Он рядом с вами? Ответь мне, чёрт тебя дерни!!!»

– Леший... Стреляй в него, пока он стоит, – шепнул напуганный Артём.

Волк перестал выть и, не издавая не единого звука, начал идти навстречу.

Волчонок остался в зарослях.

Волк подошёл на расстояние двух метров и остановился.

– Стреляй, чего ты ждёшь? – продолжал шептать Артём.

Взгляды волка и лесничего пересеклись, они оба не смогли защитить то, что им было так дорого.

– Убей зверя!! – крикнул Артём.

Волк зарычал, показав яростный оскал, и присел, чтобы напасть...

Лесную тишину пронзил выстрел, эхом отозвавшийся в глубине тайги.

– Леший! Приём! Леший! Отзовись! Зверь мёртв? – орал по рации местный представитель власти.

– Приём... да... мёртв... Второй на прицеле... Им больше нечего бояться... – еле слышно прозвучал голос Лешего из рации.

– Второй?... Есть ещё один? Им? Кому им? Леший! Что у вас, чёрт побери, происходит? – в недоумении продолжал орать мэр, но рация уже молчала.

Лёша сидел возле убитого им самого страшного зверя – в человеческом обличье, а рядом лежали тела невинных животных.

Третий день подходил к концу.

Где-то далеко, в городе, Наталья ждала ответа Алексея, надеясь, что он передумает и вернётся к ней в город, к людям.

А он сидел на земле, в лесу. Напротив стоял волк, к которому прижался волчонок, испугавшийся выстрела.

– Ступай, теперь это твоя тайга, я свой выбор сделал... – сказал лесничий волку.

Волк толкнул волчонка носом и сам пошёл вслед за ним.

Раздался второй выстрел.

По тайге разнёсся громкий и протяжный вой волка и волчонка...

Из тайги никто не вернулся.

# «КАМЕРА-ОБСКУРА»

**ВЕРОНИКА КОВАЛЬ**

## ТАЛИСМАН НЕЛЮБВИ

эссе

«Как знал он жизнь!  
Как мало прожил!»  
Надпись на надгробии Дмитрия Веневитинова  
(строки из его стихотворения)

Почему мне часто приходят на ум строки поэта со странной (так и хочется сказать – *витиеватой*) фамилией? А через них – размышления о его судьбе. Вероятно, потому, что поражает трагическое несоответствие между его короткой внешней жизнью Веневитинова (он прожил неполных 22 года) и его жизнью внутренней – насыщенной, сложной, противоречивой. В нём боролись романтик и критически мыслящая личность; он был наивен, но прозорлив; застенчив, но вёл за собой других. В нём уживались поэтически настроенная душа и трезвая аналитичность философа; непригодность маменькиного сынка и стоицизм в убеждениях. Не говоря уже о том, что он, как никто другой, с пугающей точностью пророчествовал относительно своего метафизического будущего:

*...Душа сказала мне давно:  
Ты в мире молнией промчишься!  
Тебе всё чувствовать дано,  
Но жизнью ты не насладишься.*

Чем больше я узнавала о поэте, тем глубже понимала, сколь относительно понятие *исторического времени*. Юноша, почти мальчик (он родился в 1805 году), из начала XIX века близок мне своими взглядами, попыткой по-своему ответить на вечные вопросы бытия. Больше того, он словно смотрел через окуляр на наше время и ставил ему диагноз.

Мысленно я проходила с юношей по его жизненным дорогам. Обнаружилось любопытное обстоятельство: иногда мы с Дмитрием шагали по одним и тем же улицам, видели одни и те же здания, даже бывали в одних и тех же домах. Нужно было просто подключить воображение, и тогда каменные громады зданий оказывались письмами из минувших эпох. Что ж, наверное, духовная связь между людьми может устанавливаться и *через взгляд*...

Например, здание Московского университета на Моховой. Классически совершенное. Помню трепет, с каким я впервые ступила под его своды, дабы защитить здесь диссертацию по журналистике. Сколько же поколений студентов поднималось по этой широкой парадной лестнице! Вспоминая то время, мне кажется, я вижу среди них высокого, хорошо сложенного юношу, похожего на молодого Байрона. Это Дмитрий Веневитинов, отпрыск богатых московских дворян, получивший прекрасное домашнее образование от лучших умов своего времени.

Юношу влекли история, философия, литература. К нему примкнули однодумцы. Они часами спорили о философских системах Канта, Фихте, Фейербаха, французских мыслителей, строили расплывчатые планы о переустройстве России. Наспорившись власть, молодые люди читали собственные стихи и музицировали. Дмитрий обладал способностями рисовальщика и музыканта, даже исполнял свои композиции (позже у издателей его литературного наследия было намерение сделать к нему приложение в виде рисунков и нот его сочинений, но оно не осуществилось).



Однако ярче всего свои убеждения он высказал в стихах. В них более всего впечатляет несоответствие молодости автора и его умудрённости. По таким качествам он близок только с одним своим современником – Михаилом Лермонтовым.

Веневитинов видел себя литератором, публицистом, критиком. Он упорно трудился. В его стихах юношеская сентиментальность постепенно обретала романтическую окрашенность, насыщалась философским смыслом. На мой взгляд, язык Веневитинова несколько тяжеловесен. Стихи рождаются, как кажется мне, скорее от мысли, чем от спонтанно возникшего впечатления, образа. Но таков уж он!

Всего полсотни стихотворений успел Веневитинов оставить после ухода из брэнной жизни! Но до сих пор есть интерес к его творчеству как к источнику изучения общественной атмосферы той эпохи и к его поэтике.

\*

Вспоминается ещё одно место, самым неожиданным образом приведшее меня к Веневитинову. Много лет назад, прогуливаясь по центру мало знакомой мне Москвы, я оказалась словно в советском фильме пятидесятых годов. Двух-трёхэтажные жилые дома, зелёные лавочки, бельё на верёвке, песчаница. Островок уюта среди холодных громадин... Охваченная ностальгической грустью, я пошла по ведущей вверх мостовой. Внезапно взгляд мой остановился на белокаменном здании, которое хотелось назвать старинными палатами. Среди приземистых домов оно смотрелось, как торт с кремом среди кусков чёрного хлеба. Стены были окаймлены, как мне помнится, красным. Подивившись, щёлкнув фотоаппаратом, пошла дальше. И только недавно, погрузившись в мир поэта, я увидела на снимке здание Московского архива министерства иностранных дел. То самое, что жило в моих воспоминаниях! В этом «шкафу из камня» трудился с 1824 года Дмитрий. Неизвестно, с интересом ли он рылся в исторических документах, зато известно, что он вместе с князем Ф. Одоевским организовал тайное философское «Общество любомудрия». Друзья по университету и новые молодые умы продолжали изучение немецкой классической философии. Но почему – тайное? Видимо, озвучивались там крамольные мысли (не забудем – в канун декабризма). Также Дмитрий принял активное участие в создании журнала «Московский вестник». В это время сформировывается его миропонимание. О нём можно судить по фрагменту одной из его статей. Свою систему взглядов юный мыслитель вложил он в уста великого Платона: «...она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные. Нравственная свобода будет общим уделом; все познания человека сольются в одну идею о человеке; все отрасли наук сольются в одну науку самопознания. Что до времени? Нас давно не станет, – но меня утешает эта мысль. Ум мой гордится тем, что её предугадал и, может быть, ускорила будущее». Высочайший гуманизм!

Веневитинов был, как молодое сильное дерево, которое уже начинало плодоносить. О если бы оно не пало под ледяным ветром рока!

\*

...Много раз я проходила в Москве по Тверской улице и даже заходила внутрь помпезного здания, известного как Елсеевский магазин. В советское время он был рогом изобилия – правда, только для партийной и чиновничьей верхушки. Но в моём воображении он в сумеречном тумане сияет огнями, из окон льётся музыка, подъезжают кареты – одна роскошнее другой. Избранных особ из числа московской знати встречает хозяйка – княгиня Зинаида Александровна Волконская. Она славилась богатством, красотой, талантами. Вокруг неё вился сонм поклонников, она была притчей во языцех тайных недоброжелателей. Её салон, «царство музыки», стал площадкой, где могли продемонстрировать свои таланты поэты, музыканты, артисты, художники. Княгиня без конца давала балы, устраивала концерты, маскарады, живые картины.

«Архивного юношу» привёл в салон его четвероюродный брат Саша. Александр Пушкин. Их тепло приветствовала хозяйка – вся в локонах, шуршащих шелках, с колыхающимся страусовым пером на шляпе. Её живые чёрные глаза светились искренностью.

Дмитрий был ослеплён этой красотой.

Александр представил родственника как служащего архива Министерства иностранных дел, поэта. Хозяйка тут же предложила ему выступить в конце вечера. Улыбаясь, спросила, откуда у Дмитрия фамилия, которую она даже не могла выговорить (Зинаида выросла в Европе и приехала в Россию, не зная ни слова по-русски). Юноша преодолел волнение и объяснил, что ларчик просто открывается: его предки ведут начало из городка *Венёв* Тульской губернии.

Княгиню заинтересовало также место службы гостя. Дмитрий недоумевал, почему. Он ещё не знал, что эта дама высшего света серьёзно занимается исторической наукой, археологией, этнографией, собрала архив бесценных документов, является членом «Общества любителей древностей».

Княгиня сказала, что приготовила им сюрприз. Она подошла к роялю и исполнила романс «Погасло дневное светило» на слова Пушкина. Поэт был польщён. А Дмитрию в самое сердце запало её глубокое, выразительное контральто. А ещё несколько арий из итальянских опер в сопровождении итальянских музыкантов вознесли её в глазах Дмитрия на небеса. Зинаида стала для него богиней, единственной, всеобъемлющей и, как он сам писал, *робкой любовью!*

В девятнадцать лет Веневитинов познал, что такое счастье и что такое страдание.

Человек тонкой душевной организации, он едва ли мог найти свою *Татьяну* на балах и светских раутах. С княгиней же было необыкновенно интересно. Ей тоже был интересен незаурядный юноша. Иногда после службы в храме Симонова монастыря они гуляли по аллеям старых лип, где ветви сплетались над ними в зелёный шатёр, и беседовали о седой старине. Он читал посвящённые ей стихи. Она и сама писала стихи на французском, поэтому могла оценить слог Дмитрия. Но самые горячие свои речи Зинаида посвящала любимейшей Италии. Она заронила в душу юного собеседника мечту побывать в стране солнца, ярких красок и пленительной музыки.

Дмитрий с трепетом ждал каждой встречи. Он был не влюблён – он любил княгиню всем существом, хотел сочетаться с ней браком и уехать в её любимую страну.

А она?

Старше Веневитинова на шестнадцать лет, почтенная супруга князя Никиты Волконского, имеющая сына-подростка, дама высшего света с безупречной репутацией (правда, ходили слухи о её прогулках по Одессе с молодым итальянским художником Микеланджело Барберри)...

Едва ли поэт мог рассчитывать на взаимность. Но он был в плену иллюзий.

Обстоятельства вскоре положили конец встречам. Веневитинову пришлось оторвать себя от родной Москвы. По наиболее распространённой версии, Волконская подыскала ему место в азиатском департаменте Министерства иностранных дел в Петербурге.

Что подвигло княгиню на такое действие?

Искреннее стремление помочь Дмитрию в продвижении по карьерной лестнице? Желание оградить себя от недостойных её слухов? А возможно, ей просто наскучили бесконечные воздыхания милого мальчика, как может наскучить мелодия шарманки.

По другой версии, туда его определили родители, чтобы он занялся серьёзным делом. Там вроде бы маячила перспектива поездки с научной целью на Ближний восток. Но опять-таки: почему она, с её-то связями, не помогла найти достойное место в Москве? Конечно, не нам судить и, тем более, осуждать поступок княгини. Но чувство горечи от фатальных последствий такого решения не проходит...

Итак, в ноябре 1826 года Дмитрий прибыл в Петербург. Это оказалось для него точкой *невозврата*. Интересно, что с этого момента у него обостряется мистическое предвидение своей дальнейшей судьбы. Поразительно точно он моделирует её в стихотворении «К моему перстню». Этот перстень подарила Веневитинову на прощание княгиня. Трудно выбрать более неподходящий дар! Тонкий обугленный бронзовый перстень из раскопок Геркуланума был снят с кости пальца человека, сгоревшего в вулканической лаве. Омертвевшая память. *Знак беды.*

*...Когда же я в час смерти буду  
Прощаться с тем, что здесь люблю,  
Тебя в прощанье не забуду:  
Тогда я друга умалю,  
Чтоб он с руки моей холодной  
Тебя, мой перстень, не снимал,  
Чтоб нас и зрб не разлучал.  
И просьба будет не бесплодна:  
Он подтвердит обет мне свой  
Словами клятвы роковой.*

*Века промчатся, и быть может,  
Что кто-нибудь мой прах встревожит  
И в нём тебя отроет вновь;  
И снова робкая любовь  
Тебе прошепчет суеверно  
Слова мучительных страстей  
И вновь ты другом будешь ей,  
Как был и мне, мой перстень, верный.*

Ах, Петербург! Величавость, классики, торжественность белых ночей, стихия вод, одетых в гранит. Но кто попадал, как я, когда пробиралась из университета в общежитие в Гавани, под ледяное дыхание шторма и колючую снежную крупу, тот зябко поёжится. Наверняка и Дмитрий побаивался суровой застылости Северной Пальмиры. К тому же, он мучительно трудно расставался с Москвой, с друзьями, с любовью.

Уже в пути начались неприятности. При въезде в Петербург их арестовали жандармы и без объяснений препроводили на гауптвахту. Дело в том, что вместе с Вeneвитиновым в карете ехал француз Воше, ранее сопровождавший в Сибирь жену декабриста Сергея Трубецкого, Екатерину. Полиция свирепствовала в поисках приверженцев разгромленного декабрьского восстания. Три дня продержали путников, подвергая унижительным допросам. Они так повлияли на Дмитрия, что он прибыл в столицу совершенно сломленным (свидетельство его психологической хрупкости).

Зима тянулась бесконечно. Дмитрий кашлял, часто ему трудно было дышать. После работы он изучал историю Востока, много читал, начал писать роман «Владимир Паренский». Он тосковал по московской жизни, спрашивал в письмах друзей, по-прежнему ли живёт музыкой салон Волконской. Отрадой были только беседы с товарищами, теми, кто тоже перебрался в столицу.

Перстень (друзья называли его *роковым*) поэт хранил, продев через него цепочку часов. Он сказал близкому другу Фёдору Хомякову, что наденет его или в день венчания (он ещё лелеял надежду, что она ответит взаимностью), или в час кончины.

2 марта в доме Ланских кипел весельем бал. Дмитрий жил во флигеле их дома. Ему наскучили танцы и светские беседы. Накинув форменную шинель, он пробежал под сырým ветром до своей двери. Ночью он горел, как в огне. Началось жесточайшее воспаление лёгких. Увы, антибиотиков в те времена не было. Больной почти всё время был в забытьи. Доктор сказал Фёдору, который неотлучно был при друге, что надежды нет. Тогда Хомяков снял с цепочки перстень и стал надевать его на безымянный палец Дмитрия. Тот встрепенулся, открыл глаза и спросил: «Что, я уже венчаюсь?».

Это были его последние слова в день кончины 27 марта 1827 года.

Гроб перевезли в Москву и предали земле на кладбище Симонова монастыря. Проводить Вeneвитинова в последний путь пришли Александр Пушкин, Адам Мицкевич, верные друзья. Княгини Волконской среди них не было.

Теперь возвращусь к строчкам стихотворения «К моему перстню»:

*Века прамятся, и быть может,  
Что кто-нибудь мой прах встревожит  
И в нём тебя отроет вновь...*

Мистическое озарение, не иначе! Такое случается с великими поэтами. Но чаще всего их предвидение касается духовного бессмертия («...не застёт народная тропа» – А. Пушкин). Здесь же речь о конкретном факте того, что в медицине называют «экстумация». И относительно исторического времени: поэт скончался в 1827 году, прах его «потревожили» в 1930. Ровно век спустя.

Разгул атеизма стёр с лица земли Симонов монастырь. Захоронение Вeneвитинова с монастырского кладбища решено было перенести на Новодевичье. Когда останки извлекли, на пальце обнаружили обугленный перстень. Супруга одного из инженеров Мария Барановская передала его в Литературный музей, где он и хранится.

Вандалы взорвали монастырь, в котором обращали свои помыслы к Господу лучшие люди той эпохи. Они хотели отсечь прошлое, выжечь калёным железом!

Однако память взорвать нельзя. В ней навсегда останутся те, кто творил *для человечества*. Останутся юноши с чистыми мыслями и светлыми устремлениями. Грустно, что многие из них уходят на взлёте...

# «СЕТЧАТКА»

## НАТАЛЬЯ ТРУБЕЦКАЯ

«ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ, ТРУДОВ И ВДОХНОВЕНЬЯ»:  
к неизвестным страницам биографий представителей рода Пушкиных,  
стоявших у истоков создания Санатория «Узкое»  
и легендарной «Республики Санузия»

«Республика Санузия» («Санта-Узкое») — «Республика ученых»



*Группа отдыхающих Санатория «Узкое» ЦЕКУБУ, 1922 г.  
АРАН. Ф. 311. Оп.1а. Д. 121. Л. 79.*

В мае 2022 года исполнится 100 лет со дня создания санатория «Узкое» (ЦЕКУБУ, КСУ, АН СССР, РАН, ФНКЦ РР), в пространстве которого в 1920-е начале 1930-х гг. существовала и процветала легендарная «Республика Санузия» («Санта-Узкое», «Сануз»). «Республика» не появилась из ниоткуда, и не являла собой просто банальное *«шуточное государство, организованное временными жителями Узкого»*<sup>1</sup>. Всё было гораздо глубже и значительнее и в самой идее её создания, и в том потенциале, который несло в себе удивительное интеллектуальное содружество «санузских граждан», среди которых были как поистине выдающиеся представители российской и мировой науки, искусства, культуры, так и молодые дарования, которым посчастливилось формировать свой научный или творческий путь в поистине блестящем окружении.

В своём повседневном взаимодействии, в том необыкновенно многогранном: от строго научного, до искромётно шуточного, диалоге – граждане «Республики Санузия» воплощали идею «Республики

учёных» – государства, не отмеченного ни на одной географической карте, адептами и деятельными участниками которого в конце XVI – первой половине XVII вв. были великий Рене Декарт и лучшие умы того времени: учёные, философы, естествоиспытатели, инженеры, писатели, медики<sup>2</sup>. В веке XIX-м и первой половине века XX-ого мы обращаемся к идеям, которыми была проникнута деятельность и петербургского Вольного общества любителей российской словесности (ВОЛРС; 1816-1826), называемого самими «соревнователями» не иначе как «Учёная республика»<sup>3</sup>, и 120-летняя история существования московского Общества любителей российской словесности (ОЛРС; 1811-1930)<sup>4</sup>.

Говоря о тех идеях, которые питали лучшие умы российской интеллигенции в XIX веке, В.Г. Базанов указывает на Вольное общество любителей российской словесности, деятельность которого была неразрывно связана с именем Пушкина – этот факт будет важен для нас. При этом в работах ВОЛРС нашли широкое отражение и научные интересы того времени. По самой же сути своей «Учёная республика», «при господстве в ней настроений гражданских, стремилась к утверждению союза политики, поэзии и науки»<sup>5</sup>.

Деятельность Московского Общества любителей российской словесности при Московском университете всецело была направлена на развитие русского просвещения, литературы и культуры. Будучи первопроходцем в целом ряде начинаний: организации литературных выставок, позволивших сохранить многие потенциальные музейные экспонаты; проведении литературно-музыкальных вечеров, быстро ставших неотъемлемой частью культурного досуга; создании памятников отечественным писателям и др. – ОЛРС удалось создать ту благодатную почву, на которой суждено будет произрастать и совершенствоваться талантам, стать уникальной питательной средой, не только для элитного общества избранных, но «для всех желающих прикоснуться, познать русскую литературу, её историю»<sup>6</sup>.

Первым директором санатория «Узкое» становится Константин Александрович Константинович (1869-1924), который по роду Константиновичей являлся двоюродным братом великого учёного, академика Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945) и находился в ближайшем родстве с выдающимся пушкинистом, генеалогом, одним из создателей Пушкинского дома Борисом Львовичем Модзалевским (1874-1928). Супругой же Константина Александровича и полноправной хозяйкой «Узкого» была Вера Анатольевна Константинович, урождённая Пушкина (1872-1941) – внучатая племянница Александра Сергеевича Пушкина, внучка его младшего брата и литературного секретаря, надворного советника Льва Сергеевича Пушкина (1805-1852).

Последние десять лет жизни Льва Сергеевича и его супруги Елизаветы Александровны Пушкиной (ур. Загряжская; 1821-1895), приходившейся родственницей Наталье Николаевне Гончаровой (Пушкиной), были связаны с Одессой. И неудивительно, что этот прекрасный город, в котором в своё время и сам великий А.С. Пушкин провёл более года своей жизни (1823-1824), всегда был дорог сердцу членов Пушкинской семьи, – фотография совсем ещё юной Веры Пушкиной, сделанная в Одессе в конце 1880-х – начале 1890-х годов, является важным тому подтверждением.



*Фотопортрет Веры Анатольевны Константинович (ур. Пушкиной). Одесса, кон. 1880-х – нач. 1890-х гг.  
Литературный музей ИРАИ РАН. Инв. № 6906.*

Именно этой прекрасной паре, Константину Александровичу и Вере Анатольевне Константинович (Пушкиной), с самых первых дней существования санатория «Узкое» удалось создать здесь, выражаясь вдохновенными пушкинскими строками, *«прият спокойствия, трудов и вдохновенья»*, аккумулировать вокруг себя представителей научной и художественной интеллигенции, чей неиссякаемый потенциал воплотился в разноплановой и яркой жизни «Республики Санузия», или «Санта-Узкое»<sup>7</sup>, как она называлась изначально. И, конечно, отнюдь не случайно в качестве первого «главы» «Республики» мы видим выдающегося литературоведа, академика Павла Никитича Сакулина<sup>8</sup> (1868-1930), с 1922 по 1930 годы возглавлявшего ОЛРС. В этот период именно ОЛРС «стояло у истоков фундаментального изучения наследия А.С. Пушкина»<sup>9</sup>.

Как это ни парадоксально, судьбы Константина Александровича и Веры Анатольевны Константинович долгое время оставались вне исследовательского поля не только историков, но и пушкинистов. В рамках данной статьи, обращаясь к истокам создания Санатория «Узкое» и существовавшей в его пространстве удивительной «Республики», основываясь на вновь выявленных архивных документах, мы попытаемся реконструировать неизвестные ранее страницы жизни и профессиональной деятельности личностей, чьи имена навсегда вписаны в историю ставшего теперь уже легендарным Санатория.

### Общество «Бодрая жизнь» и «Школа Радости»: предтеча Санатория «Узкое» по воспоминаниям В.Д. Пришвиной

*«Искавшие смысла больше чем хлеба...»*

*Валерия Пришвина*



*Павлов Иван Николаевич (1872-1951). «Узкое». Балкон. 1920 г. (из частной коллекции)*

История Санатория «Узкое» берёт начало с 1922 г., когда бывшая Усадьба князей Трубецких (последних владельцев) была передана Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ, ЦКУБУ)<sup>10</sup> для организации в этом пространстве здравницы.

Однако прежде чем обратиться к истокам создания Санатория «Узкое», где на протяжении десятилетий будут сочетать отдых и интеллектуальный труд «аборигены всех наук»<sup>11</sup>, приоткроем малоизвестную на сегодняшний день страницу его истории, отражённую в воспоминаниях Валерии Дмитриевны Пришвиной<sup>12</sup> (ур. Лиорко; 1899-1979; супруга писателя М.М. Пришвина) – это история «Узкого» как пространства, в котором в 1919-1920 годах существовала небольшая коммуна (своего рода санаторий) *«для детей без различия их возраста, пола, происхождения, детей, погибавших от государственной разрухи»*<sup>13</sup>.

Осенью 1919 года двадцатилетняя Валерия Лиорко получит здесь место воспитательницы, и переедет в «Узкое» вместе с матерью Наталией Аркадьевной (отец – подполковник Дмитрий Михайлович



Лиорко – был расстрелян большевиками в 1918 г.), в те катастрофически тяжёлые годы это станет для них настоящим спасением.

Каким же предстаёт перед нами «Узкое» 1919 года, увиденное глазами совсем ещё молодой, но необыкновенно целеустремлённой во всех своих начинаниях девушки, у которой именно в этом пространстве зародится идея создания детской «Школы радости»:

*«Длинная аллея золотых осыпавшихся лиственниц вела мимо церкви и кладбища с родовыми княжескими могилами к дому. В одном из крыльев, соединявшихся с центральным зданием крытыми галереями, поселились дети и весь персонал санатория... Узкое было ещё недавно одним из центров культурной жизни Москвы. Оно принадлежало Петру Николаевичу Трубецкому, предводителю московского дворянства. Его братьями были известные философы – профессора Московского университета Сергей и Евгений. В этом доме скончался недавний властитель дум московской молодежи Владимир Сергеевич Соловьёв. Всё здесь говорило о богатой и внезапно оборвавшейся жизни просвещённых русских аристократов.*

*В столовой ещё стояли стулья, обитые красным сафьяном, на их спинках вытеснен герб Трубецких. Ещё висело на стене меню приёма хозяевами Николая II, оформленное рукой Васнецова. Ещё не была увезена в музей из залы перво-классная скульптура двух мальчиков Трубецких работы Паоло Трубецкого. В библиотечной комнате высились до потолка и поблескивали стёклами книжные шкафы. Они были заперты ещё рукой хозяев. Заманчиво проглядывали ровные корешки переплётов. Шкафы эти ещё никто не осмелился открыть. Здесь же висела фотография Владимира Соловьёва с иконописной головой в длинных волосах»<sup>14</sup>.*

Именно в «Узком» произошло соприкосновение Валерии с великим мыслителем и его идеями – она слышала о Владимире Соловьёве, но не прочла до того момента ни одной его строки, теперь же философ станет одним из духовных наставников девушки. Покидая через год «Узкое», она заберёт из библиотеки фотографию Соловьёва и будет хранить её в течение всей своей жизни.

Но вернёмся к описанию Валерией Дмитриевной бывшей усадьбы Трубецких, которая в 1919 г. станет для неё домом и потенциальным пространством мыслимой ею «Школы радости»: *«За домом была стеклянная оранжерея, в которой росли персиковые деревья. Жил ещё старик-садовник. Он, как оглушённый, по инерции двисался по оранжерее, что-то обфезал и подвязывал, мелькая за разбитыми стёклами, и заметно было, как он старается не попадаться на глаза новым хозяевам. Перед домом ещё видна была поляна с заброшенными клумбами. За нею виднелась цепочка искусственных прудов.*

*Зиму жили в отапливаемом крыле здания, а к весне открыли широкие двусторчатые двери центрального корпуса, и среди драгоценной барской мебели замелькали одинаково стриженные головки мальчиков и девочек, уравнённых общей бедой. На ногах у детей вместо чулок были белые вязевые мешочки, подвязанные тесёмками под коленом. Колени торчали голые и посинелые от холода. Но дети, привезённые сюда умирающими, теперь здоровели и веселели». Молодая воспитательница «мало чем отличалась от них, она тоже плыла по волне, несущей её вместе с ними снова в жизнь. Всё время она проводила со своими воспитанниками, которым отдавалась со всей щедростью молодости. Впрочем, так жили в Узком все члены этой внезапно образовавшейся огромной семьи: они чувствовали себя здесь как на острове и радовались своему спасению. У них была пища, которую отрывала от себя и присылала голодная Москва; они сами топили огромные кафельные печи запасами княжеских дров, сами шили нехитрую одежду ребятишкам, поправляющимся и оживающим на глазах, как растения от поливки»<sup>15</sup>.*

По признанию Валерии Дмитриевны, в «Узком», через прочтение Соловьёва и благодаря реальному, живому общению с удивительно яркой личностью, Ольгой Александровной Немчиновой (также работала в санатории воспитателем), она познала *«глубину и богатство родного языка, поэзии и природы... впервые приобщилась к глубокой родной культуре»*. В этой благодатной ауре пребывали и жившие в этом пространстве дети. При их непосредственном участии две эти прекрасные женщины создают в «Узком» общество «Бодрая жизнь», как некую прамбулу задуманной Валерией Лиорко «Школы радости». Лозунгом «Бодрой жизни» становятся переведённые строки Виктора Гюго:

*Будь бодрым, будь смелым, будь честным всегда,  
В пленительной смене любви и труда.*

Пока ещё свободное от обязательных программ и контроля Общество дышало любовью и свободным творчеством, ибо кому тогда *«в Москве было дело до кучки детей и взрослых, спасавшихся от смерти где-то на отшибе?»* – констатировала в своих воспоминаниях Валерия Дмитриевна. Давая детям основы необходимых знаний, воспитатели старались создать для них атмосферу родной семьи, – Валерия Лиорко была для маленьких членов «Бодрой жизни» не просто педагогом, но старшей подругой, готовой делиться с ними своими планами и находками, мечтами и сомнениями. При этом дети и сами становились частью воспитательного и творческого процесса: старшие заботились о младших, все вместе сочиняли и ставили пьесы, на представление которых приглашали детей из соседних деревень.

Судьбе будет угодно, чтобы через год В.Д. Лиорко вместе с несколькими своими воспитанниками покинула этот «овеванный духом философии» дом и продолжала попытки «возведения» «Школы радости»

в другом пространстве. «Узкое» же останется в её сердце навсегда, а бесценные воспоминания станут одним из интереснейших источников по истории этого удивительного места.

Детское общество «Бодрая жизнь» и «Школа радости» в овеянном духом философии и свободного творчества доме, где по вечерам воспитатели читали детям стихи великих классиков русской поэзии, – как это символично для первых страниц жизни «Узкого», которое волею судьбы не было сметено с лица земли после Октябрьского переворота 1917 года, как многие дворянские усадьбы. При всём трагизме ситуации «Узкое» открывало новую страницу своей истории, и существовавший здесь короткое время маленький детский санаторий становится своего рода предтечей легендарного санатория «Узкое», которому в 2022 году исполнится сто лет. Откроем же эту страницу.

### «УЗКОЕ» – Первый Санаторий ЦЕКУБУ

23 декабря 1919 года Совнарком РСФСР принял постановление «Об улучшении положения научных специалистов», в январе 1920 года создаётся специальная Петроградская комиссия по улучшению быта учёных (Петркубу), чуть позже приступает к работе Комиссия в Москве (Москубу)<sup>16</sup>.

10 ноября 1921 года вышло постановление СНК о «назначении Постоянной Комиссии для всестороннего обследования и улучшения быта учёных... с подчинением ей работы Московской и Петроградской Комиссий»<sup>17</sup>. Председателем был избран Артемий (Арташес) Баградович Халатов (1894-1938), на тот момент член коллегии Наркомата по продовольствию (Наркомпрода), председатель Межведомственной комиссии по рабочему снабжению при Наркомпрод, – именно в его руках были сосредоточены рычаги распределения продовольствия в масштабе РСФСР.



Халатов Артемий Баградович (1894-1938)

По воспоминаниям современников, Артемий Баградович на протяжении своей жизни «с равным успехом занимался столь разительными непохожими делами, как продовольственное снабжение и железнодорожный транспорт, он возглавлял Всесоюзное общество изобретателей и Издательство художественной литературы, был инициатором множества самых разных и нужных дел, в том числе и народного питания... По внешнему виду его можно было принять за библейского пророка: длинные, чёрные как смоль волосы свисали ниже плеч, чёрная окладистая борода закрывала грудь. Только по мятой папаше, которую, как шутили у нас, он не снимал даже ночью, да по кожаной куртке можно было сказать, что Халатов „нашенский“»<sup>18</sup>.

В своё время Максим Горький в одном из писем, адресованных Халатову, назовет его не иначе, как «неутомимым пестуном и „кормилцем“ учёных». «Вы навсегда связали Ваше имя с ЦЕКУБУ, и я уверен – писал Горький – что будущий историк русской новой культуры, творимой в России, расскажет о Вашей работе с тем



удивлением, с той благодарностью, которые Вами неотрицаемо заслужены. Так как я знаю эту Вашу работу, я уверен, что говорю о ней безошибочно... какой Вы А<ртёмий> Б<асратович> прекрасный работник, какой хороший человек»<sup>19</sup>.

Итак, с 10 ноября 1921 г. под руководством А.Б. Халатова ЦЕКУБУ начинает работу. Одной из важнейших задач, которую ей предстояло решить, была организация отдыха учёных, а также деятелей культуры и искусства. В своём докладе на заседании Комиссии 18 июня 1922 года А.Б. Халатов констатировал, что уже в первый месяц своего существования ЦЕКУБУ в качестве первоочередных и неотложных выдвинула задачу устройства домов отдыха и санаториев, первым из которых был открыт дом отдыха (санаторий)<sup>20</sup> «под Москвой в имении Узком». Первоначально санаторий назывался просто «Подмосковным», предполагалось его круглогодичное функционирование для 40-50 человек, с предельным сроком пребывания – один месяц<sup>21</sup>.

Первые отдыхающие приезжают в санаторий 22 мая 1922 года, а приступившая к работе 15 мая того же года Санаторная комиссия, регламентируя порядок помещения в здравницу и детали самого процесса заезда, предписывала, в частности, следующее (п. 6 и 8): «зачисленные в санаторий обязательно берут с собой постельное бельё и полотенца; желательны одеяло»; отправка «первой партии» назначалась «на 11 часов 22/5, с Красной площади, у памятника Минина и Пожарского»<sup>22</sup> – так начиналась история санатория «Узкое».

Ярчайшей страницей этой истории станет легендарная «Республика Санузия» – удивительное интеллектуальное и творческое содружество деятелей науки, культуры и искусства, во взаимодействии которых в разных аспектах воплощалась идея «Республики учёных». Наряду с этим, как справедливо отмечал академик Евгений Петрович Чельшев (1921-2020), в течение многих лет отдыхавший в «Узком», «такого рода „игра“ взрослых интеллигентных людей во времена „диктатуры пролетариата“ помогла хоть ненадолго выйти из замкнутого круга унылых стереотипов идеологизированной жизни»<sup>23</sup>.



Милорадович Сергей Дмитриевич (1851-1943). Отдыхающие Санатория «Узкое» в пространстве Большой гостиной, 1924 г. (картина из частной коллекции)

В статье историка-архивиста Н.С. Зелова, опубликованной в 1977 году на страницах журнала «Вопросы истории»<sup>24</sup>, в сильно урезанном по сравнению с первоначальной версией виде, но сохранившейся в полном объеме в фондах ГАРФ<sup>25</sup>, представлена информация о создании, структуре и основных видах деятельности ЦЕКУБУ. Как отмечает сам автор, причина, по которой заказанная редакцией журнала «Вопросы истории» статья, в объеме 24 машинописных страницы, была опубликована существенно сокращённой (12 маш. стр.), заключалась в протесте, который выразил «ряд учёных – специалистов по военной истории, востоковедов... мотив: рабочие голодали в первые годы Советской власти, об учёных же была проявлена исключительная забота...»<sup>26</sup>.

Так, применительно к нашей теме, в опубликованной статье лишь малым штрихом обозначен вопрос организации отдыха учёных, создания здравниц на базе ЦЕКУБУ, тогда как в исходном варианте

исследователь уделяет данному вопросу более пристальное внимание. В частности, говоря о реализации поставленной перед ЦЕКУБУ задачи по созданию условий для отдыха научных работников, Н.С. Зелов указывает на то, что «активное участие в организации первых здравниц для работников умственного труда», наряду с наркомом здравоохранения Н.А. Семашко и доктором медицины, членом экспертной комиссии ЦЕКУБУ В.М. Броннером, принимал К.А. Константинович, первый директор первой здравницы ЦЕКУБУ «Узкое»<sup>27</sup>.

Таким образом, первым санаторием ЦЕКУБУ становится «Узкое», а его первым директором, и не просто директором, а человеком, который, как отмечает Н.С. Зелов, был одной из трёх важных фигур, стоявших у истоков создания самой санаторной системы ЦЕКУБУ, – Константин Александрович Константинович. Вместе с ним, как отмечалось выше, хозяйкой санатория в полной мере можно считать и его супругу – Веру Анатольевну Константинович (Пушкину).

Леонид Леонидович Сабанеев (1881-1968), композитор и музыкальный критик (покинул Россию, с 1926 г. жил во Франции), так описывал свои впечатления от встречи с этой парой в 1922 году: «... что касается до самого „Узкого“, то это был настоящий „кусок старого мира“... Встретившие нашу группу отдыхающих заведующие домом – чета Константинович – уже совсем перенесли нас в прошлую Россию: он – бывший губернатор, она – внучка Пушкина. Стало совсем уютно»<sup>28</sup>.



Санаторий «Узкое» ЦЕКУБУ, 1922 г. Слева направо: академик А.П. Павлов (1854-1929), В.А. Константинович (Пушкина), академик М.В. Павлова (1854-1938), К.А. Константинович.  
АРАН. Ф. 311. Оп.1а. Д. 121. Л. 131.

До недавнего времени пусть и небольшую, но практически единственную информацию о первом руководителе санатория «Узкое» и его супруге мы черпали из воспоминаний выдающегося учёного, двоюродного брата К.А. Константиновича, академика В.И. Вернадского. В частности, Вернадский пишет о том, что брата видел только студентом, называет его баловнем семьи и «белоподкладочником», при этом констатирует, что именно Константинович являлся «первым директором и инициатором Узкого», оставившим «после себя самые лучшие воспоминания». Здесь же, в «Узком», в 1924 году завершился жизненный путь Константина Александровича. Место захоронения на кладбище при храме Казанской иконы Божией Матери в «Узком» сохранялось до 1937 г. – в этот год, – пишет Вернадский, – могильная плита была выброшена. Вдова – Вера Анатольевна и дочь, по словам Вернадского, остались жить в Москве. О дальнейшей их судьбе никакой информации Владимир Иванович не приводит<sup>29</sup>.

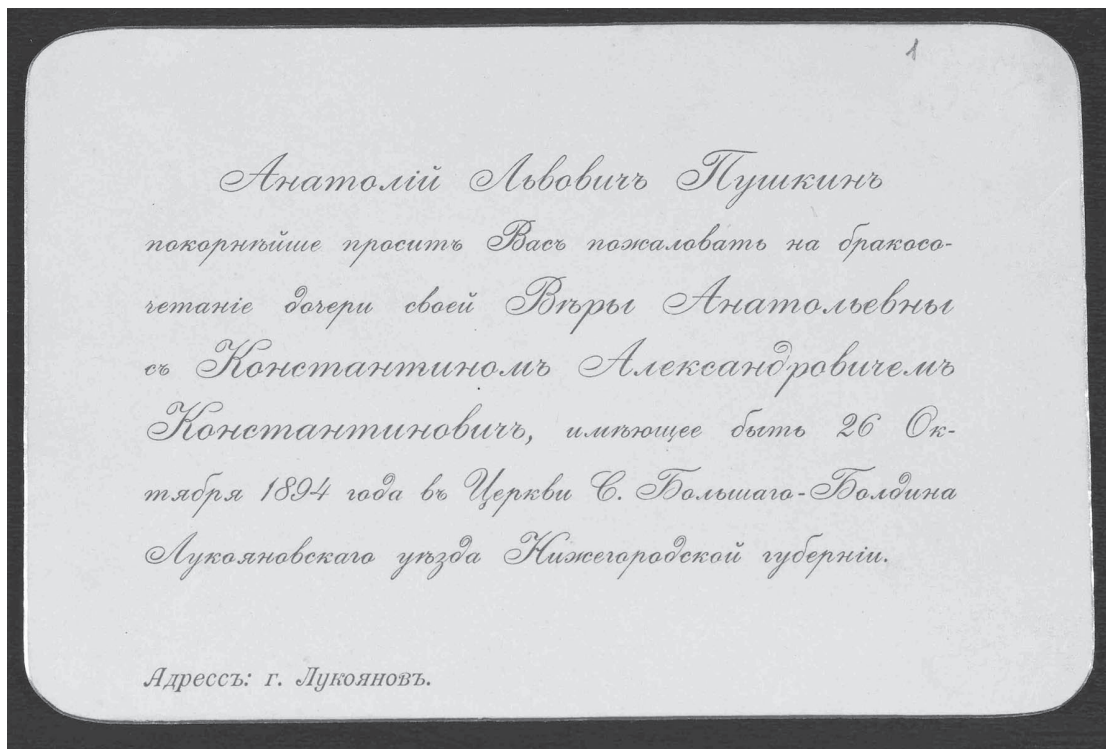
#### К неизвестным страницам жизни и деятельности К.А. Константиновича и В.А. Константинович (ур. Пушкиной)

Константин Александрович Константинович родился 19 января 1869 года в одном из сёл Золотоношского уезда Полтавской губернии в семье Александра Петровича Константиновича (1832-1903, генерал-лейтенант, бессарабский губернатор) и Софьи Антоновны Константинович (ур. Ильященко, 1840-1896). Получил юридическое образование – кандидат права. До Октябрьского переворота

1917 года – неперемный член «Уфимского губернского по крестьянским делам присутствия», управляющий Контрольной палатой в городе Пензе. После 1917 года занимал посты заведующего финансово-контрольным подотделом продовольственного отделения Моссовета и заведующего плановой частью Управления распределения Наркомпрода<sup>30</sup>.

Иными словами, К.А. Константинович, ещё до ЦЕКУБУ, работал под началом А.Б. Халатова, и можно допустить, что последний, оценив деловые качества и «пушкинское» окружение Константина Александровича (это было немаловажно для создания нужной атмосферы в пространстве пребывания цвета российской интеллигенции), рекомендовал его на должность руководителя первого санатория ЦЕКУБУ.

Вера Анатольевна Пушкина появилась на свет 27 мая 1872 года в селе Большое Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губернии<sup>31</sup>, в семье племянника Александра Сергеевича Пушкина Анатолия Львовича Пушкина (1846-1903) и Ольги Александровны Пушкиной (ур. Александровой; 1852-1884). Среднее образование получила в частной гимназии Марии Николаевны Стоюниной<sup>32</sup>. 26 октября 1894 года в церкви Успения Божией Матери в Болдино состоялось бракосочетание Веры Анатольевны и Константина Александровича.



*Пригласительный билет от имени А.А. Пушкина на бракосочетание его дочери В.А. Пушкиной с К.А. Константиновичем 26 октября 1894 г. в церкви с. Большое Болдино.*

*Рукописный отдел ИРЛИ РАН. Ф. 244. Оп. 20. № 110*

С этого момента и до 1924 года, по словам самой Веры Анатольевны, она находилась на иждивении мужа, занималась домашним хозяйством и воспитывала детей<sup>33</sup>. В браке родилось две дочери: Софья (1895) и Кира (1898). Информация о Софье на сегодняшний день практически отсутствует. Судя по всему, после большевистского переворота она покинула Россию, и о её дальнейшей судьбе родители ничего не знали. Кира (в замужестве Радикевич<sup>34</sup>) была рядом с матерью, однако так и нереализованное в итоге желание вырваться из советской России не покидало её. Забегая вперёд отметим, что об этой ситуации и своей душевной боли, связанной с беспокойством за будущее дочерей, Вера Анатольевна сообщала в одном из писем Б.Л. Модзалевскому в ноябре 1927 года: «Всё это время живу на нервах потому что Кира хлопочет о выезде. Два раза ей отказали, но она упорно добивается своего. Я делаю всё, чтобы ей помочь – хотя её отъезд будет для меня ужасен. Я останусь совершенно одна и боюсь, что повторится история старшей дочери. Уедет и больше я её никогда не увижу. Тяжело, но я должна пройти и через это испытание и смириться лишь бы Кира была счастлива»<sup>35</sup>.

К.А. Константинович был назначен на должность заведующего Подмосковным санаторием 21 апреля 1922 года<sup>36</sup>. После его фактического открытия, в мае 1922 года, Константин Александрович, Вера Анатольевна и находившаяся на их иждивении дочь Кира, постоянно жили в «Узком», при этом по роду службы не менее двух раз в неделю Константинович выезжал в Москву<sup>37</sup>.



*Группа отдыхающих Санатория «Узкое» ЦЕКУБУ, 1922 г.*

*К.А. Константинович – сидит в центре, В.А. Константинович (Пушкина) – стоит первая слева во втором ряду.  
АРАН. Ф. 311. Оп.1а. Д. 121. Л. 132.*

Трогательные и наполненные необыкновенным теплом строки о чете Константиновичей оставила в своих воспоминаниях Анастасия Ивановна Цветаева (1894-1993), отдыхавшая в «Узком» зимой 1924 года: «Как давно это было! Помнится, – в 1924 году... те зимние дни в доме отдыха ЦКУБу „Узком“, в бывшем имении Трубецких... помню отлично... И нельзя не упомянуть добром кого-то, кто в Главнауке распорядился для нас в „Узком“ поставить во главе наших дней эту чету пожилых людей, – их имена, отчества и фамилии, я теперь, 60 лет спустя, увы, позабыла, но которых мы все, при них жившие, за душевность и ум их никогда не забудем; за то, как они скрасили всем нам жизнь в краткие сроки отдыха – тогда полагалось 30 дней в этом старом доме, людям часто одиноким и переутомленным... Воссоздавали нам почти домашний, у многих в Москве тех лет, отсутствующий уют... С какой просьбой ни обратиться к ним, – всё будет исполнено, давая забыть неприглядность быта тех лет..., напряжённый труд, усталость...»<sup>38</sup>.

Внезапная смерть Константина Александровича разделила жизнь его семьи на до и после: «муж мой... умер 4 февраля 1924 г. на службе, в должности Заведующего Санатория „Узкое“ при исполнении служебных обязанностей от разрыва сердца» – напишет в своей автобиографии Вера Анатольевна<sup>39</sup>.

14 февраля 1922 года последовало постановление ЦЕКУБУ:

«1. Принимая во внимание продолжительную, полезную и добросовестную службу покойного К.А. Константиновича и необеспеченность его семьи, признать необходимым выдать в порядке особого исключения, последней пособие в размере полугодового оклада содержания, получавшегося покойным из хозяйственных сумм Кооператива.

2. Предоставить работу вдове покойного В.А. Константиновича в одном из учреждений Цекубу»<sup>40</sup>.

В соответствии с Приказом по Управлению делами ЦЕКУБУ от 18-го февраля 1924 года В.А. Константинович была зачислена на службу в ЦЕКУБУ в должности заведующей Домом престарелых учёных с 15-го февраля 1924 года<sup>41</sup>. Дочь – Кира Константиновна Радикевич, согласно справке, датированной 26 марта 1924 года, находилась на иждивении матери<sup>42</sup>.

Таким образом, следующие шесть лет жизни Веры Анатольевны будут наполнены заботами о пожилых, одиноких, оставшихся без средств к существованию научных работниках и вдовах профессоров – к слову, последние в этих стенах составляли явное большинство. При этом связь с «Узким» не будет прервана, ибо созданный в 1922 году в Москве Дом престарелых учёных (ДПУ) с 1923 года входил в систему ЦЕКУБУ<sup>43</sup>, и некоторые «граждане» «Республики Санузния», в частности: Милий Фёдорович Достоевский (1884-1937, внучатый племянник Ф.М. Достоевского, выдающийся учёный-востоковед, арабист, специалист по древнерусскому искусству) и Клавдия Валентиновна Плеханова (1866-1946, сестра Г.В. Плеханова



и М.В. Плехановой – матери Н.А. Семашко, одна из первых женщин библиотекарей в России) – станут подопечными В.А. Константинович в Доме престарелых.

Датированное 19 января 1930 года письмо, подписанное, в том числе, М.Ф. Достоевским и К.В. Плехановой (всего 19 подписей), стало реакцией на уход Веры Анатольевны со своего поста по состоянию здоровья. Строки письма проникнуты трепетной любовью и благодарностью к удивительной женщине, ставшей для этих зачастую беспомощных, больных, пожилых людей ангелом хранителем:

*«...Как громом поранило нас сегодня известие об уходе от нас нашей дорогой Веры Анатольевны... За 6 лет, проведённых у нас Верой Анатольевной, мы горячо полюбили её и никогда не забудем её сердечную доброту, постоянную заботливость её о всех наших нуждах, которую мы, престарелые и беспомощные, особенно ценим; её удивительный такт и неутомимую энергию, с какой она исполняла свои сложные обязанности, не щадя своих сил.*

*Мы надеялись, что не расстанемся с ней до конца нашей, теперь уже недолгой, жизни; но наша надежда, к несчастью, не осуществилась, и нам остаётся только, храня в наших сердцах благодарную память о Вере Анатольевне, горячо желать ей успеха и благополучия на ожидающем её новом жизненном пути. Вместе с нашими сожалениями, если уход её бесповоротен, примите нашу признательность за эти 6 счастливых для нас лет...»<sup>44</sup>.*

В соответствии с Приказом по Управлению делами ЦЕКУБУ от 24 декабря 1929 г., В.А. Константинович, согласно личного заявления, была уволена с должности заведующей Домом для престарелых учёных с 1-го января 1930 года<sup>45</sup>.

На сегодняшний день о «новом жизненном пути» Веры Анатольевны Константинович (Пушкиной) нам практически ничего не известно. За исключением не подтверждённой пока какими-либо документальными материалами информации о времени её ухода из жизни – 1941 год, и месте захоронения – Ваганьковское кладбище. Но научно-исследовательская работа не стоит на месте, и мы, лишь слегка прикоснувшись к неизвестным страницам биографий представителей рода Пушкиных, стоявших у истоков создания Санатория «Узкое» и легендарной «Республики Санузия», в скором времени представим заинтересованной аудитории новые материалы, заполняющие лакуны в истории семьи Великого Поэта.

В заключение хотелось бы адресовать слова благодарности моему супругу А.В. Трубецкому за ту многогранную помощь, которая неизменно присутствует в нашей совместной научно-исследовательской работе.

*Трубецкая Наталья Александровна,  
кандидат исторических наук*

#### Примечания:

<sup>1</sup> Коробко М.Ю. Усадьба Узкое (Усадьбы, дворцы, особняки Москвы). М., 2013. С. 64.

<sup>2</sup> Подробнее см.: Ляtkер Я.А. Декарт. М., 1975.

<sup>3</sup> Подробнее см.: Базанов В.Г. Учёная Республика. М.-Л., 1964.

<sup>4</sup> Подробнее см.: Клеймёнова Р.Н. Общество любителей российской словесности. 1811-1930. М., 2002.

<sup>5</sup> Базанов В.Г. Учёная Республика. М.-Л., 1964. С. 3, 4, 56.

<sup>6</sup> Клеймёнова Р.Н. Общество любителей российской словесности. 1811-1930. М., 2002. С. 3.

<sup>7</sup> Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1999. Т. 9. Письма: 1918-1938 / Сост. И.Н. Виноградская, Е.А. Кеслер, комм. И.Н. Виноградская, З.П. Удальцова. С. 49.

<sup>8</sup> Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1999. Т. 9. Письма: 1918-1938 / Сост. И.Н. Виноградская, Е.А. Кеслер, комм. И.Н. Виноградская, З.П. Удальцова. С. 47.

<sup>9</sup> Клеймёнова Р.Н. Общество любителей российской словесности. 1811-1930. М., 2002. С. 481.

<sup>10</sup> С мая 1931 г. преобразована в КСУ – Комиссию содействия учёным (1931-1937).

<sup>11</sup> Архив Санатория «Узкое» ФНЦ РР. «Красная книга». С. 176 (строка стихотворения, написанного в «Узком» поэтом А.И. Безыменским 18.01.1957 г.).

<sup>12</sup> Пришвина В.Д. Невидимый град. М., 2003.

Электронный ресурс. URL: [https://royallib.com/book/prishvina\\_valeriya/nevidimiy\\_grad.html](https://royallib.com/book/prishvina_valeriya/nevidimiy_grad.html)

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Зелов Н.С. ЦЕКУБУ // Вопросы истории. 1977. № 3. С. 201.

<sup>17</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.

<sup>18</sup> Каневский Е. Марголин Л. У истоков советской торговли. М., 1971. С. 161-162.

<sup>19</sup> Горький М. и советская печать. Архив А.М. Горького. Т. 10. Кн. 1. М., 1964. С. 90.

<sup>20</sup> В документах, относящихся к одному периоду, «Узкое», как первая здравница ЦЕКУБУ, называется и домом отдыха, и санаторием.

<sup>21</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 34.

<sup>22</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 29. Л. 12.

<sup>23</sup> Чельшев Е.П., Коробко М.Ю. Усадьба Узкое и Владимир Соловьёв. М., 2012. С. 16.

<sup>24</sup> Зелов Н.С. ЦЕКУБУ // Вопросы истории. 1977. №3. С. 201-204.

<sup>25</sup> ГАРФ. Ф. 9577. Оп.1. Д. 82.

<sup>26</sup> ГАРФ. Ф. 9577. Оп.1. Д. 82. Л. 1

<sup>27</sup> ГАРФ. Ф. 9577. Оп. 1. Д. 82. Л. 36-37.

<sup>28</sup> Сабанев Л.А. Воспоминания о России. М., 2005. С. 192.

<sup>29</sup> Вернадский В.И. Дневники. 1935-1941. Книга 1. 1935-1938. М. 2008. С. 16-19, 45.



<sup>30</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 1.

<sup>31</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 3,5, 6.

<sup>32</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 6.

<sup>33</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 6.

<sup>34</sup> В базе данных Международного общества «Мемориал» – «Жертвы политического террора в СССР» присутствует информация о Кире Константиновне Радикевич (ур. Константинович), которая в числе других членов семьи Радикевич была арестована «по политическим мотивам», 1 декабря 1923 г., осуждена 22 декабря 1923 г., однако приговор вынесен не был, дело прекращено. Не исключено, что это событие сыграло свою трагическую роль в скоропостижной смерти Константина Александровича Константиновича, последовавшей от разрыва сердца 4 февраля 1924 года.

<sup>35</sup> РО ИРЛИ РАН. Ф. 184. Оп. 3. Д. 469. Л. 2-2 об.

<sup>36</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 278. Л. 2, 4.

<sup>37</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 278. Л. 6.

<sup>38</sup> Цветаева А.И. Неисчерпаемое. М., 1992. С. 55-56.

<sup>39</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 6.

<sup>40</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 8.

<sup>41</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 1, 7.

<sup>42</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 9.

<sup>43</sup> Подробнее см.: Долгова Е.А. На одном крыльце сидели племянник Достоевского, внук Пушкина. Почему известные люди стремились попасть в советские Дома престарелых // Родина. 2018. № 6 (618).

<sup>44</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 25-25 об.

<sup>45</sup> ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 24.

# «ЛИТМУЗЕЙ»

**АЛЕКСАНДР ФЕДУЛОВ**

## СРЕДИ ДВИЖЕНИЯ ПЛЕМЁН\*

эссе

К 135-летию М.А. Зенкевича

*Для того, чтобы писать хорошо на нашем языке,  
надо быть необыкновенным человеком...*

П.Я. Чаадаев – А.И. Тургеневу, 1838

После 1838 года знающих родной язык, кроме Пушкина и Карамзина, конечно, прибавилось, но необыкновенных, а тем более в поэтическом цехе, всегда считают, загибая пальцы. Михаил Александрович Зенкевич – один из них.

Начну с двух утверждений. И оставляю их открытыми.

Первое – человек есть воспоминание. «Всё прошлое нам кажется лишь сном» (Михаил Зенкевич, 1940).

Второе – русскую литературу сделали деревенские ребята, за редким исключением, которое исключением, скорее всего, и не является.

Деревня – Атлантида.

Небо на 360 по горизонту и земля в щетине рощ, и лето, и зима, и весна, и осень вьяве. И ты один-одинёшенек со всеми страхами, сказками, песнями, тропинками, оврагами, шорохами, звёздами, цикадами и соловьями, сверчками и перепёлками. И оттопыренные уши, и всё примечающие глаза.

*Видал я, как от напряжнейшей крови  
Яростно вскинув трясущийся пах,  
Звякнув железом, заросшим в ноздрях,  
Ринулся бык к приведённой корове.  
Видал, как потная, с пенистым крапом,  
Словно хребтом переломленным вдруг  
Разом осела кобыла и с храпом  
Лёг на неё изнемогший битюг...*

Точность детали в точности слова.

Поэт растёт как человек, то есть и меняется, не форсируя свой жизненный опыт. «Среди движения племён» поэт не последний ориентир, камень придорожный, вежа. А ещё «поэт – как донор», кровью своей – стихами – питающий мятущиеся племена. Обстругивать его, подгоняя под какие-то свои нужды, делая подпоркой своим фобиям, – шулерство и пренебрежение поэтом. Но Михаил Александрович Зенкевич – поэт такого масштаба, что выдерживает и вульгарную быковщину.

*Пушай рога трубят по лесу  
 И улюлюканье в лесу, –  
 Как зверь, в родимую берлогу  
 Колок кровавый унесу.*

*Гоните псов по мёрзлым травам,  
 Ищете яму, где лежу.  
 Я языком своим шершавым  
 Все раны сердца залижу.*

*А нет... Так, оцетинясь к бою,  
 Втянув в разрытый пах кишки,  
 С железным ляканьем открою  
 Из пены жёлтые клыки.  
 «В логовище» (1913)*

В двадцать семь лет это уже своё, переживаемое.

Михаил Зенкевич недооценён, но это не его, а наша проблема. И тем отраднее открывать незажётое. Его «тяжёлые стихи» – цивилизационная рефлексия. Мы давно уже не охотники, но охотники до жареного...

Оставив в стороне предостережение Тютчева – «Природа – сфинкс. И тем она верней / Своим искусом зубит человека, / Что, может статься, никакой от века / Загадки нет и не было у ней» (август 1869), Михаил Зенкевич, отдавая долги университету и юности, пускается как, по словам Гумилёва, «вольный охотник, не желающий знать ничего, кроме земли», внутрь неё – к металлам, магнитам, камням, водам и прочим населявшим её саблезубым тиграм, погружаясь в истоки природы вещей, о чём когда-то так подробно рассуждал Лукреций. Поэт избежал того момента, когда Лукреций превратится в литературную Лукрецию, поражающую ядом неудовлетворённого познания: Зенкевич понял, что природа вещей в нём самом, в поэте: «Сперматозонд электронов – Я...» («Хорь»). В его глазах, в его сердце, в его душе, в его способности высказать эту природу, отринув бессодержательные красоты. «Оставьте романтику теней себе, – как бы говорит он, – а я о природе вещей, явленных мне здесь и сейчас». Весомых, полнокровных. Главное –

*И голову надо, как кубок  
 Заздравный, высоко держать...  
 «Стакан шрапнели» (1924)*

В своих измышлениях я опираюсь на тоненькую книжицу – «Избранное» 1973 года, где свод стихов, расположенных в хронологическом порядке, предварён как бы замковым камнем – стихотворением «Грядущий Аполлон» 1913 года из сборника «Под мясной багрянницей». (Лукреций свой труд – «О природе вещей» – открывает обращением к Венере.)

«Грядущий Аполлон» – не столько отсыл к античному автору, сколько ответ своим собратьям по цеху о своём пути. Что его путь – это «серо-слизкий» полярный закат, а сладкоголосые сирены для него лишь «отхаркивающие дневную мокроту гудки». А ещё, я предполагаю, это реплика на Мережковского, на его «Грядущего Хама». Поэтически тонко, не взбегая на кафедру, следуя заветам Эпикура – «Безопасность от людей... вполне же – только с помощью покоя и удаления от толпы». А о «голе сплочённой посредственности» в 1863 году писал уже и Герцен в «Концах и Началах Искандера», которая в 1904-1905 годах –

*Глуха и слепа,  
 Открывает дорогу в столетье грядущее!  
 В. Брюсов, «Слава толпе»  
 Творите мёрзость во Храме, –  
 Вы во всём неповинны, как дети!  
 В. Брюсов, «Грядущие гунны»*

Время копытилось такое, что надо было обладать, как говорится, трезвым умом и ясной памятью, чтобы оставаться верным своим человеческим и поэтическим представлениям. И реагировать. Например, «Дикая порфира». Это не спор с Андреем Белым, с его «Золотом в лазури», где есть цикл «Багря-





ница в терниях». Это отставание своего понимания этих значимых символов – «порфира/багряница». Кстати, порфир – это и первозданная порода, близкая к граниту. (Ещё одно кстати: Брюсов не преминул своеобразно откликнуться на «Золото в лазури», подпустив шпильку в той же «Славе толпе»: «Им ли в расплавленном золоте зорь потонуть!»).

Реагировал мэтр и на молодых, и не только критикой. Валерий Брюсов 25 августа 1912 года («Дикая порфира» Зенкевича вышла в феврале – марте 1912 года) пишет стихотворение «Земле», а в 1913 году – «Сын земли», и в 1916-м вставляет их в сборник «Семь цветов радуги».

Обычное поле для литературоведов...

Возвращаясь к Михаилу Зенкевичу.

Картины, которые рисует поэт, – документально точны, без смакования процесса, и философски обусловлены. А поэтическое мастерство и великолепное знание корней (о деревня!) родного языка делает эти картины безупречными.

В живописи того времени можно глянуть Кончаловского и Суэтина...

Михаил Александрович – мастер того редкого дара, «кто ясно мыслит – ясно излагает», который при этом не теряет поэтического великолепия.

Вот окончание стиха «На Волге» 1910 года:

*Чтоб золотом огнистый танец  
Расплавил медь колоколов!*

Так вспомнить разбойный набат! Или вот «Сумрачный бог»:

*Но, отклоняемый силою злобой,  
В небе раскинув лучистый след,  
Вдруг низвергаюсь из тьмы их утробной  
Красным убудком змеистых комет.*

Оцените «лучистый след». Деревенский мальчишка знает о последе не из словарей, он познаёт природу вещей собственными губами –

*Поцелуй на морозе. Осмелься попробуй!  
Рот смеющийся – алая скоба,  
У ворот посиневший от стужи пробой.  
Поцелуешь, пристанешь к железу губами.  
«Поцелуй на морозе. Осмелься попробуй!...»*

Антя отрывать от земли нельзя.

Ещё одна особенность поэта – он очень кинематографичен. Например – «В дрожках» (1913):

*Дрожка от взнуданного пыла,  
В лицо швыряя мне землей,  
Вся в мыльном серебре кобыла  
Блестит шерстью вороной.*

*А я, весь брызгами покрыт,  
Зажмурясь, слушаю – как чётко  
Под бабками косматых щёток  
В два такта бьющий стук копыт.*

*Мне в этот вольный миг дороже,  
Чем красные пиявки зуб, –  
В оглоблях прыгающих дрожек  
Размашистый рысистый круп.*

*И мягче брызгающие камья  
Весенней бархатной земли  
Прикосновений той, о кам я  
Грустил и грезил там вдали.*

Казалось бы, простая зарисовка – поэт, вернувшийся в родные края, посетил знакомое село. В шестнадцати строчках – классическая русская драматическая повесть с общим, средним и крупным планами. А ритм! А как согласные работают! Или:

*Подсолнух поздний догорал в полях,  
И, вкрапленный в сапфировых глубинах,  
На лёгком зное нежился размах  
Поблёскивавших крыльев ястребиных.*

*Кладя пределы смертному хотению,  
Казалось, – то сама судьба плыла  
За нами по живью незримой тению  
От высоко скользящего крыла.*

*Как этот полдень, – пышности и лени  
Исполнена, ты шла, смиряя зной.  
Лишь платье билось пеной кружевной  
О гордые и статные колени.*

*Да там, в глазах, под светлой оболочкой,  
На обречённого готовясь пасть,  
Средь синевы темнела знойной точкой,  
Поблёскивая, словно ястреб, – страсть.*

Готовый сценарий с размахом от Протазанова до Гринуэя.  
Кстати, промелькнул будущий Арсений Тарковский.  
А стихотворение «Пашня танков» 1918 года –

*Так идут в атаку  
Танки, по вспаханному  
Елозя стальным пахом,  
Нюхом разбухших от эрекции  
Орудий обнюхивая ухающие горизонты,  
Где свёртывают брамом удушливые газы –  
Лёгких и бронхов махровые газоны...*

«Пашня танков» – одноимённая книга 1921 года, включающая такие тексты, как собственно «Пашня танков», «Голод дредноутов», «Страда пехоты», «Стакан шрапнели», «Авиареквием», «Альзиметр», – книга особая. Я могу ошибаться-заблуждаться, но этот поэтический жест – ответ апологетам войны и прочих мировых революций, при всём уважении и восхищении героями, вроде Нестерова. Как ни восклицай – «Обезвредим время!», время своё возьмёт, когда такие словоблудцы, как Маринетти, провозглашали в своих футуристских манифестах упоённо войну «как единственную гигиену мира». Итало-турецкая война 1911-1912 годов стала предтечей Мировой войны 1914-го. Для Зенкевича это и личная боль – погиб брат Сергей. Я думаю, поэт не случайно обратился к футуристическим бормотаниям фашиствующего вербовщика недоумков Маринетти, который писал: «К счастью, у молодёжи кровь угадала то, чего не понял мозг». Выделив как бы реперные точки из писаний итальянца, вроде дредноута, симфонии шрапнели, эрекции, Зенкевич создал мощный антивоенный цикл, вывод из него может быть один: война – сифилис цивилизации. А для поэтов – губительно заигрывать с тенями будущего. Тени могут обретать убийственную реальность... (Как известно, старик Маринетти попёрся под Сталинград...)

Не избегает поэт и темы взаимоотношения с Музой и ухода в иное.

Но сейчас небольшое отступление. В 1887 году, когда Михаилу Зенкевичу ещё не было годика, один поэт написал стихи, которые я для себя обозначал как взаимоотношение Поэта и Поэзии, Музы. Хотя, вероятно, они обращены к реальной женщине. Но здесь концентрация того, в чём оказывается каждый Поэт, обрубив свой «лучистый послед».

*Когда читала ты мучительные строки,  
Где сердца звучный пыл сиянье лёт кругам  
И страсти роковой вздымаются потоки, –  
Не вспомнила ль о чём?*



*Я верить не хочу! Когда в степи, как диво,  
В полночной темноте безвременно горя,  
Вдали перед тобой прозрачно и красиво  
Вставала вдруг заря,*

*И в эту красоту невольно взор тянуло,  
В тот величавый блеск за тёмный тот предел, —  
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:  
Там человек горел?*

*А. Фет, 15 февраля 1887*

Возвращаемся к Михаилу Александровичу. Его разных годов мысли на эту тему. Неожиданно в «Альбоме с серебряным обрезаем», недавно извлечённом из архива рукописном собрании стихов Зенкевича за вторую половину его жизни, читаю такой *тест*, конечно – текст, но какова опечатка! Поэт корректирует своё!

*Изгнаний Дантовских частицу,  
Гомера нищенство прими,  
Чтоб с песней вольною пуститься  
Бродить бездомным меж людьми.*

*Иль власть имущим и богатым  
Витиеватостью пера  
Служи поэтам-лавреатам  
На иждивении двора.*

*Твори и радуясь, и мучась  
И помни, что во все века  
Поэта истинного участь  
Была трагична и тяжка.*

*16 августа 1943*

Поэт здесь спокоен и мудр. Коли веришь в *общее дело*, бог с тобой, будь иждивенцем, коли ты Гораций или Вергилий. Простая житейская констатация. Правда, «поэтом-лавреатом»... конечно, здесь лавр венчающий, но моё извращённое ухо выдаёт мне – по звуковой ассоциации – ещё левретку. Эту декоративную собачку любили держать при себе власть имущие, а пуще их жёны.

А вот «Дорожное» 1935 года:

*Взмывают без усталости  
Стальные тросы жил, —  
Так покидай без жалости  
Места, в которых жил.*

*Земля кружится в ярости,  
И ты не тот, что был, —  
Так покидай без жалости  
Всех тех, кого любил.*

*И детски шалы шалости  
И славы, и похвал, —  
Так завещай без жалости  
Огню всё, что создал!*

А десятью годами раньше, в сорок лет, – «В сумерках» (1926), стихотворение в одно предложение из семнадцати строк:

Не окончив завязавшегося разговора,  
Притушив недокуренную папиросу,  
Оставив недопитым стакан чаю  
И блюдечко с вареньем, где кунаются осы,  
Ни с кем не попрощавшись, незамеченным  
Встать и уйти со стеклянной веранды,  
Шурша первыми опавшими листьями,  
Мимо цветников, где кружат бражники,  
В поле, отгнённое лиловой грозой,  
Иступлённо зовущее воплем сверчков,  
С переборами перепелиных высвистов,  
Спокойных, как колотушка ночного сторожа,  
Туда, где узкой золотой полоской  
Отмечено слиянье земли и неба,  
И раствориться в сумерках, не услышав  
Кем-то без сожаленья вскользь  
Обронённое: «Его уже больше нет...»

Но он здесь и сейчас есть. И закончу строчкой из его мощного «Донора»:

*Я буду мерещиться сном наяву.*

21 мая – 22 июля 2021

\*Расширенный вариант эссе, которое было впервые прочитано автором на вечере «Михаил Зенкевич: новые факты, неизвестные тексты» в Государственном литературном музее (Москва) 3 июня 2021 года.

# «КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНА СЕВРЮГИНОЙ

## ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРОСТРАНСТВА И СВЕТА

(Е.А. Бершин, *Мёртвое море* – СПб.: Алетейя, 2021. – 128 с.)

Время поэтических «полногласий» и кропотливой работы над словом почти кануло в лету. Современных поэтов мало заботит, какое впечатление они производят на читателя. Отсюда нарочитая небрежность высказывания, уходящего в пустоту. Гораздо важнее – рефлексивная заикленность на собственном внутреннем мире и формах его художественного воплощения. В этой связи можно даже читателя не замечать – прямой диалог с ним нынче не в моде.

Новая книга Ефима Бершина «Мёртвое море» кажется одной из антикварных редкостей, которую, на фоне подавляющего косноязычия и эгоцентризма, непременно оценит подлинный ценитель изящного и прекрасного. Да, временами такая поэтическая речь, размеренная и каллиграфичная, кажется немного старомодной:

*Меня прислали сказать вам, что он не придёт,  
Но мне самому не сказали, что он не придёт.  
«Он не придёт», – хожу я и всем говорю,  
не замечая, что дело движется к октябрю...*

Но как же не хватает иногда этой «старомодности» словесно расхристанным текстам представителей молодого поколения авторов. Сейчас так уже не пишут – тщательно обдумывая, отшлифовывая каждое слово, подбирая единственно верную интонацию, выстраивая опоры для будущего диалога с читателем. В этом смысле Ефим Бершин – последний из могикан. Ему важно быть услышанным, важно донести свои чувства, идеи, мысли до окружающих и при этом всё же остаться не до конца понятым – иностранцем и чужаком для всех. Потому что настоящий поэт – всегда пророк, говорящий на особом языке, более обращённом к Богу, а не к простым смертным.

В поэтическом сборнике присутствует реальное, историческое и мифологическое пространство и время, в контексте которого происходит общение автора «по вертикали». Это и молитва, и сетование на свою эпоху, развёрнутый монолог-размышление о которой является композиционной основой книги. Каждый её раздел подчинён общему замыслу, заявленному в названии. Мёртвое море – образ двоякий и даже антиномичный, как практически все образы в книге Бершина. Он отсылает нас и к священному Иерусалиму, и к обезличенному, десакрализованному «городу-Содому», которым может быть, в зависимости от обстоятельств, мегаполис и любой другой город, пребывающий в координатах реального времени и пространства.

Сам автор пребывает во времени условно реальном – точнее сказать, его присутствие в книге носит вневременной характер. С первого стихотворения первого раздела его лирический герой заявляет о себе как о человеке, не принадлежащем ни к одной эпохе, но пребывающем во всех эпохах одновременно. Так возникает библейский образ вечно одинокого и вечно странствующего Агасфера – у него нет ни дома, ни семьи, ни конкретных душевных привязанностей. Он – воплощение вечности, безотносительной к чему-либо конкретному, но при этом в его песне отчётливо слышны мотивы конечных судеб мира:

*Море – форточка неба, которую выбил Бог.  
И свобода – уже не свобода, а пепел Завета.  
Я влачусь по пустыне уже за пределом свобод,  
за пределом любви, за пределом пространства и света...*

*И куда не пойду, и чего не коснётся рука –  
всё уходит в песок, обращается всё в пепелище.  
Я влачусь по пустыне. Я – часть мирового песка  
из песочных часов, у которых оторвано днище.*

В последующих разделах («Забытый выстрел», «В остывающем небе», «Четвёртый Рим»), а также в примыкающих к ним трёх мини-поэмах «Армения», «Миллениум» и «Стансы» продолжается развитие заявленной темы. Образ странствующего Жида, обречённого на бессмертие, становится точкой отсчёта в той истории, у которой нет конца, но есть сюжетная заданность в границах авторской мысли. Лирический герой Бершина пытается соединить, сопоставить трагедию современного общества, в котором произошла кардинальная подмена ценностей, с многовековой историей. Но в то же время это история и глубоко личная, автобиографическая, о чём, например, мы узнаём из раздела «Забытый выстрел»:

*Они живём зарыли прадеда  
и кузницу его взорвали.  
Наверно, это было правильно –  
иначе бы не зарывали.*

*Иначе бы Талмуд почитывал  
и раздувал мехи для горна,  
скутную денежку подсчитывал  
и жил себе, не зная горя.*

*А так – зарыли вместе с пейсами,  
Талмудом и кузнечным потом,  
с тоскливыми, как осень, песнями,  
что пел за рюмкой по субботам.*

Указание конкретных фактов биографии автора не лишает рассказанную им историю обобщённого, метафорического смысла. Сквозные образы-скрепы, повторяющиеся от раздела к разделу, создают особую географическую организацию текста, в котором можно перемещаться из современного мегаполиса в древний Ерусалаим и где общий небосвод создаёт единое «пространство между Тверней и Тверью, Волгой и Галилейскими водами». Обилие библейских персонажей – угрюмый Авраам, затерявшийся в колодцах Москвы Иосиф, Ирод и сам сын Господень – говорит лишь о том, что границы времени условны. История человечества никогда не кончалась, обетованная земля до сих пор не найдена, поэтому сиюминутное и вечное вполне уживаются друг с другом – так же, как асфальт городских улиц и песок Иудейской пустыни.

«Пограничную», «межвременную» философию героя-скитальца, оказавшегося «за границей пространства и света», отлучённого от истины и бога, идеально передаёт образ бродячего пса, наиболее часто встречаемый в книге. «Старый кобель у мусорной свалки», «свора лающих псов», собака, «бегущая от тела», испытывая «страсть к перемене мест» – всё это образы одного ассоциативно-смыслового поля и фактически средоточие авторской вселенной. Почему собака остаётся там, где больше ничего нет?

*ни улиц, ни зафубки на пеньке,  
ни звука. Лишь у мусорного бака,  
задравши лапу, пишет собака,  
рисуя схему жизни на песке.*

Можно считать этот образ поверхностным, увидеть в нём олицетворение бесприютности, бездомности и просто одиночества. Но он, безусловно, глубже предполагаемого изначально смысла. Согласно христианской этике, войти в город Царства Небесного, в новый Иерусалим может всякий, кто считает своё спасение следствием искупления Христом первородного греха. А кто же не войдёт туда? «Псы и чародеи, убийцы и прелюбодеи, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр.22, 15)

В одном из стихотворений автор самого себя сравнивает с собакой, слышащей всё, «чем живёт навоз», и в дальнейшем «бездомные дворняги» у Ефима Бершина как будто заполняют пустующее десакрализованное пространство бывшего, но утраченного человечеством мира. Собака становится символом вечного наказания и вечного отлучения от Бога. К которым, кстати, отнесены и те, кто предпочёл внимать «евангелию от витрин», разменяв подлинные, непреходящие ценности на сиюминутные блага мира материального.



Образ безродного пса, вероятно, может восходить и к блоковской поэме «Двенадцать», тем более при учёте очевидной интертекстуальности стихов Ефима Бершина. В них слышатся отголоски русской классики, в особенности серебряного века: новую жизнь в новом контексте обретают блоковская аптека, древняя Троя, образы божественной комедии Данте. Так рассказанная автором история постепенно обретает вселенское звучание.

Её сюжет логически закольцован образом мёртвого моря. Это первое слово, с которого начинаются книга и стихотворение о странствиях Агасфера в мировых песках и последняя фраза заключительного раздела «Стансы». Здесь «бесконечное мёртвое море» обретает покой под брусчаткой Москвы, и вместе с ним в границах личного пространства застывает и автор, ставший последним пристанищем и последним Римом для своего беззащитного, лишённого ритма города.

*Потому что из этого мира уходит ритм.  
И озгмный мой город – памятник лютости,  
беззащитен и гол, как стихи без рифм.  
Я стою посреди земли, как последний Рим,  
в непонятном своём, бескрайнем своём пространстве.*

### У РЕЧИ НА КРАЮ

*(Решето тишина решено / Кутенков Борис. Стихотворения. – М.: ЛитГОСТ, 2018. – 116 с.)*

Парадоксально, но яркая, современно звучащая и наполненная постмодернистскими аллюзиями поэзия Бориса Кутенкова легко укладывается в установленную Тютчевым формулу XIX века: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?».

Острота поставленного вопроса не только не снимается, а доводится до состояния экзистенциального ужаса и глобальной катастрофы творца, поражённого врождённым косноязычием. Невозможность сказать и выразить красоту мира, пребывая в границах «смертного смысла», необходимость «обживать персональный ад» – магистральные мотивы книги с характерным названием «решето тишина решено».

Вслед за Мариной Гарбер согласимся, что слово «тишина» здесь определяет и устанавливает границы художественного пространства, становится точкой отсчёта и конечным пунктом назначения условного движения лирического героя. Тишина эта, противопоставленная любой форме земного, очевидного существования языка, периодически трансформируется то в родовую тьму, то в потустороннее ничто, то в «отражённый свет». Только внутри этой лакуны возможно подлинное существование речи, которая суть «незашивший шрам» и кровавый порез, с помощью которого творец прорывается из герметически замкнутого пространства в сакральные бреши потаённых, но единственно значимых смыслов. Всё это – поэзия преодоления и самоотрицания. Ни в одном поэте, отдалённом или близком предшественнике, единомышленнике Кутенкова не была так сильно развита потребность заглянуть за грань, содрать со всего явного и видимого кожу, а следом за ней и всё остальное – сухожилия, кости, мышцы, мясо...

Всё то, что мешает прямому общению с истиной и Богом. Всё, что препятствует обретению своей подлинной бессмертной сути, которая есть эфирное вещество поэзии. Потому что поэт – сам воплощённая речь, ничем не связанное и вечное слово как непрерывный акт творения, мостик, зиянье, устремлённость в «долгожданное ниоткуда». И подобным образом утверждается парадоксальная истина: не-быть значит гораздо больше, чем быть.

*– Видишь, теперь я – зиянье, земля в огне,  
космос в руке, долгожданное ниоткуда;  
змейкой, как доллар, сжимаюсь, расту в цене,  
некому слышать – вот и пою повсюду;  
космос смывает седые мои виски,  
так прорастаю – неслышимые колоски,  
завтра детей принесу в золотом конверте,  
именем запишу на осколке моей тоски,  
что не бывает смерти.*

Как и в случае с творчеством Ростислава Ярцева, мы наблюдаем поэтику колеблющихся смыслов, конструирование такого потустороннего, «лиминального» пространства, в котором важен не факт реализации чего-то, а сама потенциальная возможность иной реальности, будь то язык, звукоряд или творчество в целом. Термин «лиминальный», фактически означающий «межеумочный, пограничный поворотный,

вызывающий тревогу» (о чём пишет Дмитрий Воденников), идеально подходит автору этой книги. Пространство любого стихотворения Бориса Кутенкова организовано именно так, что лирический герой, лишённый элементарных земных привязок, практически всегда пребывает в эмбриональной невесомости околоплодных вод своего персонального космоса.

Отсюда так много «небывших братьев» и «нерождённых сыновей». Думается, что это некое alter ego Бориса Кутенкова, его совершенная, пусть даже и не в полной мере реализованная, ипостась, дающая ощущение целостности бытия и гармоничного пребывания себя в нём. Вообще тема материнского первоначала и рождения, а точнее дородового небытия и немоты, становится главным вектором направленности книги. Только в состоянии неявного и смутного «до-рождения» возможна максимальная близость к непостижимому, находящемуся за пределами привычного земного косноязычия, потому что человек не тождествен самому себе – он синтез всех своих условно допустимых «я». Отсюда свобода выбора и «общения по вертикали»:

*По ошибке зашедший на бал счастливых  
может верить в стофратное «по-другому»,  
восставить из мёртвых неторопливо,  
притворяться галмо и legends voto,  
зависать, как ястреб, посреди-  
-не земной вертикали – под ропот гроба,  
меж неясностью сна и уютном дома,  
укроющая хаос расписанного пути.*

Но, учитывая дихотомическую организацию художественного пространства в поэзии Бориса Кутенкова, нельзя не увидеть в идее спасительно нерезализованной возможности зеркально отражённую в ней мысль об окончательном переходе в вечность. Здесь рождение и смерть даже не антонимы, а чрезвычайно близкие друг другу понятия.

При этом нельзя сказать, что в регрессивно-нигилистской направленности творческой мысли, пытающейся «заглянуть» за пределы «до» и «после», поэт абсолютно одинок и не имеет последователей. Гарбер в своей статье упоминает в числе «отдалённо созвучных» ему авторов Надю Делаланд. Но представляется, что подобная поэтика, рождающаяся из недр серебряного века, находит и в современности родственное себе звучание – как в языковом, так и в мировоззренческом плане.

Если говорить о великих предшественниках, то нельзя обойти стороной творческое наследие Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама, на чьей благодатной почве «вырастает» звуковой космос Бориса Кутенкова. Здесь подобные влияния проявляются как на уровне интертекста (в образе, например, тонущего в фарисействе мира), так и на более последовательной мировоззренческой платформе, связанной, в частности, с идеей речеговорения. «И мертвец возвращается в тело вдоль дома и сада, распрямляя остаток пути» – в этих строках слышатся другие, о «дуговой растяжке бормотаний». Здесь явная переключка двух поэтов, стремящихся обрести подлинное звучание сквозь преодоление земного, материального.

Если же говорить о современниках Кутенкова, то первым на ум приходит Александр Петрушкин. Этот уральский поэт со своей вполне самобытной картиной мира тоже является последователем мандельштамовской традиции и стремится возродить язык в его первобытном, синкретично-универсальном («довербальном») состоянии. Сам Кутенков в одной из своих статей, посвящённых творчеству Петрушкина, отмечает ключевую особенность его говорения, «когда речь утрачивает своё вербализующее значение, держась и „выживая“ средствами неясного гула, камлания, звука, интонационного единства». [Борис Кутенков. Возвращение из немоты. // «Урал», № 7, 2011].

Эта формула идеально подходит и автору указанной цитаты. Будучи поэтом-заклинателем языковой матери, поэтом-шаманом, превращающим творческий акт в обряд сакрального перерождения, Борис Кутенков такой же беспшовной нитью, как и его уральский собрат по перу, соединяет границы абстрактного и материального мира, воссоздавая недискретность и текучесть мироздания. Разница же двух означенных поэтов заключается в том, что у автора книги «решето тишина решено» последние земные оплоты рушатся, оставляя только «слух, открывшийся настежь до боли ушной», «невесомую речь» и «голосовую тьму»:

*назначь голосовую тьму  
пределу моему,  
чтоб звук, родившийся из тьмы,  
несущийся во тьму,  
ответ на оркестровый сбой,  
на «невозможно быть собой»,  
на день у времени взаимья, –  
и был ответ всему.*





Речь как единственная форма бытования имярека, творца, становится и единственной формой бессмертия, «птичьим метаязыком», более отвечающим за внутреннее речеговорение – тот самый «обживаемый персональный ад». И так же, как в поэзии Петрушкина, текст организуется здесь далёкими от очевидного словесными рядами, в которых происходит семантическое сближение внешней и внутренней речи. В какой-то момент границы становятся непроходимыми: невозможно определить, где именно речь автора обращена к читателю. Скорее она обращена к самому себе и в целом ни к кому конкретно: это некий поток энергии, духовная эманация творца, кратковременный выход в «золотую прореху музыки». Это те самые моменты, когда пигмей «с беззащитною дудкой внутри» становится творцом, а его музыкальный инструмент – органом.

Кажется также весьма ценным наблюдение Марины Гарбер о «звуконеполноте» поэзии Бориса Кутенкова. Абсолютно всё в книге, включая название и композицию, представляет собой некое зашифрованное послание, организованное по законам музыкального жанра. Решето тишина решено – сочетание этих слов поражает неожиданной симметрией, звуковым соположением, и рождает, вслед за аллитерацией буквы «ш», звукообраз тишины. А вслед за этим акустически оформленным образом возникают и все остальные: названия трёх разделов как будто складываются в единую повествовательную синтагму, логическую линию авторской мысли, которая лишь условно прерывается внутри поэтического монолога: «если б не музыка прерванным словом за всё что не допыт». Такая недискретность в полной мере соответствует поэтике Кутенкова, близкой потоку сознания. Это единый синхронистический акт, выплёскивание наружу «подсознанки» с характерным для неё пренебрежением к делению на интонационно-смысловые составляющие. Пунктуационно тексты организованы так, что нередко мыслятся как одно большое предложение, в котором запятые, тире и скобки либо отсутствуют, либо являются способом оформить спонтанно возникший диалог, отделить внешнюю речь от внутренней. Кстати, эта внутренняя речь (мета-речь) чаще всего выделена в текстах курсивом. Тут нет ничего лишнего, случайного – всё работает на главную цель, которой можно считать обретение голоса, музыки в себе – это «бессвязное бормотание» есть ключ, отмыкающий подлинный звук.

В целом всё в этой поэзии организовано разного уровня повторами: звуковыми, лексическими, синтаксическими. Однако это не только линейное соположение языковых элементов – здесь в равной мере задействованы синтагматика и парадигматика, соположения и противопоставленности, взаимоисключения и тождества. Таково мышление самого автора, выстраивающего художественное пространство по законам антиномий и отдалённых ассоциаций. В итоге рождаются гибридные метафорические образы – неологизмы: «дымящийся воздух речи», «скольжение поверхностных ран», «бескровный грифель молчания», «сорная речь-ограда». Возникает царство «безграничной проходимости слова» с разнонаправленным обменом значениями и свойствами:

*Два пути у всякого: сорная речь-ограда,  
холомик трын-травы, нефлолазица, бурелом,  
или – ужас земной оглядеть из рая,  
правды в рот набрать, красоту затаить о нём.  
Так – молчанья бескровный грифель острой заточен,  
так – отчётливей счёт, если в Отчих объятьях – дом;  
что за правду, сестрица, узнала о дешней ночи,  
что за тайну узрела, взлетев над родным гнездом?..*

Если применять к поэзии Бориса Кутенкова собственно музыкальную терминологию, то можно сказать, что единство звучания и художественного замысла достигается здесь благодаря наличию основной темы-увертюры и множественных её вариаций. Интерпретируя самого себя, автор «скрепляет» поэтическую материю своеобразными контрапунктами – одновременно звучащими сквозными темами – и повторяющимися из текста в текст магистральными образами: «обживающий ад языка», «родовая тьма», «золотая прореха тишины», «щепная речь», «персональный космос» и т.д.

Нажимая на эти образы, как на клавиши, автор заставляет звучать свою поэтическую вселенную. И пусть кому-то подобная музыка покажется диссонансом, но и в ней, предельно абстрактной и отвлечённой на первый взгляд, слышны ритмы своего времени: «удары над луганской тишиной», «слабужские сени в день воскресный». Нет, автор не глух и не безразличен к окружающему миру – просто он, будучи творцом, обречён переводить его на язык собственных нот. Ведь у каждого они свои. Просто слишком обострён его слух, улавливающий ультразвук волн вселенной, которые и есть подлинная поэзия.

Поэтому и обречённо, и одновременно жизнеутверждающе звучит унаследованная им от Пушкина мысль о собственной миссии: стоя «у речи на краю», слышать то, чего не дано услышать другим:

*с тех пор как высший вместо языка  
мне грамоту вручил сродни китаю  
читаю смерть в сосудах старика  
в любом ребёнке тишину читаю*

*с тех пор как вынул прежнее ребро  
и новое вложил дурному сыну  
в словах шуды слышу серебро  
сад гефсиманский вижу и осину*

*удары над луганской тишиной  
влабужские сени в день воскресный  
счёт ложек перестук земной  
зыбучий нарастев песок небесный*

*речь бисерна песка припасено  
для всех часов для решета и ветра  
а песня промах циска зеро  
но знает у ворот первой всего  
что спросят и на что ответит*

### ДОМОЛЧАТЬСЯ ДО ТЕМНОТЫ

(Алконост: стихотворения / Юлия Мельник. – Одесса: ОЛДИ-ПЛЮС, 2021. – 130 с.)

Новая книга Юлии Мельник, выпущенная в одесском издательстве «Олди-плюс» в 2021 году, называется «Алконост». Всем хорошо известно, что алконост – это мифический фольклорный персонаж, райская птица с женским лицом, имеющая одновременно и руки, и крылья. Однако было бы ошибочным искать в книге какие-то языческие аллюзии, – скорее, это отсыл к самой лирической героине, стремящейся убежать от забот и повседневности, от всего ложного и наносного в мир детства и фантазий. Подобная направленность творческой мысли определяет настроение книги в целом.

Кажется, что автор очень юн и обладает свежим, немного наивным взглядом на мир. Но в этом и состоит особенная прелесть его стихов. Чем-то они напоминают акварельные рисунки, выполненные в нежных, слегка приглушённых тонах, иногда немного размытые. Таков мир Юлии Мельник – она не любит городского шума, многословия, суеты. Подлинная жизнь для неё начинается там, где можно «домолчаться до самой глубокой седой темноты». Здесь статика преобладает над динамикой, а категория времени сменяется безвременьем. Человек – не более чем пассивный созерцатель, неподвижная точка в бесконечном пространстве. И только при осознании этого ему, как японскому мудрецу, может открыться подлинная прелесть мира. Чтобы увидеть что-то по-настоящему важное – надо вовремя остановиться и прислушаться к тишине:

*Увядают цветы... Есть ли в мире другие дела,  
Чем на белую розу смотреть, что когда-то цвела,  
И жалеть эту розу, колючек не приняв в расчёт,  
И не знать, для чего и куда это время течёт...*

Что и говорить, подобного рода поэзией, во многом традиционной, пейзажно-психологической, трудно удивить современного читателя, избалованного языковыми и культурными изысками постмодерна. Но её ценность заключается не в этом – она подкупает искренностью авторской интонации, живым диалогом с миром, перед которым, как перед исповедником, поэт остаётся чистым и открытым, настоящим, а не придуманным:

*Человек рождается обнажённым,  
Ни жаром, ни ветрам не обожжённый,  
Он выходит на свет, покидая фрак,  
Ничего не пытаясь зажать в кулак.*



Хочется логически завершить авторскую мысль – человек рождается обнажённым, а поэт рождается вообще без кожи, и его незащищённость перед лицом внешних обстоятельств велика. Отсюда искреннее желание лирической героини Юлии Мельник найти оберег – гнездо Алконоста – искренне верящей, что оно действительно существует.

Но, помимо этого, её оберегает тесная связь с литературной традицией: и это не век двадцатый, а, скорее, девятнадцатый. Если быть точней, во многих стихах книги ощущаются фетовская и особенно тютчевская интонация. От Фета – лирически плавное, гармоничное звучание фраз и тема одухотворённости природных объектов. «Учись у них – у дуба, у берёзы», – повторяет Юлия заповедь своего великого предшественника. В целом тема природы – вечного учителя – объединяет двух русских поэтов середины XIX века, но у Тютчева есть нечто, напрямую связанное с системой его художественно-философских воззрений – это тема «ночной стихии», обнажённой перед человеком бездны «со своими страхами и мглами». Именно эта тема становится ключевой и у Юлии Мельник. Избегая кричащих истин суетного дня, поэтесса стремится в область неявных смыслов и неочевидных значений – к пограничному состоянию между сном и явью, когда ночные полутона, превращающие все вещи в нечто иное, открывают человеку подлинную правду о самом себе. Ночь для автора «Алконоста» – время сакрального прозрения забытых истин, и в её призрачности и лёгкости гораздо больше правды, чем в тяжеловесности дневной, нередко лживой, оболочки:

*Ночью жизни проступает хрупкость,  
Суть вещей – как лёгкое письмо...  
Как молчанье в телефонной трубке  
Голоса, знакомого давно.*

*Ходят звуки лёгкими шагами,  
Дятлами постукивают в сон,  
И блестит-блестит за облаками  
Дальних звёзд рассыпанная соль.*

У Тютчева же Мельник воспринимает одну из характерных черт эстетики романтизма – принцип двоемирия и антитетичность, которая проявляется в наличии образов-этических оппозиций. Например, мудрому молчанию новогодней ели противопоставлены шум и громогласность «обросших словами» людей. Мотив несовершенства нашей жизни, вступающей в вечный конфликт с гармонией природы, в какой-то мере дублирует тему «мыслящего тростника» с его «призрачной свободой». Но в слиянии с окружающим миром, пусть даже и синонимутном – источник счастья и жизненных сил:

*Мы заучили взрослые слова,  
Забыв о том, как падали впервые...  
Слова – как прошлогодняя листва,  
И только раны – как тогда – живые...*

*Но кто-то дует на прорезы ран,  
Битует их осенней тишиною,  
И кажется – слетает мишура –  
Шершавую платановой корою.*

Справедливости ради стоит сказать, что тема человека и природы, вопреки всем литературным влияниям, подвергается у Юлии индивидуальному переосмыслению: в частности, ей сопутствует мысль о детстве: лирическая героиня нередко вспоминает о нём, как о духовном средоточии мира, источнике любви и добра. Только в детских воспоминаниях сохраняется наш подлинный, божеский облик, чуждый суеты и многословия. И отсюда тоже вырастает оппозиция детского и взрослого мира как чего-то вечного, неизблемого, и временного:

*Королева, 14... Мне не уехать отсюда,  
Гдедыхание Гриммовской сказки уносит простуду...  
Сохрани меня, старый мой, добрый мой, вечный мой дом,  
Одинокую, взрослую, с этим промокшим зонтом.*

Есть в книге и ещё один сквозной мотив, явно проросший из недр русской классики – это тема истинного предназначения человека на земле. «Для чего из зерна прорастает побег, с какой целью мы приходим в этот мир и что останется после нас?» – подобные риторические вопросы становятся стержнем авторских философских раздумий:

*Как прорасти сквозь слой земли не просто,  
Быть семенем, что дерево таит.  
Привычки, словно грубая короста,  
А солнце – вечный, золотой магнит.*

*Жизнь выскользнет из прочной оболочки.  
II – кто она? II – что она? Ответ...  
Какая блажь таится в сердце почки?  
Что заставляет эти листья петь?*

И всё же, наряду с чёткой выстроенностью художественного пространства и времени, чистотой следования литературной традиции (не исключаяющей, однако, оригинальности авторского подхода к проблеме), есть некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание автора.

Книга не поделена на разделы, что говорит о цельности художественного замысла, но в ней собраны стихи, написанные в разное время: с 2008 по 2015 год. Кажется, что отбор поэтического материала, учитывая общий объём книги, мог бы быть и более тщательным. В некоторых текстах, даже и не совсем ранних, встречаются некоторые языковые неточности и логические нестыковки. Приведу пример:

*Снова осень осенит –  
На случайном перекрёстке...  
Стройный тополь прислонит  
К юной, худенькой берёзке.*

*II, не зная отчего  
Лето выдалось нежарким  
Из богатства своего –  
Жёлудем одарит в парке.*

*Пустишься в обратный путь,  
Жёлудь тот – к виску приложишь...  
Дубу старому вернуть  
Ты его уже не сможешь.*

Здесь обращает на себя внимание определённая размытость субъекта действия. Понятно, что речь идёт об осени, но, поскольку она упоминается только в первой строфе, может даже возникнуть мысль, что это тополь одарит лирическую героиню жёлудем в парке, который, тем не менее, она не сможет вернуть старому дубу.

Подобные неровные тексты соседствуют с очевидными находками, в которых слышится и поэтическое мастерство, и авторская индивидуальность:

*Подари мне звон трамвая,  
Улиц солнечный прибор...  
Ничего не объясняя,  
Подари мне звон трамвая,  
Я возьму его с собой.*

В конце позволю себе дать автору небольшой совет. На его месте, я бы сделала альтернативное издание книги с наиболее тщательно отобранными старыми стихами, но при добавлении новых, недавно написанных.

Однако всё это – не более чем совет, необязательный к исполнению. Потому что в целом у автора всё получилось. Ему удалось не только «домолчаться до темноты», но и достучаться/докричаться до своего читателя.

А главное достоинство книги в том, что она – чистая и светлая, потому что чист и светел её автор, которому хочется искренне пожелать удачи на нелёгком пути покорения новых творческих вершин.



## ОСЕНЬ ЦВЕТА СУХОГО МУСКАТА

(Крюкова К. *Голос*/ Стихотворения. – М.: Вест-Консалтинг, 2019. – 90 с.)

Стихи Кристины Крюковой в современную нам эпоху воспринимаются, на неискушенный взгляд, весьма необычно. Сейчас так уже почти не пишут – размеренно, немного высокопарно, используя местами торжественную, местами почти забытую лексику. Но было бы ошибочным считать это недостатком. По всей видимости, автор намеренно не хочет идти в ногу со временем – ему комфортней оставаться в веках минувших. Для него это – отправной пункт философских и лирических раздумий о мире, точка созерцания, из которой можно, не торопясь, увидеть все значимые детали. И пока повсюду слышится грохот стального постмодернизма, здесь, в этом особом микроклимате, читателя обволакивают осенние сны, в которых обретают новую жизнь слегка старомодные, но вполне уютные «слёзы забвения», «тоскующие фуги», «свернувшиеся в клубок» галактики и «спирали созвездий».

О том, что является основой духовного существования лирической героини К. Крюковой, красноречиво свидетельствуют разделы книги: «Осенние сказки», «Посмотри над собой», «Письма Вольтеру», «Счастье брэнное-брэнное», «Весна-серна», «Как славен мир», «Моя святая тайна». В названиях заданы границы художественного и временного пространства, по большей части выходящего за рамки реализма. Это либо мир авторских фантазий, либо образы литературы, либо внутреннее состояние лирической героини – не случайно всё логически завершается разделом «Моя святая тайна». Подобный художественный эгоцентризм как раз делает книгу современно звучащей. И само название поэтического сборника – «Голос» – предполагает некое лирическое обращение автора к своему читателю, его готовность вступить в диалог и поделиться чем-то глубоко личным:

*В низовьях вен блуждает стук  
Крови мятежной.  
Пulsирует в запястьях рук  
Мой голос нежный.  
Он – не творенье моих губ,  
Он весь под кожей,  
А звук, рождённый мною, груб  
И односложен.  
Всё, что живёт-кипит во мне,  
Стекает лавой  
Сквозь пальцы на моей руке,  
Усталой, правой.  
Моя душа теперь чиста  
И неприкрыта.  
А в сердце белого листа –  
Клинок графита.  
(Одноимённое стихотворение)*

О чём же хочет рассказать нам Кристина Крюкова? Во-первых, это приглашение в осень – данная тема явно преобладает. И речь здесь не только и не столько о времени года – речь скорее о мировосприятии автора, по натуре романтика и созерцателя. Это осень его души, плавно переходящая в зиму – время и грусти, и творческой продуктивности. Конечно, поначалу приходится прорываться «сквозь дебри» классической лексики, смиряться с нарочитой литературностью слога, но в какой-то момент начинаешь верить в искренность поэтического высказывания, проникаешься доверительной интонацией авторского голоса, уютного и камерного. И уже хочется, вслед за лирической героиней книги, прийти домой, укрыться тёплым пледом, сесть у камина с чашкой ароматного чая с корицей и раствориться в уюте или хотя бы в мечтах о нём:

*Ароматами яблок ванильными,  
Я сегодня вдоволь напьюсь.  
Пусть снегами своими обильными  
Лижет землю туманная грусть.  
Полночь бьёт, ну а мне всё не спится.  
Улыбается штрудель в печи,  
Мне сегодня по вкусу корица,  
В этой зимней, холодной ночи.*

Подобный досуг располагает к мечтам, и вот уже за всем этим высоким «штилем» начинает отчётливо слышаться что-то предельно искреннее, настоящее. Это и желание любви, и страх духовного одиночества – самые простые и понятные каждому человеческие чувства:

*Я мечтаю: отельчик маленький,  
Снегом улочки занесены,  
Зимний вечер, диванчик старенький,  
Никого вокруг, только мы.  
И глотать эту новь бездонную:  
Даугавы, залива, огней,  
Где-то бодрюю, где-то сонную  
Меланхолию рижских дней.*

Эти восемь строк, на мой взгляд, одни из самых удачных в книге. И хорошо, что тут нет ненужного многословия: всё уместилось в нескольких штрихах, вполне реалистичных. Если и возникают иной раз мысли, что стихи Кристины Крюковой слишком витиеваты и не всегда написаны от имени себя, а от имени абстрактной лирической героини, то в подобных случаях все сомнения рассеиваются: здесь с читателем делятся своим, наболевшим, искренне выстраданным.

А ещё хочется сделать автору комплимент за его явную способность к художественному описанию. Всё же краски осени, наряду с тягой к зимней меланхолии, в книге преобладают. И, признаваясь в своей любви к этому времени года, поэтесса превращается в художника-акварелиста, насыщает мир яркими красками и полутонами:

*Акварель растекалась пятнами,  
Засыхла красками разными:  
Снизу бурыми, бледно-мятными,  
И верхушками жёлто-красными.  
(«Осень»)*

*Отчего салютует земля вам,  
Пышным цветом своих лесов:  
То зелёным, то красно-ржавым,  
В серебре речных поясов?  
(«Облака»)*

*Над сказкой природа бессильно клонится ко сну,  
Закат краснокожий повис у родного порога  
Заморским индейцем, что чистит наживку-блесту,  
И спущена в небо его золотая пифого.  
Она понесёт над землёй увядающий день,  
Осколки недолгих ночей беспокойного лета  
И сплетни черёмух, лениво бросающих тень  
На клевер звенящий и мох полыхающий где-то...  
(«Очень ещё не всерьёз»)*

Не удивительно, что явное предпочтение автор отдаёт жёлтому цвету. Он представлен во всех возможных оттенках: от пожухлого, ржавого до цвета сухого муската. И в итоге возникает ощущение сказки или праздника, янтарно-мускатного великолепия, вызывающего желание выбежать из дома, на природу и «дышать, дышать полной грудью...»:

*Ржавая осень, лимонная осень, осень сухого муската.  
Вымолить долгожданной влаги пытаются деревья,  
словно шаманы, звеня и засытая земной алтарь  
жертвенным золотом листья.  
В полуденные часы солнце ещё выпаривает  
измученную жарким летом землю,  
но вечера, вечера уже склоняют свежим, прохладным воздухом  
к длительным прогулкам под небесным  
куполом, расписанным звёздными фресками.*



Современный читатель может назвать подобное описание старомодной красотостью, но краски здесь настолько яркие, а образы и сравнения настолько волшебные, что об этом просто забываешь. А небесный купол, расписанный звёздными фресками – всё спасающая художественная деталь, переводящая повествование в плоскость сакрального, сокровенного. Для автора природа – это Бог, прообраз небесного царства, поэтому каждое общение с ней подобно молитве или даже исповеди. Тем более значимым и логичным кажется появление на этом фоне авторских лирических откровений о духовном родстве, о близком человеке:

*Мой светлый друг, твой одинокий гений  
Поёт тоску дождливой полутьме,  
И, переполнен дивных откровений,  
Трубит рожком в предупреденной сурьме.  
Из вод твоих напиться невозможно,  
Они мерцают у святых садов,  
И лишь стекают капли осторожно  
Слезой поэзы в венчики цветов.  
В полутонах ты видишь краски света,  
В багряных яблоках – огонь весны,  
И рвется в небо, требуя ответа,  
Твои земные радужные сны.*

Эти стихи, несмотря на их северянинскую вычурность, не лишены искренности – им хочется верить, как любой истории, рассказанной о себе самом. «Искренность – это истина», – сказал кто-то из поэтов, и с этим трудно, даже невозможно поспорить. Кристина Крюкова пишет о том, что её действительно волнует, поэтому любовь и природа – две главные темы книги.

И всё же хочется предостеречь её от чрезмерного увлечения литературным наследием прошлого. Конечно, не следует забывать о великих предшественниках, но при этом их голоса не должны заглушать голоса автора в поэтической ткани произведения. Эти голоса отчетливо слышны и в таком произведении, как «Россия», с одной стороны, актуальном и искреннем, но таким «есенинским» по форме:

*О, Россия моя некошенная,  
Непрочитанная глава!  
Отчего у тебя, взъерошенная,  
Непричёсана голова?*

*Отчего по твоим дорогам  
Неустанно кочует грусть?  
Отпусти ты её себе с Богом,  
И она отдыхает пусть...*

Возможности Кристины Крюковой уже сейчас настолько очевидны, что могут стать поводом не следовать за опытом прошлого, а сделать его частью самобытной, художественной картины мира. В стихах, написанных после выхода сборника «Голос», мы слышим уже больше смелости, свежести звучания поэтического голоса, уверенности в своём таланте – хочется верить, что одним прекрасным поэтом в мире литературы стало больше.

Но уже и в этом сборнике читатель может в полной мере наслаждаться прекрасной осенью цвета сухого муската и пить терпкое поэтическое вино за здоровье его создателя.

## «ТРЕЩИНЫ» РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: СУДЬБА ОДНОЙ КОРПОРАЦИИ

(Максим Привезенцев. История Мираксздания, Литрес: Самиздат, 2020 – 210 с.)

В наше время найти книгу, посвящённую актуальным вопросам современности и при этом имеющую художественную ценность, крайне сложно. Тем приятнее было открыть для себя новое имя – речь идёт об известном российском писателе и бизнесмене Максиме Привезенцеве и его романе «История Мираксздания». Несмотря на наличие вымышленных имён, история, описанная здесь, поражает своей реалистичностью. Безусловно, подобные ситуации с подобными героями случались в жизни. Особенно важно, что книга, написанная на стыке художественного жанра и документалистики, неожиданно вызвала

интерес занимательностью сюжета. Автором всё очень грамотно и чётко выстроено – история возникновения и крушения могущественной корпорации даётся на фоне исторических событий. Здесь частично затронуты девяностые, и, опираясь на них, автор обращается к нулевым.

Соблюдая «чистоту эксперимента», Привезенцев и в языковом плане старается быть точным. Принадлежность текста к определённой сфере выражается в соответствующих терминах, общенаучной и профессиональной лексике: стартапы, бизнесмолодость, девелоперы, инфоцыганы, бизнес-корпорация. Есть даже и подлинные языковые открытия: проничное слово олигофренды и ультрасовременное понятие pft-токен – уникальный цифровой объект, олицетворяющий чью-то уникальную творческую и интеллектуальную собственность.

Возвращаясь к историческому аспекту романа, отметим, что нулевые – безусловно, ключевое время развития событий. Интересно, что сюжет и фабула книги не совпадают – автор отнюдь не хронологичен, от 2006 года он может перейти к 2000-ному, и от 2000 к 2020-му. Ему важнее показать причины уничтожения компании и дать объёмную характеристику людей и событий – при этом сопоставить «сегодня» и «вчера» русского бизнеса, осмыслить, в чём принципиальная разница. В итоге за главным вопросом – куда исчезли активы могущественнейшей корпорации – встаёт другой, более масштабный: «Есть ли будущее у современного девелопмента и предпринимательства в целом?». Как это ни печально, ответ автора скорее отрицательный.

В ходе своих размышлений он приходит к выводу о том, что с течением времени уровень взаимного доверия партнёров-предпринимателей не просто понизился, но сошёл фактически к нулю. Если ещё в конце 90-х годов возможно было некое братство или даже своего рода семейственность, то в «роковые нулевые» ситуация в корне изменилась – учредители компаний стали работать по схеме «обогати себя и кинь партнёра». Что касается честного ведения бизнеса, то в условиях российской действительности это было в принципе невозможно и даже абсурдно, поскольку всем управляла мафия – местная и централизованная. Наглядной картиной такой предельной закоррумпированности стала история реконструкции Курского вокзала. Пытаясь усовершенствовать российские пути сообщения, герой романа, «вооружённый официальной бумагой с новыми полномочиями», вскоре осознал, что любой документ бессилён в борьбе с мафией:

*«...остались три упёртые... бизнес-структуры»: чебуфречники с прокурорской крышей, камера хранения со смотрящими от «магаметян» до майора транспортной полиции и парковщики с какой-то тоже невообразимой крышей. По этим трём мне из руководства РЖД просто передали: «Они должны остаться, только новый формат им придумай».*

Прослеживая подобную ситуацию на разных уровнях общественного устройства – от местных властей до верхушки власти – автор разворачивает перед читателем весьма неприглядную панораму насквозь прогнившей изнутри российской экономики и государственности.

В целом в романе, помимо масштабной картины исторического становления и упадка русского бизнеса, мы видим ещё несколько сюжетных линий: это история духовной деградации учредителя Мираксдания Сергея Полонского, история его вражды с партнёром Привезенцевым и собственно падение строительной корпорации. Сергей Полонский – типичный «герой своего времени» с присущими ему негативными чертами, отличающими бизнесменов новой формации: это нравственная нечистоплотность, чрезмерная подозрительность и экономическая недалёковидность, выраженная в отсутствии желания довести дело до нужного результата при жгучей потребности пустить пыль в глаза влиятельным лицам мировой экономики и обогатиться за чужой счёт.

Полное раскрытие характеров персонажей и логически последовательное осмысление происшедшего становится возможным благодаря тщательно продуманной композиции. Так, пытаясь более глубоко и детально изучить сюжетные ходы этой книги, я выделила для себя некоторые поворотные моменты повествования, условно назвав их «трещинами». В концепцию «трещин» укладывается и магистральная тема с крушением корпорации, и даже тот исторический материал, на фоне которого развиваются все события.

Каждый новый этап авторского размышления – это не что иное, как новая «трещина». Первая, вполне материальная, была связана со строительством башни «Федерация», где Полонского категорически подавили и чутьё, и здравый рассудок.

Желание блеснуть перед мировым экономическим сообществом и обеспечить закладывание фундамента башни в крайне сжатые и неудобные сроки привели к трагическим последствиям – фундамент треснул и повернул вспять историю грандиозного проекта:





*В середине апреля стало понятно, что плита треснула и не может нести нагрузку в 96 этажей...*

*Вердикт экспертов, изучивших проблему с трещиной, оказался убийственным – продолжать стройку можно, только если вместо одного подземного этажа залить новую плиту поверх дефектной. Полонский упирался до последнего, но крыть было нечем: в противном случае пришлось бы публиковать акты и заключения и закрыть строительство «Башни», что нас похоронило бы под этой самой плитой.*

Однако достаточно одной прорехи, чтобы вся конструкция впоследствии разошлась по швам. И следующей трещиной стал раскол в руководстве самой компании, выразившийся в воступе недоверия Полонского всем своим компаньонам. Многочисленные жучки, установленные в машинах сотрудников, чрезмерная подозрительность и даже параноидальность главы компании сделали своё гнилое дело и разрушили корпорацию уже изнутри:

*Трещина в фундаменте породила трещину в доверии Полонского к людям. Боясь, что история просочится в прессу до того, как китайцы всё исправят, Сергей просто помешался на безопасности и конфиденциальности.*

Что же стало следующей трещиной? Безусловно, трещина в самом Мираксздании, углубившаяся до размеров пропасти в тот момент, когда Полонский уже окончательно почувствовал свою безнаказанность и стал творить всё что хочет: кидать застройщиков и вкладчиков, обманывать своих же коллег и, наконец, переводить действующие активы компании за границу с целью самообогащения. Вот тогда, после фактически банкротства и появления компании «Альфа-груп», можно сказать, всё треснуло окончательно и бесповоротно.

Однако автор, как уже было сказано, проявляет ещё и интерес историка, экономиста и политика, поэтому начинает тщательно изучать трещины российской государственности. И выясняется, что там давно уже треснуло всё: служба госбезопасности, правоохранительные органы и, разумеется, высшие эшелоны власти во главе с президентом. Как говорится, «везде вор на воре сидит и воров погоняет».

А до чего интересна история внешнеполитических отношений у нас в стране! Оказывается, вывозить активы за границу под видом вкладов в несуществующие проекты очень даже просто: везде же есть свои люди, у которых свои проблемы, и которые, при условии, если ты решишь их проблему, готовы помочь решить твою.

А это уже трещина в целом мире! Исправить её уже не получится – для этого придётся в корне пересматривать все стороны ведения политики и бизнеса, а также менять менталитет девелоперов, чьи интересы далее своих собственных не распространяются.

В итоге сам роман Максима Привезенцева с этой точки зрения представляется вполне продуманным, логически выстроенным зданием с нижними и верхними этажами. И фундамент здесь, смею заметить, нигде не проседает.

Впрочем, есть одно существенное «но»! Размышляя на досуге на тему актуальных проблем российской действительности и приурочивая эти размышления к своим личным проблемам, автор осознанно или бессознательно создаёт ловушку самому себе. «Сезон охоты» на этого правдолюбца и так давно начался, но к концу книги становится ясно, что капкан может в любой момент захлопнуться, и затравленный зверь уже не сможет выбраться из него живым.

Что и говорить, история трагическая, местами даже страшная, но сам автор не из пугливых. Хочется пожелать ему сил, терпения и веры в победу справедливости.

А уж читатель свою порцию адреналина непременно получит.

# «КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

## ЛОВЛЯ НА ЗОЛОТУЮ БЛЕСНУ

(Игорь Шкляревский, *Золотая блесна. Книга радостей и утешений.* – М., Издательство «У Никитских ворот», 2020. – 192 с.)

Издательство «У Никитских ворот» сделало отличный подарок книголюбам, выпустив отдельной книгой победоносно шествовавшую по толстым литературным журналам «Золотую блесну» Игоря Шкляревского. Буквально за несколько месяцев до смерти Шкляревского я познакомился с двумя его близкими друзьями. Но встретиться с известным поэтом не успел. Он умер от последствий ковида в полном одиночестве, оставив нам напоследок книгу-жемчужину. «Золотая блесна» – философская книга о жизни. Вместе с тем это чистейшая лирика в прозе. «Золотая блесна» – это книга-река, – говорит поэт Виктор Коркия. Писатель и журналист Вячеслав Лобачёв, взявший у Шкляревского интервью под названием «Одинокий и счастливый», сообщает интересные сведения об этой книге, уже опубликованной к тому времени в «Знамени». Оказывается, предтечей «Золотой блесны» была статья Игоря о рыбной ловле «Золотые круги по воде, или история нахлыста», написанная для «Российской охотничьей газеты». Затем эссе о нахлысте перепечатал Алексей Алёхин в своём «Арионе». С этого всё и началось.

В отечественной литературе что-то отдалённо напоминающее прозу Шкляревского было у Василия Розанова – «Уединённое», «Мимолётное», «Опавшие листья». Розанов сумел объединить разрозненные дневниковые записи таким образом, что это воспринималось как откровение. Однако в современной литературе конкурентов у прозы Шкляревского попросту нет. Помимо «Золотой блесны», в книге есть ещё «Книга белых ночей и пустых горизонтов», своего рода продолжение «Блесны». Форма одна и та же, а вот названия – разные. Что, как вы понимаете, тоже вызывает ассоциации с вышеупомянутыми книгами Розанова.

«Что же такое „Золотая блесна“? Роман это или повесть?» – спросите вы. Не то и не другое. Книга радостей и утешений. Лирический дневник. Автопортрет большого поэта. Шкляревский был известен в литературных кругах как страстный игрок. «Золотая блесна» открывает нам другую страсть поэта – к рыбной ловле, а ещё к собиранию грибов. Вот что говорит о своём детище автор: «Я собирал счастливые мгновения. Такая память мне была подарена. И в этой книге я – собиратель радостей, которые не нужно покупать за деньги».

Трудно поверить, что герои «Золотой блесны» проводят на Крайнем Севере так много времени. Эти места в Архангельской области – настоящее «место силы». Особенные места, куда приходит на нерест красная рыба, в основном сёмга. Тихий заброшенный домик преобразуется у Шкляревского в портал, откуда можно выйти куда угодно – в детство, в московскую квартиру, к далёким звёздам, одиноко сияющим во вселенной. Как хорошо, что академик Лихачёв убедил Игоря писать прозу! Не каждый поэт заподозрит в себе не менее талантливого прозаика. «Золотая блесна» – больше, чем проза поэта. Это произведение, которое практически не имеет аналогов в русской литературе.

Бессюжетная, с множеством внутренних сюжетов, «Блесна» чем-то напоминает мне «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери. Это тоже книга о несказанном, непроявленном, внезапно возникающем, о неуловимом и потому ценном вдвойне. Человек наедине с самим собой; космос внутри и снаружи. Книга невероятно лиричная – и, вместе с тем, экзистенциальная. Герои поставлены в условия, в которых они вынуждены в буквальном смысле выживать. Так живут на севере не только туристы и путешественники, но и местные жители, аборигены. Наверное, людей могла бы прокормить рыба. Но ловля рыбы в этих краях запрещена.

Не случайно одним из главных героев «Золотой блесны» является рыбинспектор. Игорь Шкляревский пишет о том, что зарплата у инспектора мизерная, но никто из них не увольняется, поскольку такая работа очень азартна. Другие герои Шкляревского, реально существующие люди, тоже нашли для себя



что-то важное в этих суровых полярных условиях. Экспедиции на Север стали для них нормой жизни, адреналином, без которого они уже не могут существовать. Жизнь в этих краях совсем не простая. Чтобы выжить, людям приходится браконьерствовать. Государство устроено таким образом, что наказывает копейкой только бедных и нищих.

«Золотая блесна» воспринимается как поэма в прозе. Не случайно автор, по рассказам очевидцев, читал эту книгу наизусть, чем немало их удивлял и озадачивал слушателей – кто-то даже рифмованные стихи не способен запомнить. Вот выдержки, крылатые выражения из повести. «Все мы – сироты вечно-сти, все мы – детдомовцы неба...», «На безлюдье время замедляется», «Я что-то знаю, но боюсь сказать», «Особенное свойство памяти – не помнить то, что знаешь», «Слепому ночью не темно», «Слепые любят закрывать глаза». Некоторые мысли напоминают «голые» поэтические строки.

Игорь Шкляревский – собиратель редкостей не только во фразировке. Мы узнаём от него о том, что Гомер (в продолжение темы слепых) – это, скорее всего, имя не самого рапсода, а зрячего мальчика, который водил старого слепца. И этот мальчик, умевший писать, выдал чужие произведения за свои. Ещё одна редкость от Шкляревского. «Вечерний звон» – оказывается, вовсе не русское стихотворение, а английское, Томаса Мура, «Those evening bells».

А ещё – автор книги постоянно возвращается к до-бытию, представляет себя ещё не существующим. Вечность позади и вечность впереди. «Золотая блесна» – это философия, целиком ушедшая в лирику, книга особой чуткости к бытию. «Раздетая» творцом северная природа учит внимательности и наблюдательности. В мегаполисе не увидишь звёзд даже ночью. А на севере, в уединении, нет места самообманам, говорит автор. Отметим его природное родство с водой, феноменальную память, тягу к эскапизму от цивилизации, счастье саморастворения в природе. Он «наслаждается неуютностью». Бывают ведь и духовные виды «садомазохизма», когда человеку хорошо вне зоны комфорта.

Шкляревский, как и многие его сверстники, не понял и не принял новую технократичную эпоху, пришедшую с появлением компьютеров. Выросло целое поколение оппозиционеров техническому прогрессу. Это тоже своего рода страсть. «Нашли кого ловить своими ноутбуками», – ёрничает поэт. Но подобное ретроградство достаточно привлекательно. «Мир ловил меня, но не поймал», – говорил философ Григорий Сковорода.

Руки героев повести ноют в порезах от натяжения лески. Соль, которой они обрабатывают рыбу, усиливает боль и препятствует заживлению. Их поединок с природой чем-то похож на тот, который описывает Хемингуэй в повести «Старик и море». Но часы нечеловеческого напряжения перемежаются у рыбаков с периодами блаженного золотого безделья, благо для отдыха есть крыша над головой. Вспоминается Мандельштам: «У меня остаётся одна лишь на свете забота, золотая забота, как времени бремя избыть». И такое времяпровождение как нельзя лучше отвечает потребностям души Игоря Шкляревского. «А вот бизнесмены – несчастные люди, – говорит Шкляревский, – им некогда перечесть «Трёх мушкетёров».

Как бы интересно я ни писал о «Золотой блесне», это нисколько не сравнится с её собственным слогом. Послушаем автора: *«Бедности я не боюсь, на старость не коплю, в компании не жеду, когда другие вытаскают бумажники. Старость свою я обеспечил книгами и золотыми листьями, упавшими сегодня на крыльцо, на плёсы, на тропу. В одно мгновение я проживаю годы, которые ещё не прожил, и вот я стаф и очень одинок, и все мои друзья отсутствуют по самой уважительной причине. И только книга – мой последний друг, единственное утешение ещё живых, но никому не нужных, включающих в своей берлоге свет и наслаждающихся плавным сырком на белом хлебе, они остались с ней, отзванивая чайной ложкой время счастья и предвкушая изумительные превращения в любимых персонажей».*

Игорю Шкляревскому удалось передать первозданность северной природы и стать своего рода литературным сталкером, проводником к прекрасному. Скудость природы оказалась обманчивой, оборачиваясь в итоге богатством души человека. Попадая из реальной жизни в книгу, всё становится поэзией, даже вредные привычки самого Шкляревского. Например, он имел обыкновение звонить друзьям в четыре часа утра. Если тебе позвонят в такое время, ты вряд ли будешь доволен. А читать, как поэт будит ночью других – абсолютно безвредно и даже любопытно.

Игорь Шкляревский, по-евангельски, тоже «ловец человеков». На свою «золотую блесну». Автор дарит читателям чувство беспредельной свободы. Моя рецензия – далеко не первый отзыв на повесть Шкляревского. Напомню, до того, как выйти отдельным изданием, книга была опубликована в журнальном варианте. Статьи о «Золотой блесне» вышли у таких известных писателей как Лев Новожёнов, Олеся Николаева, Илья Журбинский, Марина Кудимова, Анатолий Курчаткин, Михаил Синельников, Зоя Межирова, Виктор Коркия. Это только подчёркивает особую значимость «Золотой блесны» и примкнувшей к ней «Книги белых ночей и пустых горизонтов» для русской словесности.

### ВИКТОР ШЕНДРИК: «ПРИМИТЕ МЕНЯ РАЗНОГО»

(Виктор Шендрик, *Колыбельная для... Стихотворения*. – Киев, Друкарский двор Олега Фёдорова, 2021)

*От редакции: 19 сентября Виктор Шендрик, к нашему глубокому сожалению, ушёл в мир иной, успев порадоваться этой рецензии...*

Новая книга Виктора Шендрика представляется мне поступком не только эстетическим, но и гражданским. У поэта есть внутренний стержень, твёрдость убеждений, ответственность за свои действия, высокая нравственная требовательность к себе. Строчки у него – «не гнутся». Приведу ещё одну цитату, характерную для творчества Виктора. Он так говорит о своём герое: «У него что ни слово – камень». Несложно догадаться, что в данном случае лирический герой равен автору книги. Шендрик освоил «науку держать удар». Внутренняя сила и убеждённость, присущие поэту, часто вызывают в нём «движение сопротивления», когда что-то не даёт осуществиться, мешает жить по-человечески. Стихи Шендрика отличаются здоровой бескомпромиссностью. Личное и общественное при этом Виктор не разделяет.

*Хочу не слышать даже дальних взрывов.  
И вот не обману –  
Успеть увидеть хоть чуть-чуть счастливой  
Хочу свою страну.*

У пишущего человека часто возникает творческая дилемма: стоит ли писать стихи на социальную или гражданскую тематику или же это «низкий» жанр, недостойный кисти большого художника? Мне кажется, Виктор никогда не сомневался в необходимости такого творчества. Он вышел из народа, а наличие у него социальных и гражданских стихотворений недвусмысленно свидетельствуют о том, что он по-прежнему со своим народом. Помните, у Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». Всё это можно сказать и о Викторе Шендрике. Близость к народу «проговаривается» у него и в просторечных выражениях, которые он широко использует в своей лирике.

Многие темы стихов Шендрика словно бы подсказаны ему творчеством Владимира Высоцкого. О великом барде сказано немало, однако его влияние на творчество наших современников исследовано недостаточно хорошо. А оно есть, и очень значительное. Говорю со знанием дела, поскольку испытал подобное влияние и на себе. Творчество Высоцкого явилось инициатором обращения многих людей к искусству. На мой взгляд, именно творчество великого барда подсказало Виктору Шендрику, что важно не замыкаться в каком-то одном жанре, а искать тематическое и стилистическое разнообразие. Шендрик пишет и лирику, и дворовые сюжеты, и гражданские стихи, и шуточные. Юмор у Виктора настоящий, качественный, заразительный. Публика смеётся до упаду. Шуточные стихи соседствует у поэта со стихами предельной жёсткости:

*Мы, посчитав подачку за победу,  
А за рассвет желанный – всталику спички,  
Мы, выйдя из вокзального буфета,  
Трясёмся в отменённой электричке.*

*Мы – пленники фасовок и бутылок,  
Радители майвок и парадов.  
Мы не желаем строиться в затылок  
И рвёмся во дворы военкоматов.*

*Отвоевав и с церковью, и с водкой,  
Негаданно проснувшись палачами,  
Мы обладаем памятью короткой,  
В злопамятстве не спящие ночами.*

Это голос совести народа. Именно такие стихи преобладают в новой книге Виктора Шендрика. Он затрагивает болевые точки нашего времени, и одна из них – проблема языка. Можно ли развивать один язык в ущерб другим, не «питульным», не государственным? Вот что говорит об этом поэт:



*Армагеддона, верю я, не будет  
Ни в центре, ни на дальнем хуторке,  
Когда заговорят друг с другом люди  
В стране на человечесьем языке.*

Книга Шендрика задумана так, чтобы представить его творчество в полном объёме. Для поэта неприемлем мир «горизонтально глядящих людей». Наоборот, в нём сильна жажда взлёта, готовность к поступку, а если нужно, и к подвигу. Шендрик – из племени «хулиганов». Помните, у Гафта: «Что за манера – сразу за наган, / Что за привычка – сразу на колени. / Ушёл из жизни Маяковский – хулиган, / Ушёл из жизни хулиган Есенин»? Хулиганство, по его собственному признанию, мешало Шендрику в юности, а теперь... прозвучит парадоксально – помогает ему, как в жизни, так и в поэзии. Виктор «знает цену куражу».

*Мне достались и ум, и сила,  
Двигай в гору, глаза не жмурь!  
Но несла меня, заносила  
Хулиганская моя дурь.*

*Заносила почти до краю  
Да не сбрасывала едва.  
И, обязан кому, не знаю,  
Что цела ещё голова.*

Пока другие испугались и молчат, Шендрик не лезет за словом в карман. Бывает времена, когда бесстрашие и нонконформизм важнее, чем молчаливое соглашательство. Помните у Маяковского его знаменитый послы «Нате!»? Виктор Шендрик глубоко и творчески осмысливает наработки классиков, демонстрируя при этом в мощную энергетика слов. В приведённом ниже стихотворении это «нате» звучит у него как «вот вам»: что хотели – то и получили.

*Вот вам время, которое лечит,  
Вот безвременья чёрный провал.  
Как давно не бывал я беспечным,  
Я спокойным давно не бывал.*

*Я давно не бывал осторожным,  
Не приемля ни в чём полумер.  
Не сама ли зануда тревожность  
На снегу начертила барьер?*

*И острей, справедливей, уместней  
Отсчитать эти десять шагов,  
Но по-прежнему песни, не перстни,  
Я точу из злачёных оков.*

*Я теперь не терплю позолоты.  
И всё так же не терпит рыбка  
Этот путь через долгие годы  
К пониманью, что жизнь коротка.*

Стихотворчество для Виктора Шендрика – ещё и самотерапия, способ обуздать себя, «улучшить» в себе человеческое: «И, чтобы унять себя, / Я буду писать стихи». О каких-то важных вещах поэт говорит иносказательно, используя принцип отстранения. Например, в стихотворении «Кромвель» он через образ английского политика и полководца, даёт некоторые черты собственного мировоззрения. В этом же ряду – и сказочный цикл поэта о драконах.

Многие стихи Виктора Шендрика положены на музыку и часто звучат на поэтических фестивалях. Я слышал песни на его стихи в живом исполнении барда Михаила Квасова. Мир, созданный Виктором, парадоксален. Лирический напор, энергия – и, в то же время, «колыбельные». Бог для Шендрика – в самом человеке. «Я и без Храма не был подлецом, / Святошю не стану и во храме», – твёрдо убеждён поэт. Он верит в лучшее будущее – как для себя, как и для родной страны.

*Долог век у сошедших с холста,  
Краток шаг от прозренья до боли.  
И не так уж пуста пустота,  
И не зря переполото поле.*

«Колыбельная для...» – книга духовных исканий и обретений. Книга Шендрика полифонична, в ней отчётливо звучат и «я», и «мы». Человеческая позиция Шендрика мне очень близка, а его творчество напоминает мне воспетый Высоцким «бег иноходца». Открытая и искренняя, лирика Виктора пронизана особой человечностью. Она ценна гармоничностью чувств и мыслей поэта. Шендрику присущи хлёсткость и меткость фраз. Человек странный, подчас грешен, способен на непредсказуемые проступки. Он – пленник собственного характера. Но надо принимать его таким, каков он есть. Умение прощать – ключ к любви, поскольку другой человек, в свою очередь, простит тебе.

*Не гните меня, ломкого,  
Нельзя потакать властному,  
Услышьте меня, звонкого,  
Примите меня разного.  
Воздайте мне здесь, здешнему,  
Я большего не ишу.  
Простите мне всё, грешному!  
Простите!  
А я прощу.*

#### «ЦЕЛИТ В СЕРДЦЕ НАМ ЗВЕЗДА»

(Илья Оганджанов, *Бесконечный горизонт. Стихотворения*. – М., Летний сад, 2020. – 76 с.)

«Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки. Творчество – преемственность и постепенность». Так Марина Цветаева требовала от Георгия Адамовича, чтобы он, когда пишет о том или ином поэте, не просто судил о нём по последней книге, а наблюдал за его творчеством в динамике, в естественной эволюции. Мне посчастливилось наблюдать за становлением поэта Ильи Оганджанова.

Человек, не знакомый с творчеством Оганджанова, читая его новую книгу стихов «Бесконечный горизонт», вероятно, очень удивится, узнав, что автор в прошлом писал и публиковал в основном верлибры. Потому что в новой книге Оганджанов выступает с силлабо-тоническими рифмованными стихами. И не просто как поэт-традиционалист. Даже у почвенников мы не всегда найдём строки такой строгой чистоты. Сказать, что Илья Оганджанов сильно меня удивил, – ничего не сказать. Зачем он прятал от нас эти сокровища? Думаю, с его творчеством произошла возрастная метаморфоза. Пушкин писал: «лета к суровой прозе клонят». Видимо, для современной поэзии пушкинская «проза» – это как раз классическое стихосложение.

При этом Оганджанов остался самим собой – медитативным лириком из давней своей книги «Вполголоса» и недавней – «Тропинка в облаках».

Думаю, очень немногие из наших верлибристов способны писать силлабо-тонику на том уровне, на котором она представлена в новой книге Оганджанова «Бесконечный горизонт». Поэт не просто «показывает» нам, что он умеет рифмовать. Он пишет так, будто всю жизнь писал исключительно классические рифмованные стихи.

*Небо, поле, тишина.  
Больше ничего не надо.  
Пью вечернюю прохладу  
Из открытого окна.*

*Памяти закатный свет.  
Тени на тропинке сада.  
Больше ничего не надо.  
Больше ничего и нет.*

«Бесконечный горизонт» представляет собой не «избранное», а цельную книгу, разбитую на пять подразделов, с одной-двумя доминирующими нотами. Словно поэт сел за письменный стол, взял ручку – и написал одним махом большой цикл стихов, с каким-то блоковско-тютчевским настроением.



Верлибровость порой проскальзывает в новой книге Оганджанова лишь отсутствием пунктуации и голосовым стаккато:

*под откос несутся годы  
вдаль уходят поезда  
и у матери-природы  
талые отходят воды  
целит в сердце нам звезда*

«Бесконечный горизонт» – книга меланхолическая и в чём-то даже декадентская. При этом стилистическая палитра стихов весьма богата и разнообразна, как и технический инструментарий, которым пользуется поэт: здесь есть и постмодернистские приёмы, и элементы «гражданской» лирики («близилась эра / да мимо прошла / клич пионера / вечности мгла»), и так называемая ироническая, а точнее, самоироническая поэзия («В субботу и в воскресенье / Лежу и плаю в потолок. / Как радуется лучик весенний. / Как ранит осенний листок»). Словно маяки, в книге – поэтические аллюзии и цитаты («Только ветра вздох глубокий. / Только парус одинокий, / бесконечный горизонт»). За традиционную классику «отвечают» восьмистишия с их невероятной ёмкостью, которую открыл, помнится, Осип Мандельштам, встречаются даже твёрдые сонетные формы. И порой всё это органично соединяется в одном стихотворении:

*чётный день или нечётный  
как вода текут года  
птиц не слышно перелётных  
не вернутся никогда*

*лунный свет на землю льётся  
спят в разлуке города  
в окна как на дне колодца  
смотрит пристально звезда*

*свет ли тьма ли чёт ли нечет  
ржавой бритвой время лечит  
что даровано судьбой  
тает в дымке голубой  
и останется с тобою  
ночь аптека буря мглою*

Один из основных мотивов «Бесконечного горизонта» – безответность бытия. Вся жизнь человека – словно «час перед разлукой» и тщетная попытка докричаться, достучаться до Вышнего, ближнего, до самого себя...

*Это так всегда перед разлукой.  
Золотая осень. Листопад.  
Другмойдругмойдругмой, дай мне руку.  
Птицы перелётные кричат.*

Но ответа нет. И это переполняет сердце поэта невыносимым чувством одиночества. И он с горечью задаётся вечными вопросами, на которые боится получить ответ:

*Бессонный бег автомобилей.  
Дремучий ливень. Юный май.  
Зачем, зачем мы в этом мире?  
Нет-нет, прошу, не отвечай.*

Ощущение собственной конечности усиливается от понимания бесконечности «равнодушной природы»:

*Дожди, дожди. Снега, снега, снега.  
Вчера, сегодня, завтра, на века.*

Но от вселенского одиночества нет спасенья. Земное чувство даёт лишь на миг забыться, превращаясь в прелюдию к смерти. Поэтому и стихи, обращённые к лирической героине, тоже пронизаны глубокой безысходностью:

*Посидим, помолчим на дорожку  
и поедем потом на вокзал.  
Это будет, как смерть понарошку,  
рифму к ней я в снегу подобрал*

*с детской варежкой, с кистью рябины,  
вместе с ружнувшей навзничь судьбой.  
Это будет, как крик ястребиный  
в синем небе, в дали голубой.*

*Это будет, как будет, как будто  
в целом мире ни с кем, никогда.  
Дымный воздух. Морозное утро.  
Стук колёс. Поезда, поезда...*

Жизнь для лирического героя «Бесконечного горизонта» – свеча на ветру, тлеющая сигарета, бесконечное прощанье («и ты дайшь мне руку / украдкой чуть дыша / как будто на века / предчувствуя разлуку»). Но за всем этим «декадансом» скрывается стоическая твёрдость, с которой поэт принимает крушение настоящего и предуготованность будущего.

*Сигарету ногой затуши,  
В мировые взглядишь чертежи:  
В голых кронах осеннего сада  
Плачет ветер... Но плакать не надо.*

Принимает и с щемящей болью примиряется с трагически прекрасной, брэнной и бесконечно уходящей от него жизнью.

*Плеснула волна у причала,  
Прозрачна, легка, холодна.  
И чайка вдали прокричала,  
Как будто на свете одна.*

*И с грохотом убранны сходни.  
Кричит пароход над рекой,  
Как будто не в рейс он уходит,  
А в вечность, прощаясь с тобой.*

### ЛАМПА ВАЛЕНТИНЫ СИНКЕВИЧ

(*Валентина Синкевич, При свете лампы. Стихи разных лет. – Нью-Йорк, The New Review Publishing, 2016. – 136 с., илл.*)

«При свете лампы» – последняя прижизненная книга поэта, изданная к 90-летию со дня рождения, щедро иллюстрированная фотографиями её встреч с русскоязычными писателями Америки. Я получил эту книгу с царственной дарственной надписью автора. Валентина – эмигрант второй волны. Она прожила долгую и насыщенную жизнь. Издавала в Штатах альманахи, которые объединяли под одной обложкой русскую творческую эмиграцию. «Встречи» выходили на протяжении тридцати лет, с 1977 года. Поэт Лев Лосев так написал о важности литературного подвижничества Валентины Синкевич: «Что же делать русской лире / в неуютном этом мире? / Наши варварские речи / не оценят, не поймут. / Валентина, Ваши «Встречи» – / наш единственный приют».

«Каждый пишет, как он дышит, – говорил Окуджава. К Валентине Синкевич это относится в очень большой степени. Её дольки кажутся порой корявыми, но это стиль, хорошо отражающий её душу, её многомерную личность. Она ушла из «большого и стройного хора» приверженцев классической силлабо-тоники и обрела свой голос, не похожий ни на кого.





## СОЛО

*Первое, что я помню: были какие-то странные звуки,  
нестройные и непонятные, как иностранный язык.  
Но из этого хаоса, из радости этой и муки  
песня рождалась, к ней мой слух не привык.*

*Ещё не зная слов и не понимая мотива,  
я повторяла что-то, стараясь подражать другим,  
старалась петь в унисон, слова произносить красиво,  
и не могла. А регент был суров и нетерпим.*

*II я ушла из большого и стройного хора,  
и вдруг запела, сама сочинив слова и мотив.  
II пою сейчас, ни перед кем не опуская взора,  
не забываясь, чтоб стих был гладок и голос красив.*

Помните, у Цветаевой: «Что вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих?». Валентина Синкевич сама признаётся в том, что её стихи, с точки зрения формы, не являются образцом для подражания. В чём это обычно проявляется? То и дело в строчках появляется «лишняя» стопа. Однако интонационно всё хорошо обыгрывается, словно бы и не было избыточных для классической метрики слогов. Нужен особый поэтический слух, чтобы расслышать эту «неправильность». Валентина Алексеевна взрастила собственный стиль, который допускает отклонения от метрического канона. Она говорила в интервью, что на ритм и метр её стихотворений повлияла в первую очередь современная американская поэзия. По сути, все стихи Валентины Синкевич – это лирический дневник, исповедь. Познание жизни через живую и пытлившую душу. Что поражает в последней прижизненной книге поэта? Обилие новых стихов, написанных уже на девятом десятке лет. Вот, например, «Прогулка»:

*Сегодня собака не лает  
и воду она не пьёт.  
Может быть, она знает,  
что день это тот,  
в который уйду из дома  
и не вернусь назад,  
слова мои будут гулко  
стучаться в чужой фасад,  
а я буду всё упрямо  
на ощупь идти, на авось,  
мне нужно б идти прямо,  
а я, как всегда, вкось,  
где всё незнакомо: дома, переулки,  
всё не туда, и не то...  
Но я возвращусь с прогулки  
лет, может быть, через сто.*

Бросается в глаза, что все стихи Синкевич – «штучные», не похожие друг на друга. Наиболее близки мне у неё стихи амбивалентного звучания. «Когда-то нас вспомнят: мы пели / на этой красивой и страшной земле», – говорит поэт, и это не изыск, не поза. Эти строчки вызывают у меня в памяти посыл великого русского прозаика XX-го века Андрея Платонова «в прекрасном и яростном мире». Пожалуй, «на красивой и страшной земле» – звучит даже более парадоксально. «Контраст! Дайте мне контраст!» – восклицал другой эмигрант, приехавший из России в Америку, – знаменитый пианист Владимир Горовиц. У Валентины Синкевич контрастность даёт нам ощущение максимального объёма бытия.

В стихотворениях, вошедших в книгу «При свете лампы», много изюминок. Так, например, осень у Синкевич «своя», а лето – «чужое». Иногда поражает сам взгляд поэта на мир. В стихотворении «Платье» женщина и её платье хороши в симбиозе, дополняя друг друга: «Оно танцевало и пело... / А в нём было тело, / нагое и бедное без него». Без своего платья женщина, мягко говоря, неубедительна. А без женщины и платье – лишь бесформенный кусок материи. В другом стихотворении Синкевич героиня сходит к людям с холста. А вот её строка про Новый год: «Звезда разбилась, упавши с ёлки». Всё это очень необычно, поэтично, с «небесной стереометрией» Лобачевского.

Почти все стихи последних лет у Валентины Алексеевны – «адресные». Когда человеку исполняется 90 лет, он становится лёгким, как пушинка. И, чтобы его окончательно не сдуло с земли, он ещё сильнее привязывается к друзьям и любимым. Поздние стихи Синкевич посвящены Михаилу Мазелю, Борису Рыжему, Ивану Елагину, Владимиру Шаталову, Владимиру Агеносову, Марине Адамович, Павлу Бабичу, Марине Гарбер, Сергею Голлербаху, Тамаре Гордиенко, Юлии Горячевой, Елене Дубровиной, Евгению Евтушенко, Татьяне Корольковой, Рине Левинзон, Игорю Михалевичу-Каплану, Николаю Моршону, Люсе Оболенской, Виталию Рахману, Гале Рубинштейн (знаменитой Гале Руби из стихотворных посвящений Дмитрия Бобышева), Раисе Резник, Ирине Чайковской и другим писателям и литературным деятелям русского зарубежья.

Валентина Синкевич умела дружить! Мы видим, что среди её адресатов присутствуют на равных правах и живые, и уже ушедшие. Существует неделимость пространства в сердце человека. Сердце одинаково объёмлет и привлекает и по ту, и по эту сторону океана жизни. Конечно, поэт славен, прежде всего, «лица необщим выраженьем», и у Валентины Алексеевны, на мой взгляд, с этим полный порядок. Думаю, в последние годы жизни писать ей было проще, поскольку новейшее время готово игнорировать строгие формы стихосложения.

*Утро – всегда вдруг.  
Утром звонит друг  
из другого сна,  
другого окна.  
П я,  
она  
отвечает,  
отвечает  
тебе,  
ему  
из моего,  
её сна.  
П я,  
она  
сплю,  
спит,  
а телефон  
звонит,  
звонит.  
П я,  
она  
не пойму,  
не поймет,  
почему из пустоты  
зовёшь ты,  
зовёт он,  
почему телефон  
звонит  
в 7.30  
утра...*

Теперь, когда земная жизнь поэта завершена, нам бессрочно «звонят» по книжному телефону её строки. Валентина Синкевич щедро одарила меня дружбой, сердцем, протянутым через океан. Это было неожиданно и радостно. Мы никогда не виделись воочию, но она расхваливала американским друзьям по телефону мою статью о Бродском. Подарила мне книгу Валерия Перелешина, которую он подписал ей много лет тому назад. Надеюсь, что отдаёт в хорошие руки. Моя душа согрета навсегда её голосом, которого я никогда не слышал. «Лампой» её души, которая продолжает светить.



«ЛАЗУРЬ, И КИНОВАРЬ, И ОХРА...»

(Инна Ряховская, Ты и я. Книга стихов. – М., Вест-Консалтинг, 2021. – 86 с., илл.)

Бывает так, что трагедия не отвечает характеру дарования поэта, но трагизм жизни об этом его не спрашивает. Жизнь не спрашивает у писателя, отвечает ли она характеру его дарования. В книге «Ты и я» Инна Ряховская попыталась восполнить личную трагедию, смерть мужа, красками потерянного счастья. Но читать такую книгу очень тяжело. Как будто прикасаешься голыми пальцами к электричеству человеческого горя.

*Что-то грозно-неохватное  
Подступало и несло  
Золотую мою лодочку –  
Потеряла я весло...  
Мысль и чувство стали музыкой,  
Стала музыкою я.  
Стали лишнюю обузую  
Все приметы бытия.  
И когда с последним тремоло  
Разразилась тишина,  
Я была за гранью времени –  
Там, где нет его.  
Одна.*

Сложно, рыдая, при этом ещё и слова говорить. Трудно переплавить боль в точные строки. В то же время для поэта естественно в трагедии спастись стихами. Их качество – вещь при этом второстепенная. Главное – не сойти с ума от безвозвратности потери, суметь примириться с новым миром и жить дальше. И, чем больше было счастья с любимым человеком, тем сложнее это сделать.

*Лазурь, и киноварь, и охра,  
Багрец и турнур, изумруд  
Тропинками средь веток мокрых  
В объятья осени введут.*

*Как тетивой тугого лука  
Стрела оттушенная влёт,  
Так высью запредельной звука  
Просторный небосвод влечёт.*

*Вальсируя в лучах неярких,  
Кружится золото листвы,  
Щедры последние подарки  
Тепла в оправе синевы.*

*Тем и прекрасно увяданье –  
Природа круг свершает свой,  
Но непоколебимо знание:  
Всё возрождается весной,*

*Из смерти – в жизнь преобразование,  
И снова прорастет зерно.  
А человеку возвращенье  
Не суждено... Не суждено.*

Инна Ряховская тонко чувствует окружающую среду, и лучшие её строки, так или иначе, связаны с природой. Особенно хорошо удаются ей пейзажи. Душа поэта сливается с природой, и природа словно бы начинает говорить голосом человека. Природа помогает лирическому герою справиться с выпавшими на его долю испытаниями. И человеческая трагедия растворяется в пантеизме:



*Станем цветами, покосами,  
станем жемчужными росами,  
песней бесхитростной, звонкою  
в поле былинкою тонкою,  
радугой в небе пологою,  
в пыльных просёлках дорогою,  
скрытой за облаком кручею,  
лёгкой строкою певучею.*

# «ШКАФ»

**ЕЛЕНА ХИНИЧ**

## «МОЁ ЧАСТНОЕ БЕССМЕРТИЕ»

(Борис Клетинич. «Моё частное бессмертие». Роман. «Arsis-books» – М., 2019, 456 стр.)

Роман Бориса Клетинича «Моё частное бессмертие» – это речь, которой создан мир. Вещественный и живой. Выпуклый как чеканка. Порождающий у читателя эффект собственного в нём присутствия.

Он уже довольно известен, этот роман. Но всё-таки не до такой степени, чтоб ради него идти в библиотеку или в книжный магазин. Но – хвала соцсетям – мы с автором фейсбуковские друзья, благодаря чему я, музыкант по образованию, открыла Клетинича... певца. Самоучка-бас, тембр, простите за выражение, обалденный. Интонации покоряют чистотой и честностью. Каждая песня – маленький спектакль. Всякую новую запись ждёшь, предвкушая открытие. И оно происходит.

Поэтому чисто из любопытства купила книгу.

Она досталась мне в лучшем виде: увесистый московский том с шелковыми страницами, интригующей обложкой и еле уловимым запахом немереной и нечитанной романной целины.

Читала, «рассусоливая». Как всё, что нравится тянуть через трубочку.

А смаковать хотелось всё! Особенно – речь автора, то вихрастую и всклокоченную, то суховато-документальную, то ищущую нужное слово – и изобретающую его, совершенно небывалое, новое, со своим сердцебиением (теперь жалею, что не выписывала такие слова-самородки по ходу дела). А ещё к слову прилагаются эпитеты – насыщенные, богатые ассоциациями, будто надстройка, рождающая базис понимания. Они образуют зацепки для памяти, вырубая ступеньки в скале читательского восприятия.

Повествование от первых лиц – таков основной приём автора, хорошо работающий там, где надо оживить нас в персонажей, в их мотивацию,

психологию и в саму судьбу. Мы в водовороте событий, масштабно-исторических и интимно-частных. Вместе с героями романа мы скользим по пограничному льду выбора, принимаем решения, иногда верные, а иногда ошибочные, но почти всегда фатальные.

Случайно ли то, что от замысла и до выпуска в свет работа над «Моим частным бессмертием» оказалась растянута на четверть века? Думаю, по другому и быть не могло. Даже первая, журнальная публикация в «Волге» не подвела под этой работой черту. Идеи продолжали оттачиваться, метафоры – проходить шлифовку. Но чувствовала ли я, читая этот многолетний международный эпос, некий груз «прожитых лет», назидание потомкам, выстраданную глубокомысленность?.. Да ничуть не бывало!

Клетинич пишет как поэт. Глубоким басом, но легко, полётно. Писательский его тембр глубок и светел. Это голос молодого человека (1961 года рождения), чей артистизм не только не отрёкся от правды жизни, от сложных её сторон, но закалился в них.

Действие романа разворачивается в 1930-80-е. Транслируя нам эти времена, автор ухитряется превращать их в синоминутную, вот в этот самый миг творящуюся реальность, в которой мы, читатели, в главной роли. Диалоги, протоколы допросов, ходы шахматных партий, исторические хроники и интимные дневники... – буквально втягивают нас в свой лес, кажущийся поначалу глухим и непролазным. Точно проверяют нас: заблудимся ли бесславно или выберемся на свет, обогащённые новым опытом.

Лично я выбралась. И страшно довольна путешествием.

Наверное, было бы правильно с моей стороны

дать хотя бы краткую аннотацию. Но не хочется размещать неуклюжий спойлер. Королевская Румыния (линия бабушек главного героя), советская Молдавия (родители главного героя), блокадный Ленинград (шахматист Корчной, полный тёзка главного героя), студенческая Москва (сам главный герой), филиппинский Багио (матч за звание Чемпиона мира между Корчным и Карповым)... каждую из этих линий можно прожить как отдельную новеллу со своей поэтикой... Но приходит день окончательной сборки всех частей. И тогда открывается панорама, от которой захватывает дух. И уже ни капельки не жалеешь о потраченных усилиях, а только думаешь: как хорошо, что я встретила этого певца-самоучку на фейсбуке и узнала таким образом о его книге.

Чувствуется, он немало ходил «в люди». Окончил немало «моих университетов». И, став прототипом главного героя (в романе его зовут «Виктор Пешков»), послал привет однофамильцу, основателю метода соцреализма в русской литературе. Множество действующих лиц романа – будь то матрос или текстильщик, шахтёр или часовщик, металлург или лесопромышленник, комиссар или раввин, кинорежиссёр или пограничник – все хорошо знают своё дело, живут и достоверно, и деятельно. Вот только соцреализм тут другой, вольный и поэтический.

А женские персонажи!

Клетинич и тут убедителен. Будь то красивая, с самолюбивым волевым характером Шанталь, спасающая малолетнего сына тем, что фактически отрекается от него, или авантюрно-легкомысленная (и тоже красивая) Софийка, перешедшая по днестровскому ночному льду в революционный СССР, или вынужденная оппортунистка Хвола, ставшая приёмной матерью будущего гроссмейстера Корчного, или Надя (витькина мать и вынужденный информатор госбезопасности), или преподаватель ВГИКа Александра Л., витькина первая... – все они в своей женственности подлинны, привлекательны, полны жизни.

Сама среда «Моего частного бессмертия» – полна жизни. Яркие метафоры и ассоциации возникают в ней как бы сами собой.

Вот только послушайте!..

«...я поднялся из метро... и глазам не верю. Весна выхлопнула, пока я под землёй ехал! Весна во всю сирень!»...

И далее:

«День так вырос, что людей на улицах не стало! Иду себе и переглядываюсь с Москвой, с её (рас-

ширенными из-за весны) зрачками дневного света».

Так говорит Виктор Пешков. Ох, как же он умеет сказать! А то и просто подумать.

Вот, например, после проваленной сессии во ВГИКе:

«...троллейбус шёл с мучительными запинками – будто ребёнок с ложки кормят, а он давится. И лицо Александры Л. как въехало в тёмное депо утрюмости, так и не выдвигалось на свет».

А потом он просто сдает лыжный кросс (зачёт по физвоспитанию). Но какими словами это передано:

«...Сдавали кросс на лыжах в Яузском бору. По ту сторону от железной дороги. Четыре круга вдоль белого ольшаника. Нинель включила секундомер. Все понеслись как угорелые. Я один спокойно покатил (Нинель заказывала мне вино из Кишинёва. Зачёт у меня в кармане). Съехал в полуовраг и встал себе. Здесь снег ещё не породнился с залогом земли, хотя и накрывал её вихреобразными барханами. Деревья росли наклонённые в одну сторону, и снег был в синяках от солнца. Я встал у кустарника. Вето тишины опустилось. Вот тут бы и умереть! Потому что небо точно мокрой глиной было обшлёпано синью. И тишина такова, что я без разбега стал 30-летним, 40-летним. Всего себя увидел в полной размотке... И я дал себе слово, что никогда не пожалею о том, что я есть. И о том, что я это я».

После такого хочется спросить: для кого этот роман? Кто составит его основную читательскую аудиторию?

И самой же себе ответить: да ведь это прежде всего «я есть» самого Бориса Клетинича.

Это экзистенциальное его: «я это я». Адресованное Вверх.

А уж во вторую очередь, благодаря немалым литературным достоинствам, это посыл во внешний мир. Причём посыл, рассчитанный на читательский отклик и сполна заслуживающий его.

«Правда – это то, что я сам знаю о себе! – в конце романа объявляет Виктор Пешков. – А я-то знаю, что я есть! Я помню об этом во всякую минуту. А если позабуду – не беда. Вот хроники!».

Можно сказать, это присяга самому себе. Своему осознанному выбору «быть».

Прочитав такое, хочется задуматься о себе самом. Спросить себя: «А есть ли я?.. Есть ли я в достаточной степени для бессмертия?».

И... последовать примеру автора, пока не поздно.

**АЛЕКСАНДР РУДНЕВ****«СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ» ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО...**

*(Лит.Эра. Литературный альманах № 15. –  
Москва, Издательство «Стеклограф», 2021 – с. 485.)*

Литературный альманах «ЛитЭра» – итоговый сборник XX и XXI международных фестивалей литературы и культуры «Славянские традиции», которые прошли в августе 2020 года в Крыму, на мысе Казантип в городе Щёлкино, и в ноябре в Праге, впервые на территории Европы в режиме он- и офф-лайн, представляет читателям свой 15-й выпуск.

Материалы сборника, составленные из прозаических, стихотворных, драматургических произведений и переводов, принадлежат самым разным авторам – среди них преподаватели, выпускники и слушатели Высших литературных курсов Литературного института имени А.М. Горького и победители, участники обоих фестивалей – ответственные литераторы и писатели из разных стран.

Следует особо отметить, что не все фестивали имеют свои сборники или альманахи. А фестиваль «Славянские традиции» выпустил их уже пятнадцать!

Главный редактор альманаха и основатель фестиваля Ирина Силецкая очень верно заметила в предисловии, что этот альманах – прекрасное и очень убедительное доказательство тому, что «не прерывается связь литературных поколений, воспитывается достойная смена литераторов».

Победителями в различных номинациях были объявлены такие писатели, как Валерий Савостьянов, Владимир Петрушенко, Александр Пономарёв, Нина Кромнина, Ирина Беспалова и другие. Литераторы, занявшие первые места, были награждены литературными премиями «Славянские традиции» и «Пражская муза», учреждёнными фестивалем.

Состав альманаха, который мы держим сейчас в руках, разумеется, очень пёстрый, разнородный и неравноценный, как и полагается литературным альманахам, сборникам или же, скажем, коллективным научно-филологическим изданиям. Не составляет в данном случае исключения и 15-й выпуск альманаха «ЛитЭра». Произведения участников собраны в разделы: произведения членов жюри, почётных гостей, победителей в поэтических и прозаических номинациях, финалистов, номинантов и гостей фестиваля. Обо всех участниках написать, конечно, невозможно – их слишком много – да и, скорее всего, не нужно. Но здесь, несомненно, выделяются некоторые имена, о ко-

торых мы хотели бы упомянуть.

О стихотворениях Ирины Силецкой представляется возможным высказать такого рода мнение, что в них реальная жизнь и переживания лирического героя отражены как непрерывающийся, непрерывный поток живой жизни, наполненной творчеством, и также реалиями современной эпохи – эпидемии коронавируса, и это важно, иначе кто, как не писатели, оставит эту информацию нашим потомкам? Эти реалии сублимированы в поэтическое творчество, поэтический образ, несомненно, высокой пробы, а не просто в рифмованную злободневность. Именно таковы стихотворения «Не выходи из дома», «Он-лайн пространство», «Ура» и другие.

Специально и особо следует, на наш взгляд, выделить публикации членов жюри конкурса – главного редактора журнала «Нева» Натальи Гранцевой и известного поэта Владимира Шемшученко – оба они жители Санкт-Петербурга.

Статья Н. Гранцевой «65 лет в литературном строю» посвящена 65-летию с момента основания знаменитого ленинградско-петербургского журнала «Нева», в котором печатался некогда весь цвет отечественной литературы и культуры второй половины XX века и начала XXI – М. Зощенко, О. Берггольц, М. Дудин, В. Шефнер, В. Конечкий и многие другие. Автор делится с читателями и теми сложностями, с которыми пришлось столкнуться журналу в непростых современных условиях, когда последние номера журнала «зависали» в ожидании выхода из «парализованного производственного состояния» (с. 51).

Естественно, большое внимание в статье уделяется освещению в журнале темы 75-летия Великой Победы, а также, подчеркивает Н. Гранцева, не забывались и литературные юбилеи прошлого и нынешнего годов – И. Бродского, Ф. Достоевского, И. Бунина, А. Куприна, Л. Андреева.

Известный современный поэт Владимир Шемшученко представил в альманахе свои стихи – это проникновенно-лирические медитации, изысканные литературные реминисценции, а также и остро злободневные темы современной жизни со всеми её трагическими гримасами и издержками.

Разумеется, никак нельзя пройти мимо такого автора как известный поэт, критик и философ Константин Кедров – в альманахе помещены

его очень своеобразные, авангардистские стихи, отмеченные и словотворчеством, что в определённой мере заставляет вспомнить о традиции В. Маяковского, а также В. Хлебникова.

Здесь же опубликованы два стихотворения тоже в авангардистском духе не так давно ушедшей из жизни жены К. Кедрова Елены Кацубы, о которой у участников фестиваля сохранились тёплые воспоминания...

Стихи одного из самых крупных современных поэтов старшего поколения Владимира Кострова, который не участвовал очно в последних двух фестивалях, опубликованы на самых первых страницах альманаха.

И невозможно также не сказать об эссенцистическом произведении (этот жанр очень характерен для его творчества) известного современного поэта, прозаика, критика, искусствоведа Станислава Айдиняна – «Вслед страннику» (легенда), в котором он продолжает столь важную для него постсимволистскую линию в литературе, дожившую до наших дней. Мир литературы и поэзии Серебряного века наиболее ему близок – не случайно он в течение почти десяти лет был редактором и литературным секретарём старейшей писательницы Анастасии Ивановны Цветаевой (1894–1993), связанной с Серебряным веком, так сказать, непосредственно и живую, будучи его современницей, что для нас наиболее важно и ценно. Эта публикация – подлинное украшение альманаха.

В очень, казалось бы, традиционном, сугубо реалистическом рассказе Татьяны Шахлевич «Сычиха» о жизни крымского села в послевоенные годы, жители которого, простые люди, вынесли на своих плечах тяготы и ужасы войны, возникает очень выразительный и приобретающий во многом даже символический смысл образ змеи, оказывающийся в художественном контексте рассказа связанным с живыми, неугасающими воспоминаниями о совсем недавно прошедшей войне с её страшными испытаниями и жертвами.

В рассказе Светланы Судариковой «Инквизиция словесности» затронута остро социальная и злободневная тема жизни современной молодёжи, показанной на материале случайного происшествия, но это наводит на мучительные размышления о том, что из этой молодёжи может получиться впоследствии. Поэтому рассказ приобретает явно трагический колорит и смысл.

Рассказ Александра Пономарёва «Отряд Склон (Сокровища Касимовского ханства)» представляет

выразительный эпизод провинциальной армейской жизни, который является не просто показом какой-то реальной жизненной ситуации, а является законченным художественным произведением, отличающимся очень сильной и впечатляющей психологической убедительностью. Возможно, это одно из наиболее удачных прозаических произведений альманаха.

Следует сказать и несколько слов о рассказе-притче Лилии Баклановой «Притча про алмаз с грецкой орех» (из цикла притч средневековых городов) – она написана целиком на пражском материале. В небольшом по объёму рассказе представлена, казалось бы, совсем немудрёная, но трогательная история об алмазе, которая вырастает до глубокого размышления о ценностях человеческой жизни вообще во все времена.

В маленькой сказочной пьесе для детей Елены Вадюхиной «У Новогодней ёлки» – прелесть и романтика любимого всегда и детьми, и взрослыми праздника Нового года: детские радости, ссоры и огорчения, ожидание чуда – весь этот дорогой и памятный для всех людей мир детства представлен очень обаятельно, колоритно и одновременно с юмором; здесь отсутствует, надо сказать, какая бы то ни было слащавость и сентиментальность. Поэтому вовсе не тривиально звучит как бы «мораль» этой пьесы – в том, что Дед Мороз раздаёт подарки только «тем, кто не дерётся, не ссорится, а друг другу помогает и никого не обижает».

Следует отметить, что во время нынешнего XXII-го крымского фестиваля были проведены «мастер-классы» уже упоминавшимися нами Натальей Гранцевой, Владимиром Шемшученко, Константином Кедровым, а также писателем, доктором философских наук, профессором Петром Калитиным.

Ко всему сказанному остаётся добавить, пожалуй, только одно: фестиваль «Славянские традиции», как это стало особенно очевидно в нынешнем 2021-м году, несмотря на тяжелейшее, трагическое, можно сказать, время всемирной пандемии, всё же живёт, хотя и не может, к сожалению, сравниться по степени праздничности, торжественности и массовости с предыдущими – многим участникам пришлось осуществлять выступления в режиме онлайн, находясь в своих городах и странах. Но очень хочется надеяться, что когда-нибудь всё станет на свои места. Что ж, бессмертными грибоедовскими словами: «Блажен, кто верует...».



ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45  
Ю 195  
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 23.11.2021 р.уФормат 60х70/8.  
Гарнітура Garamond Narrow.  
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 24,18  
Зам. 1451. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)  
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»  
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17